

Омский литературный музей

Тексты. Материалы. Исследования

Омск, 2016

Оглавление

От составителя	3
Тексты:	9
Д.А. Гонт. Воспоминания об Омске, о себе, муже и сыне – поэтах Я. Озолине, В. Озолине	9
М.К. Юрасова. Повесть о сибирском летописце Иване Черепанове (Наследство)	57
Предисловие. Ю.П. Прибыльский	57
Вс.Вяч. Иванов. Проспект Ильича (главы из второй редакции романа).....	177
Материалы:	181
Из переписки С.П. Залыгина	181
О проведении Первых областных Пантелеймоновских чтений	182
Приветствие. Р.Ю. Герра	183
Приветствие. Е.М. Трубилова	184
Исследования:	186
Л.А. Москвина. И мыслям тесно, и словам... К 95-летию со дня рождения Бориса Гвоздева.	186
Е.А. Папкина	196
Великая Отечественная война в дневниках и прозе Вс. Иванова 1941 – 1945 гг.	196
Вступительное слово к публикации первой редакции романа Вс.Вяч. Иванова «Проспект Ильича» в журнале «Сибирские огни» (№№ 7-12, 2016)	206
И.А. Махнанова	207
Неизданный роман Всеволода Иванова «Проспект Ильича»: к проблеме публикации	207
О научных статьях Б.Г. Пантелеймонова	212
О.Ю. Караваева. Музей примет в дар... ..	217
Комментарии:	221
Т.И. Ческидова. О повести М.К. Юрасовой «Повесть о сибирском летописце Иване Черепанове (Наследство)»	221

Подготовлен третий выпуск музейного сборника «Тексты. Материалы. Исследования». Несмотря на все финансовые трудности, мы продолжаем нашу издательскую традицию, посвящаем в этом году наш труд 300-летию города, юбилейным датам писателей, чья судьба была связана с Омском, и представляем информацию, статьи, связанные с изучением литературного наследия Сибири, музейных фондов и деятельностью учреждения.

Сборник разделён на три части и представляет результаты научной музейной работы с различными источниками: 1) рукописи, машинописи писателей и поэтов и воспоминания их родных и близких, повествующих о биографических фактах; 2) переписка и мемуарная проза, материалы о музейных событиях; 3) исследования литературоведов, научных сотрудников, специалистов – всё это объекты пристального изучения и отбора, который мы проводим в течение года в стенах музея.

Это итоговый коллективный труд. В сборнике опубликованы работы признанных авторов, к сожалению, при жизни не увидевших в печати целиком или частично свои труды, которые десятилетия бережно хранились в музее и ожидали «звёздного часа» своей первой публикации. Признательны мы и нашим современникам – учёным, исследователям, специалистам, собирателям, сотрудникам библиотек, музеев и архивов, благодаря чьей работе материалы сборника, уверена, найдут своего читателя.

В первом разделе сборника – «Тексты» – два объёмных материала, важных и интересных, посвящённых Омску, в первую очередь. В своей любви и преданности городу, его древней и современной истории признаются авторы в каждой строке своих повествований. Публикуя эти материалы, мы вносим свой вклад в нашу городскую летопись, начиная из самой глубины веков, от строительства первого каменного храма – Воскресенского собора до конца XX века, чередой событий и фактов, происходивших в истории или памяти авторов.

Дебора Ароновна Гонт-Озолина (1910–2002) – в конце своей жизни написала воспоминания о муже и сыне – поэтах Яне Михайловиче и Вильяме Яновиче Озолиных. С 1917 года до конца 1980-х годов Д.А. Озолина жила в Омске. В своей мемуарной прозе она рассказывает о городе, его людях, событиях и случаях, происходивших в жизни автора, судьбах родных и близких. Изучая историю по фактам биографии одного человека, мы отмечаем особенности эпохи. Оценка и мнение современника, взгляд из прошлого – всё это найдёт читатель. Но главное – сохранение памяти о нашей родине, месте, где живём и которому преданы всей душой.

Рукописная тетрадь Д.А. Гонт передана в музей в 2004 году Леоном Моисеевичем Флаумом (1937–2005), омским радио- и тележурналистом, автором книги «Омские перепутья (страницы истории)» (2001), пьесы «Свидетели по делу А. Колчака» (2002), по которой был поставлен спектакль «Оболганные и забытые» (2003, Омский государственный театр куклы, актёра и маски «Арлекин»).

Мария Климентьевна Юрасова (1913–2003) – омский писатель, эвакуирована в Омск в годы Великой Отечественной войны. Оставшись здесь до конца жизни, посвятила изучению истории города более 60 лет – все последующие годы своей долгой жизни. Ею написаны десятки книг. В музее более десяти лет хранилась неопубликованная рукопись исторического произведения – «Повести о Тобольском летописце Иване Черепанове» или «Наследство», как она называлась в отдельных редакциях, в том числе и черновых набросках. Вместе с тем, сохранились авторские листы с более поздней черновой рукописной правкой: автор перечёркивает указанные заглавия и вписывает новое – «Летопись о сибирских первопроходцах», задумав трилогию из ранее написанных произведений, и последней, новой, ещё неопубликованной.

В сборнике мы представляем на суд читателя первую публикацию повести о строителе Воскресенского собора – Иване Черепанове. Для нас эта публикация важна ещё и тем, что состоялась она в год восстановления, возрождения из руин разрушенного храма – первого омского каменного сооружения. Из забвения и мы достали рукописи автора, чтобы ярче представить, как тогда жили люди, каким был Омск.

Повесть подготовлена к печати по авторской машинописи, которая текстологически выверена по рукописным тетрадям. Предпринята попытка представить анализ перечня (порядка) глав и последовательности их размещения в публикуемой редакции. Редакторские курсив и треугольные скобки поясняют и напоминают, что текст повести дополнен и первоначально, по замыслу автора имел больший объём. Сохранились письма, которые подтвердили версию о том, что написанный текст повести несколько раз редактировался Марией Климентьевной, сокращался. Стремление издать произведение, успеть рассказать омичам об истории Омска ещё при жизни, хотя бы и в меньшем объёме, конечно же, обязывало автора жертвовать отдельными описаниями и пояснениями, объёмно дополненным и представляемый к печати текст повести, без сомнения, его обогатили и содержательно, и эмоционально.

Предисловие к повести, по просьбе автора, написано в 1993 году Юрием Пантелеймоновичем Прибыльским (1926–2010), профессором, доктором исторических наук, почетным гражданином города Тобольска. Комментарии по двум редакциям повести, структуре глав, а также отдельные пояснения выполнены Ческидовой Татьяной Игоревной, научным сотрудником отдела хранения, изучения и учёта музейных предметов.

Всеволод Вячеславович Иванов (1895–1963) – писатель, драматург. Детство и юность провёл в Западной Сибири. Жил и работал в Омске, Кургане, Новониколаевске, Петрограде, Москве. Часть мемориальной коллекции писателя хранится в фондах музея, которая в разные годы пополнялась отдельными документами, в том числе учёного, преподавателя Михаила Васильевича Минокина (1918–1999). Машинопись неопубликованного романа «Проспект Ильича» (машинопись первой редакции) была передана учёному для

прочтения собственноручно Вс.Вяч. Ивановым в 1960 году. Позднее архив М.В. Минокина оказался в Омске и хранится в нашем музее.

В 2016 году автором этих строк роман «Проспект Ильича» подготовлен к печати. О первой редакции романа и событиях, связанных с ними, восстановленных по воспоминаниям и дневникам писателя, подробнее можно прочитать в журнале «Сибирские огни» (№7, и последующие №№ 8–12), а также в третьем разделе нашего сборника. В данном разделе мы представляем две главы второй редакции романа. Текст для публикации подготовлен нашим единомышленником и добрым другом музея Е.А. Папковой.

Елена Алексеевна Папкина – старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН), кандидат филологических наук, внучка писателя, исследователь творчества Всеволода Иванова, автор и редактор-составитель книг – Вс. Иванов «Дневники» (М., 2001), «Неизвестный Всеволод Иванов» (М., 2010), Вс. Иванов «Тайное тайных» (М., 2012). Участвовала в коллективных научных трудах ИМЛИ РАН, международных конференциях и семинарах. В наш музейный сборник Еленой Алексеевной любезно предоставлена статья о биографии писателя с текстом первой и второй глав второй редакции романа Вс.Вяч. Иванова «Проспект Ильича».

Во втором разделе сборника – «Материалы» – представлена переписка Сергея Павловича Залыгина с двумя адресатами: Саввой Елизаровичем Кожевниковым и Венедиктом Константиновичем Ивановым. Письма направлялись в два сибирских города – Новосибирск и Омск, и соответственно охватывают два периода: 1948–1951 гг., 1957–1972 гг. Из писем мы узнаём о повседневной жизни писателя, его работе, творчестве, зарубежных поездках. Жанр эпистолярной прозы, как правило, самый проникновенный и искренний, ведь в минуты дружеского общения пишущий, как правило, не думает о читателях, которые через столетия будут прикасаться к его рукописным страницам. Автор открыт, и отдельные периоды его биографии, малоизвестные и ещё неисследованные становятся более понятны.

Сергей Павлович Залыгин (1913–2000) – писатель, учёный, преподаватель, академик Российской академии наук. Выпускник Омского сельскохозяйственного института, гидромелиоратор, кандидат технических наук, эколог. С 1953 года переехал в Новосибирск, в конце 1960-х – в Москву. Главный редактор журнала «Новый мир».

Савва Елизарович Кожевников (1903–1962) – прозаик, очеркист, литературовед, редактор журнала «Сибирские огни», специальный корреспондент «Литературной газеты» в Китае.

Венедикт Константинович Иванов (1901–1972) – преподаватель Омского сельскохозяйственного института, аккуратно сохранивший в своём архиве более 200 писем С.П. Залыгина, а также некоторые материалы о его литературной деятельности. Как написала нам Галина Сергеевна Мушинская (Залыгина), дочь

Сергея Павловича: «Я хорошо помню Венедикта Константиновича Иванова и помню папины долгие разговоры с ним и их общим другом Виктором Николаевичем Энгельгардтом, они нередко бывали у нас дома». Благодарим Галину Сергеевну, родных Сергея Павловича за поддержку нашего начинания, обязательно продолжим публикацию писем в 2017 году, продуманно подготовив комментарии и материалы к биографии.

Письма С.П. Залыгина подготовлены к публикации при поддержке наших коллег, которым мы признательны и благодарны за содействие и поддержку в предоставлении возможности работы с материалами. Это наши многолетние партнёры по научной, собирательской и поисковой работе – Городской Центр истории Новосибирской книги (директор Наталья Ивановна Левченко) и Исторический архив Омской области (Пугачёва Ольга Дмитриевна), в чьих неисчерпаемых фондах хранится ещё много уникальных документов об омском Прииртышье и литературе нашего края.

Материалы о Первых областных Пантелеймоновских чтениях также заслуживают внимания. Чтения показали потенциал дальнейшего объединения наших усилий, определили на будущее ряд перспективных направлений, в том числе приглашение к участию других районов области, восстановление дома в Муромцево, на родине писателя.

Борис Григорьевич Пантелеймонов (1888–1950), уроженец Омской области, химик, инженер, изобретатель, издатель, писатель в последние четыре года своей жизни. Завершив свой жизненный путь в Париже, он оставил нам замечательную прозу о родной Сибири – о Муромцево, Таре, Тобольске, Омске, писал о русских учёных – Д.И. Менделееве, Н.Н. Миклухо-Маклае, передавал характерные приметы прошлого – национальные особенности героев, деревенской жизни, провинциального быта.

Мы благодарим соавторов раздела музейного сборника, откликнувшихся на нашу просьбу и приславших свои приветствия.

Рене Юлианович Герра – известный французский филолог-славист и коллекционер. Богатейшая коллекция учёного содержит документы личных архивов Бориса Зайцева, Ивана Бунина, Алексея Ремизова, Надежды Тэффи, Ирины Одоевцевой, Юрия Анненкова, Георгия Адамовича и других ярких деятелей эмиграции, со многими из которых Р.Ю. Герра был лично знаком. Он – основатель и руководитель Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции. Автор ряда книг о представителях русской эмиграции, их литературном и художественном творчестве.

Елена Максимовна Трубилова – старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН), кандидат филологических наук, автор ряда работ по русской литературе 1920-1930-х годов, литературе русского зарубежья, творчеству Н.А. Тэффи. При участии Е.М. Трубиловой подготовлено первое наиболее полное собрание сочинений, отдельные издания (поэзия, автобиографические и драматические

произведения) Тэффи. Участвовала в коллективных научных трудах ИМЛИ РАН, международных конференциях и семинарах. Член Русской академической группы (США).

Ещё раз благодарим высоких гостей – Рене Юлиановича и Елену Максимовну – соавторов сборника за поддержку нашей инициативы, добрые приветственные слова, оставляющие надежду на дальнейшее взаимное плодотворное сотрудничество.

Публикацией этих материалов мы подводим итог первого начального этапа, включающего, во-первых, издание трёхтомного собрания сочинений Б.Г. Пантелеймонова при финансовой и организационной поддержке Министерства культуры Омской области, во-вторых, реализацию проекта, организованного совместного с Тарской централизованной библиотечной системой (директор Т.И. Царегородцева) при поддержке Муромцевской районной библиотеки имени М.А. Ульянова (директор Н.М. Штевская).

В третьей части сборника – «Исследования» – собраны публикации наших единомышленников, коллег-филологов, музейных сотрудников, чьи многолетние поддержка и участие особо для нас ценны. Тем самым мы чувствуем востребованность и понимаем, что делаем одно большое и важное дело сохранения отечественной словесности и культуры.

Людмила Александровна Москвина, представитель омского музейного сообщества с большим стажем руководящей работы, увлечённый профессионал-собираетель, подготовила специально для нашего сборника статью-воспоминание «И мыслям тесно, и словам...» об омском писателе-фронтовике, юбиляре этого года – Борисе Сергеевиче Гвоздеве. На вечере, посвященном 95-летию со дня рождения писателя, Л.А. Москвина поделилась с нами своими планами и желанием рассказать о своём общении с этим замечательным человеком, омичом-краеведом, преданно любившем и изучавшем город, его просветительской и преподавательской работе, встречах с семьёй Гвоздевых. Мы предоставили такую возможность. Благодарим сердечно Людмилу Александровну за отклик и участие в нашем сборнике.

Елена Алексеевна Папкова направила в наш сборник статью «Великая Отечественная война в дневниках и прозе Вс. Иванова 1941–1945 гг.»

Вступительное слово Е.А. Папковой к публикации романа «Проспект Ильича» (первой редакции) в журнале «Сибирские огни» №№ 7–12 за 2016 год мы также сочли нужным повторить в сборнике. Благодарим за благожелательную оценку, доброе отношение и сотрудничество с музеем.

Автором этих строк предложено напечатать в сборнике статью «Неизданный роман Всеволода Иванова “Проспект Ильича”: к проблеме публикации», также вышедшую в журнале «Сибирские огни» перед первым представлением читателю нового произведения. Таким образом, мы приглашаем наших читателей к заинтересованному прочтению романа и предстоящему

обмену мнениями на научных конференциях в стенах музея и на страницах литературных изданий.

Дополняя тему о Борисе Григорьевиче Пантелеймонове, открытую во втором разделе, считаю важным в музейном сборнике сделать (пробную) публикацию «О научных статьях Б.Г. Пантелеймонова», которая отличается по языку (английский!) и своей тематике (химия!), но имеет прямое отношение к нашему земляку, в частности к фактам его биографии как учёного. Собранный материал, уверена, ещё будет дополняться, но, возможно, именно этот перечень научных работ поможет привлечь внимание профессионалов-специалистов, уже позволит увидеть вклад нашего земляка в химическую отрасль.

Отметим, что все труды представлены в самых престижных мировых научных базах данных, в соответствии с требованиями которых даны описания содержания исследовательских и инженерных разработок, изобретательских и рационализаторских предложений нашего земляка. Считаю важным, оценить роль нашего земляка в науке как в первые годы становления СССР, так и в его «зарубежный» период в качестве успешного практикующего химика-предпринимателя. Обращаемся к нашим читателям и просим содействия в распространении этой информации.

Ольга Юрьевна Караваева, главный хранитель музейных предметов, подготовила перечень *museum desiderata* – желаемых предметов, которые музей примет в дар с благодарностью и признательностью. Мы заботимся о пополнении музейных фондов, не имея, к сожалению, достаточных площадей для возможно больших поступлений, поэтому вынуждены строго отбирать лишь необходимое, что представляет научный и экспозиционно-выставочный интерес. Заранее благодарны и признательны ценителям и профессионалам – всем дарителям, надеемся, что представленный перечень будет востребован. И будет принято верное решение – а в нашем музее появятся указанные редкие и недостающие нам издания. И в очередной раз подтвердится древняя истина: «Да не оскудеет рука дающего!»

В тексте сборника редакторские комментарии, вставки даны в треугольных скобках, за исключением первого раздела, в котором текст, заключённый в треугольные скобки (<...>) показывает те или иные дополнения из соответствующей авторской редакции, в единичных случаях в пояснениях имеется соответствующая помета <... – ред.>.

Ирина Махнанова, учёный секретарь музея

Тексты:

Д.А. Гонт. Воспоминания об Омске, о себе, муже и сыне – поэтах Я. Озолине, В. Озолине

Неподалеку от Кадетского корпуса – громадного здания, выходящего парадным подъездом на центральную улицу города Омска – Любинский проспект, вернее напротив его – этого Кадетского корпуса – находилось изящное по своей архитектуре, светлое здание – Дворянское собрание. Оно было нарядно, как внешне, украшенное затейливой лепниной, так и внутри. Зрительный зал с прекрасной акустикой, фойе, танцевальный зал, ресторан и ряд комнат, нарядно обставленных. После революции Дворянское собрание получило название – Комклуб. <В последующем в этом здании был театр оперетты, который просуществовал многие годы, до тех пор, как построили современное здание театра Музыкальной комедии>.

В этом комклубе тогда проводились собрания литературного объединения или, как его тогда называли, литературного кружка.

Это было в 1926 году. Я тогда еще была школьница, увлекалась поэзией. Стихов я не писала, но читала много и многое знала наизусть. Особенно увлекалась Маяковским. Он меня просто потряс... Потом Есенин, Уткин, Светлов и т.д.

Узнав о существовании литературного кружка в Комклубе, я стала посещать эти собрания. Они проходили в очень большой комнате. Посредине стоял стол, покрытый зеленым сукном, на окнах и дверях – темно-зеленые бархатные портьеры.

Вспоминаю один день: народу было много. За столом, на председательском месте, в высоком вольтеровском кресле сидел «Король сибирских поэтов» – Антон Сорокин, поблескивая золотым пенсне. Отступив немного от стола стоял молодой человек, читал свои стихи. Он приехал с Дальнего Востока, лицо его, овеянное морскими ветрами, было смуглым. Темные волнистые волосы обрамляли красивое лицо, немного скуластое, а раздувающиеся ноздри говорили о неистовом характере. Читал он морские стихи о пиратах. К сожалению, я их не запомнила. Запомнила только последнюю строчку: «Бочонок рома и ящик с мертвецом».

Это был молодой Павел Васильев. Следующая моя встреча с ним состоялась лет через десять.

Павел Васильев, уже знаменитый поэт, приехал в Омск с женой, очень красивой и нарядно одетой дамой. Она была свояченицей – сестрой жены редактора «Известий» Ивана Гронского. Павел Васильев приехал повидаться с родителями. Отец его был железнодорожником, а мать работала в библиотеке управления железной дороги. Был у него младший брат Виктор, который был в дальнейшем репрессирован и, отбыв 10 лет в лагере, вернулся очень больным человеком. Он мне рассказывал об адских испытаниях в сталинских лагерях. Повидавшись с родителями, Павел был намерен сплавить на пароходе вниз по Иртышу. Сбылась ли его мечта, я не помню.

Так вот, приехав в Омск, Павел сразу появился у нас. Это было в 1936 году, я тогда уже вышла замуж за поэта Яна Озолина. Жили мы на улице Пушкина. И вот однажды, ранним утром, в 7 часов утра, Павел Васильев появился у нас. Приехал он на трех извозчиках со своими почитателями. Пришел он как всегда шумный, веселый... Попросил дать ему ведро и отправил кого-то за пивом. Застолье было, несмотря на раннее утро, шумным. А потом Павел попросил съездить с ним к Леониду Мартынову.

Дело в том, что у него с Мартыновым были осложнены отношения. Причину я не знала, но знала, что они давно не виделись. И мы поехали. Так на трех извозчиках мы и поехали к Леониду Мартынову на улицу Красных Зорь. Мартыновы жили в одноэтажном деревянном доме – вход со двора. Окнами на улицу.

Павел сам не пошел, а попросил меня пойти на «переговоры...» Когда я вошла в дом, Мартынов не дал мне даже говорить и сказал: «Меня нет дома», и вылез через окно в сад... Что мне оставалось делать? Я вышла, так и сказав Васильеву: «Лени нет дома...» Павел отстранил меня рукой, и пошел сам. Сколько он там пробыл я уже не помню, но помню, что мы так сидели в трех извозчиках и ждали. Через некоторое время, Павел вышел, мрачно, ничего не говоря, махнул рукой, и мы уехали...

О дальнейшем я только знаю, что Леонид Мартынов так до конца своей жизни не простил Васильева и не виделся с ним.

Возвращаясь к визиту Павла Васильева в Омск можно рассказать многое. Часто он бывал в редакции, где работал Ян Озолин. Его непоседливый характер не давал никому покоя.

Я тогда училась в художественном институте им. Врубеля, переименованном впоследствии в художественное училище. Несколько раз Павел затаскивал меня с Яном и свою жену в пивной погребок, который

находится на углу улиц Ленина и Партизанской. Погребок, как погребок... Пивные бочки, изображающие столы, кружки с пивом, шум, невероятный «аромат...» И вот у этих бочек особенно выразительна была фигура жены Васильева: в шикарной белой шляпе с огромными полями и длинными белыми перчатками за локоть...

Вскоре Павел Васильев уехал в Москву и больше мы с ним не встречались. Он погиб в сталинской мясорубке – был расстрелян в 1937 году.

Теперь я не могу не рассказать о нашей дружбе с Леонидом Мартыновым. Познакомились они с Яном Озолиным в 1935 году и крепко подружились. Можно сказать, что Мартынов был самым близким другом Озолина. Их, видимо, связывали общие интересы и по характеру они были схожи.

За плечами у Мартынова были сотни пройденных журналистских дорог. «Литературный багаж»: три книги поэзии, первое признание в Москве и арест в 1932 году по делу сибирских писателей и трехлетняя ссылка на север – Архангельск, Вологда, Ярославль. Ян тогда работал в молодежной газете «Молодой большевик». Вот как эту встречу описывает сам Мартынов: «А познакомились мы с Яном Озолиным в 1936 году, когда мы с женой приехали в Омск и я напечатал под прозрачным псевдонимом – Мартын Леонидов, свою поэму “Подсолнух” в “Омской правде” – тогда-то и явился к нам юный, широкоплечий, голубоглазый и светловолосый Ян Озолин с трубкой в зубах, причем не столько куря, сколько красуясь, и объявил, что он поэт, полярный моряк, в данное время работает в комсомольской газете “Молодой большевик”, которая будет очень рада меня напечатать».

Мартынов, приехав из ссылки, жил очень уединенно. Много работал, почти ни с кем не встречался. Жена его Нина Анатольевна, которую он всегда называл Ниночкой и никак иначе, была статная, высокая женщина с русой косой, уложенной в виде короны вокруг головы. Голос у нее был низкий, характер решительный. Она была его другом и помощником, печатала его рукописи на машинке, и опекая его, была его ангелом хранителем. Надо сказать, что характер у него был не из легких!

Пожалуй, мы единственные с Яном бывали у них дома, больше они никого не принимали. В то время Озолин и Мартынов, с первого их знакомства в 1935 году, вели длительную подготовку областного совещания писателей. Кроме местных поэтов и писателей таких, например, как профессор Драверт, Антон Сорокин, еще и сказителей, певцов, словом творческих людей с Ямала, Ханты-Мансийска, верховьев Иртыша, т.е. с Алтая и акынов из ближайших к нам казахских степей. Это писательское совещание прошло уже без Яна – много

позднее. А эти грозвые порывы коснулись нас не в переносном, а в прямом смысле.

Однажды, в очень солнечный и жаркий день, мы с Яном и Леня с женой катались на лодке, идя вверх по течению Иртыша. Подгребли к левобережной отмели близ железнодорожного моста. Купались, загорали, но вдруг заметили, что небо над левобережьем, за куломзинским элеватором, приобрело красный оттенок. Подул сильный ветер. Что-то загудело, завывало, красная туча надвигалась... Мы быстро столкнули лодку и не успели выйти на фарватер, как увидели, что не только левый берег, но и справа силуэт города скрылся в хвостообразной, смерчевидной мгле и налетевший шквал, несущий нас к правому берегу, превращается в пенообразную массу, и слева от нас с жутким гудением и воем нёсся настоящий смерч, мчась с невероятной быстротой на гребне вала. Наши мужчины так ловко работали веслами, что мы оказались плавно выброшенными на правый берег. Смерч пронёсся левее нас. Мы еле-еле успели перевернуть лодку и укрылись под ней от крупного дождя и пены волн, вползавших к нам в лодку.

Однажды Ян пришел к Мартынову и рассказал, что Павел Васильев зовет его с собой в Тобольск, куда едет то ли корреспондентом «Известий», то ли для сбора сведений о последних днях жизни царской семьи в городе Тобольске. Мартынов сказал Яну, чтобы он ни в коем случае не связывался с этим злостным скандалистом. Который, хоть он и поэт известный всесоюзно, но человек он не надежный и якшания с Васильевым кончаются для людей плохо, хотя он сам выходит из воды сухим.

Не знаю, было ли это знакомство с Васильевым лишней каплей в судьбе Озолина, но с работы из газеты его уволили за связь с Павлом Васильевым. Когда Васильев уехал в Москву, мы больше с ним не встречались. Он погиб в 1937 году. А вскоре арестовали и Яна Озолина, с Мартыновым у меня дружба прекратилась. В связи с этим грозным событием все как-то притихли.

Однажды я встретила его на улице, и он прошел мимо. Не знаю, может, правда он меня не заметил, а может, побоялся... Между прочим, у Лени дома была привычка ходить, высоко подняв голову, а глаза его были устремлены вверх толпы. Может быть. Но я на него не обиделась – тогда время было такое...

После войны он переехал в Москву. Но через многие годы, через 40 лет, мы все-таки встретились. Однажды, во время отпуска, я была в Москве. И туда же приехал мой сын Вильям Озолин. Вильям уже известный поэт, бывая в Москве, всегда встречался с Мартыновым. И в этот раз он позвонил Мартынову, а тот узнав, что я тоже в Москве, пригласил нас вместе приехать к нему. Когда

мы уже подъехали к дому, где он жил, Виля позвонил из автомата, что мы скоро придем.

И вот мы заходим в подъезд. Мартыновы жили на втором этаже, поднимаемся по лестнице, на площадке, у раскрытой двери в квартиру, стоит Леня, широко расставив руки, низко опустив голову, склонившись в пояском поклоне... Вот так мы встретились через многие годы... Мы долго у них просидели. Нина угощала нас яблочным пирогом. И все... больше мы уже не виделись. Потом я узнала о дальнейшей их судьбе. Нина тяжело заболела, долго лежала и когда ее не стало, Мартынов тяжело перенес ее уход. Прожил без нее только около полугода...

Хочется добавить, что в одной из последних публикаций, Мартынов, вспоминая об Яне Озолине высказался: «Жаль, что нет биографии этого незабвенного поэта тридцатых годов». Между прочим, Мартынов уже перед самой смертью, просил Вильяма Озолина, чтоб он прислал ему биографию отца. Мартынов хотел написать о Яне Озолине. Вот теперь, через многие годы, я постараюсь вспомнить и восполнить этот пробел...

Вернусь к 1937 году. Он не пощадил и мою семью – семью Озолиных. Но сначала начну по порядку...

Ян Озолин появился в Сибири ещё маленьким ребенком. Родился он в Риге, в 1911 году. Отец его был шведом по фамилии Шкенсберг. Теодор Шкенсберг. Он погиб в 1914 году в Первой мировой империалистической войне. Времена в Латвии начались тяжелые, и многие латыши, после взятия г. Риги немцами бежали в Сибирь от притеснения. В 1916 году Наталия Крышьяновна, мать Яна, вместе с матерью и двумя маленькими детьми, вместе с госпиталем, в котором она работала, уехала в Петербург. Через некоторое время она, как беженка, вместе со своей семьей уехала в г. Томск. В Томске Наталия Крышьяновна встретила с М. Озолиным, бывшим командиром дивизии латышских стрелков и они уехали в Омск. Озолин усыновил детей – Яна и Мильду, дав им свою фамилию.

Итак, Озолины в Омске. Первые годы Михаил Иванович Озолин работает директором совхоза, по образованию он агроном, а потом он проректор первого комвуза Сибири. Наталия Крышьяновна была начальником областного комитета РОКК.

Ян с 14 лет начал писать стихи, в основном это было подражанием любимым поэтам: Есенину, Хлебникову, Пастернаку... Вот отрывок из одного стихотворения того периода:

...Черные четки,
четок их звук,
как жемчуга звук на Таити.

Пальцы мои из ваших рук
оборвали кусочек нити...

С детства его привлекала романтика странствий, что отразилось на ранних его стихах. В 15 лет Ян отправился пешком в Семипалатинск. В середине пути – около Павлодара, он нанялся пастухом, а уже осенью вернулся домой. В 1928 году Ян работал на спасательной станции матросом. Там собирались молодые литераторы. Будущие поэты читали там свои стихи.

С Яном Озолиным я встретила в 1928 году. Однажды, в городском саду, я стояла в компании молодых начинающих поэтов. Подошли двое. Один в морской мичманке высокий, светловолосый, с лучистыми глазами, и его друг сказал: «Вот знакомься, это Дебора Хуторанская, она всего Есенина знает наизусть... Ну, всего не всего, но помнила я многое. С этого вечера мы не расставались... Правда расставания были...

Весной 1930 года Ян ушел в полярное плавание с экспедицией Убекосибири. Было такое учреждение: «Управление по безопасности кораблевождения по рекам Сибири». Ян поступил кочегаром на судно. Плавание было долгим и очень интересным. Шли по рекам Иртышу, Оби, потом Карское море. Там остров Шокальского, Диксон... Для Яна, как поэта, эта экспедиция много значила. Он привез много стихотворений, написанных под впечатлением этого плавания.

После прибытия экспедиции Яна призвали в армию. Служил он на Дальнем Востоке, в городе Благовещенске. Собственно, как служил? Работал в военной газете. Отслужив, приехал в Омск. Работал на судоремонтном заводе, учился на рабфаке. А в это время, после выступления М. Горького, после его призыва о том, чтоб молодым литераторам нужно дать дорогу, Яна Озолина, как ударника Убекосибири Омский союз писателей вовлек в творческую работу. Затем его пригласили работать в областную газету «Рабочий путь».

Работая в газете, Ян печатался во многих изданиях, и только в 1935 году у него вышла небольшая книжка. В этом поэтическом сборнике вышли стихи, написанные в арктическом плавании. Вот одно из них:

Угрюмый напев у студеных ветров,

у вала под ветром тяжелая поступь.
Буруны нельзя отогнать от бортов –
до рубки захлестывает норд-остом!
У айсберга в пене
Зеленый шалман,
размытый волною
полярного ветра.
Но мы наступаем на льды и туман.
Карское море, штурмуя упорно.
Идут корабли
непогоду встречать,
идут пионеры
в суровую школу...
Упругим движеньям
тугого плеча
волна налегает
на грудь ледоколу...
Но силой машин
и натруженных рук,
встречали виды
многотонную лаву,
мы с Арктикой белой заводим игру,
на Карское море устроив облаву.
Если сегодня нужен стране
путь для сибирской пушнины и леса,
Идут сквозь романтику,
темень и снег

полярники
в омуте вьюги белесой.

Берег ледовый
на тысячи верст
Сибирь заковал
за полярною тундрой.
И мы выростая
кидаем в простор,
в арктический сумрак
упрямо «полундра».

В сборнике «Ночное солнце» (Омск, 1935 г.) большинство стихотворений посвящено тем, кто штормовал ледовые арктические просторы. Стихи говорят о незаурядной личности Яна Озолина, о широте его интересов. Много было у него лирических стихотворений, но в книжку они не вошли. И эта лирика, так в рукописях и была изъята во время ареста. Так что у меня на руках осталось очень немного. Среди них врезались в память строчки:

«Средь бурунов где-нибудь
ждет меня подводный камень?!»

Две эти строчки прозвучали пророчески... Писал Ян Озолин много, но к сожалению, не успел напечатать то, что было написано. Жизнь его оборвалась в 27 лет...

— — —

Но я продолжаю биографию Яна Озолина. Когда в 1935 году в Омске организовали Омское государственное издательство, Ян работал в этом издательстве редактором художественной литературы. Кстати, я там тоже работала секретарем редакции.

Работая в редакции, Ян решил издать книгу Антона Сорокина. У него были рукописи Сорокина. И он почти отредактировал их, но по каким-то причинам книга не была издана...

В издательстве вокруг Озолина собиралось много интересных людей. Это были профессор Драверт, Леонид Мартынов, Виктор Утков, Константин Бежецкий и художник Крутиков, с которым они вместе работали над сказкой Ершова – «Конек-горбунок». Книга была издана. А потом Ян ушел в молодежную газету «Молодой большевик», где был заведующим отделом литературы и искусства. В этой газете Ян проработал почти до своего трагического конца в 1937 году.

За несколько месяцев до его ареста Шабанов, редактор «Молодого большевика» внезапно уволил Яна с работы. Перед увольнением он потребовал от Яна объяснения о его знакомстве с поэтом Павлом Васильевым, который по сообщениям центральной печати, оказался в числе врагов народа. Такое немотивированное увольнение породило слухи о якобы связи Озолина с контрреволюцией и его нигде не принимали на работу.

А в это время в НКВД уже готовилось «латышское дело», в центре которого были родители Яна. Четвёртого декабря 1937 года Ян Озолин и его родители были арестованы. В процессе «следствия» им было предъявлено обвинение в участии в «латышской националистической организации в г. Омске, целью которой было проведение террористических актов против руководства, партийных деятелей, а также свержение советской власти, в случае нападения Германии на СССР». Такие же обвинения были предъявлены еще 24 латышам, жившим в Омске и в области. А «дело» состряпано на следующих фактах. В Омске и в области после окончания гражданской войны, в Сибири осталось много латышей-беженцев из Латвии во время войны в 1914 года, а также тех, кто воевал на стороне большевиков – в Латышской стрелковой дивизии.

Имея естественное желание о сохранении национального языка и культуры, они создали культурный центр. Был таковой в Омске, в клубе им. Побельского на Почтовой улице. Собирались латыши петь песни, танцевать, играть в драмкружках. Иногда друзья Озолиных собирались у них дома, на улице Декабристов № 29. Это были веселые пирушки с песнями и танцами, с приготовлением национальных блюд... И кто бы мог подумать, что эти встречи закончатся так трагически, так бесчеловечно!

27 невинных граждан-латышей были зверски замучены на допросах и злодейски убиты в застенках НКВД 16-го февраля 1938 года. Реабилитированы были Озолины посмертно в 1957 году. В 1995 году сыну Яна – Вильяму Озолину разрешено было ознакомиться с увесистым томом Омского «латышского дела», на последней странице которого были аккуратно подшиты 27 небольших

листочков, величиной с театральные билеты, на которых типографским способом было отпечатано 27 смертных приговоров.

Остается добавить, что сын сибирского поэта Яна-Теодора Шкенсберг-Озолина – Вильям Озолин пошел по стопам отца: работал матросом на Крайнем Севере, был журналистом, стал писателем, но это уже другая история.

* * *

После гибели Озолиных <Яна и его родителей>, у них <в семье> осталось трое детей: два сына – Володя и Эдик и дочь Мильда.

Мильда, окончив автодорожный институт, уже работала, Володя учился в школе, по окончании которой его взяли в армию. Во время войны он был в тех частях, которые освобождали Латвию от немцев. Когда война окончилась, Владимир поселился в Риге и вызвал из Омска Мильду с семьей. Она стала работать в сельхозакадемии заведующей кафедрой автомобилей – профессор Владимир Михайлович Озолиньш, так звучит по-латышски фамилия Озолина, был членом Верховного Совета Латвии, был министром по строительству. В семидесятых годах он погиб в автокатастрофе, а Эдик, младший брат, потерялся, когда был еще совсем маленьким мальчишкой. Они его долго искали и в конце концов нашли – он был осужден и сидел в колонии.

* * *

А о той, уже другой истории, об истории Вильяма Озолина, я расскажу немного позже... А пока начну с того, как сложилась моя жизнь – жизнь моей семьи после гибели Яна и его родителей...

После ареста Озолиных, я осталась жить с матерью и маленьким сыном Вильямом, которому было 6 лет. Я тогда уже училась на 3-м курсе художественного училища, но закончить мне его не удалось, надо было работать. Сыну было 6 лет, мать инвалид. Над нами нависло клеймо – семья врага народа. Я работала как могла. А вот сыну, когда он стал подрастать, это клеймо очень мешало. Но об этом я напишу потом...

А пока расскажу, как складывалась моя дальнейшая жизнь... Когда я еще училась, приходилось подрабатывать, так как стипендия была такая маленькая. Чтобы прожить на нее, да еще с семьей, было просто невозможно. Мы, студенты, обычно брали «халтурку»: писали лозунги, готовили стенгазеты, это тоже не устраивало и потом работа эта была временной – перед праздниками. И вот я нашла «лазейку»: в медицинском институте существовала мастерская по изготовлению учебных наглядных пособий. «Главным художником» этой мастерской был довольно старый и хитрющий дед, который набрал бедолаг

вроде меня, и мы на него работали. Именно на него, т.к. сколько он получал за эту работу мы не знали, а с нами он расплачивался по своему усмотрению. Нас было трое. Я из художественного училища и два студента медика. Работали мы обычно ночами, а утром мне, например, уже к 8-ми часам надо было быть на занятиях в училище. Приходилось тяжело, я стала отставать в учебе. Я бросила работу у деда, старалась подтянуться в училище, но потом все-таки пришлось бросить учебу, ушла я с третьего курса.

И вот, однажды летом, зайдя в мединститут, я встретила главного бухгалтера института, и он мне рассказал, что того художника Кортюкова, того деда они уволили за какие-то махинации, и он мне предложил занять его место. Я растерялась, но он меня повел к директору и вообще они меня уговорили. И так с 1938 года я стала официально работать художником омского медицинского института. Институт был крупным научным учреждением, имел 54 кафедры. И всем нужны были учебно-наглядные пособия: рисунки, текстовые таблицы и еще оформление диссертаций.

Одной справиться было невозможно, и я пригласила к себе художника Михаила Алексеевича Иванова. Он бывший аспирант Ленинградской Академии художеств, попал в Сибирь, вернее в Омск, благодаря своему дворянскому происхождению, из-за которого его выслали в 1937 году.

Михаил Алексеевич сразу написал серию портретов ученых, которые сразу украсили актовый зал и кафедры. А в основном наша работа состояла из изготовления учебно-наглядных пособий для занятий со студентами. Много текстовых таблиц, а в основном рисунки – анатомические, картины крови и прочие... Рисовали их акварелью и «сухой кистью». Много приходилось работать над оформлением диссертаций. Иногда с микроскопом, иногда и с натуры рисовали изучаемый материал. Вот, например, заведущая кафедрой гигиены питания занималась изучением описторхоза. Это было еще в начале шестидесятых годов, тогда еще только стали заниматься этой проблемой. Я работала у нее на кафедре, смотрела в микроскоп и зарисовывала этих описторхов для диссертации. Приходилось мне делать зарисовки с натуры и прямо в операционной. Однажды хирург Нина Васильевна Кайгородова попросила меня сделать цветные рисунки во время операции. Важно было запечатлеть форму и цвет. Вопрос стоял об опухоли на печени. Но были какие-то сомнения. Меня одели в соответствующую одежду, я взяла кисти и акварельные краски и когда полость открыли – пригласили в операционную меня. Хирург держал в руках, на ладонях большой круглый темно-красный шар... Я быстро зарисовала в альбом и кисточкой набросала цвет. К счастью это оказалась не опухоль, а большая аневризма – это раздутый кровеносный сосуд,

наполненный кровью. Инна Васильевна проткнула его скальпелем, кровь вытекла в подставленную ванночку и все... Дальше я уже покинула операционную. А хирург продолжала операцию – главное было выяснено – это не было злокачественной опухолью. Женщина была спасена.

В общем, всего я не могу перечислить – за 32 года моей работы в мединституте, много приходилось делать интересного с натуры.

* * *

Забегу немного вперед и расскажу, как в начале 1946 года судьба забросила меня в город Новосибирск. Там мне пришлось работать в госпитале челюстно-лицевой хирургии, в котором на излечении находились люди с осколочными ранениями лица: у кого не было носа, губ, век. И врачи терпеливо наращивали больным недостающие части лица. Материалом для этой операции служил так называемый «филатовский лоскут», который брался на теле больного, потом пришивали его к месту ранения, например, недостающего носа, и ждали, когда он – этот лоскут – приживётся, когда восстановится кровообращение, и тогда формировали нос или губы.

Самый «интересный» больной, если так можно так выразиться, был солдат, у которого осколком снаряда снесло всё лицо – остались только глаза и верхние веки, а всё остальное было снесено: нос, губы, верхняя челюсть...Его так и везли с фронта, накрыв эту рану марлевой салфеткой. Ко мне этот больной поступил, когда у него уже был пришит «лоскут» и формировали нос и губы.

В мою обязанность входило – сделать с натуры портрет этого больного, по которому врачи следили за приживанием пришитых частей и отмечали на рисунке приживание красным карандашом.

Он, этот больной, часто потом приходил ко мне в мастерскую и показывал довоенную фотографию – нормального молодого человека. Проработав в этом госпитале полгода, я потом вернулась в Омск, в свой родной институт.

* * *

А в начале войны в Омск были эвакуированы: 2-й московский медицинский институт и ленинградская Военно-медицинская академия. Все они работали на базе Омского медицинского института. Шла война. Фронту нужны были врачи и вот их готовили ускоренным методом.

Работа наша можно сказать утроилась. А условия были такие: институт зимой не отапливался, на стенах изморозь, сверкал снег. Электричества не было.

Как стемнеет, работали при коптилках – это такие осветительные сооружения: бутылочки с керосином, в неё спущен шнурок, который горел и страшно коптил.

Михаила Алексеевича призвали в армию, я осталась одна. Но его «военная карьера» скоро закончилась. Поезд, в котором их везли, разбомбили немцы и он с тяжелым ранением ноги попал в госпиталь, а потом уже на костылях вернулся в институт. А жизнь продолжалась. Шла война. В Омск эвакуировали заводы, которые работали в четыре смены. Все для Победы! Все для Победы!!! Ну, а мы в тылу, в холоде и в голоде, хоть не на заводе, но тоже не покладая рук, работали, внося хоть и маленькую лепту для Победы над врагом. Но надо сказать – уныния не было. Даже в голову не приходило, что может быть как-то иначе. Верили в Победу, верили, что дальше врага не пропустим, что все равно Победа будет – и она пришла!

* * *

В институте заканчивался учебный год. Шли экзамены. Несмотря на конец учебного года, работы у нас, у художников, было много. Готовились к защите диссертаций. Однажды, уже к вечеру, приходит профессор Макоха Николай Сафронович, уставший после долгой и тщательной операции – удаление опухоли на 12-ти перстной кишке. Принес мне рисуночек, сделанный им самим на блокнотном листочке. Все мне объяснил и попросил из этого чертежика сделать большой рисунок для демонстрации студентам на лекции.

Ну что ж – сделала. Понравился. А потом об этой и еще других операциях, сделанных профессором Макохой, я выполнила <рисунки> для типографии, для оформления его книги.

Работа в институте была очень интересной, да и атмосфера в нашей мастерской тоже была очень интересной. К нам шли люди и с заказами, да и просто пообщаться. Наша мастерская находилась на первом этаже. Сразу после главного входа – гардероб для научных работников, потом вход в библиотеку и дальше, через пару ступенек, около дежурного с телефоном высокая дверь – это вход в нашу мастерскую. Поэтому, не поднимаясь по высокой парадной лестнице на 2-й этаж, люди проходили к нам.

У нас было весело. Здесь же писались эпиграммы, делались шаржи на некоторых посетителей, и народ тянулся к нам на «огонек». Профессура, научные работники, приходившие в институт по делам или на научный совет, обычно заглядывали к нам.

Да и не только наши институтские. Часто бывали друзья из филармонии – музыканты, актеры. Особенно часто приходил актер драматического театра

Вацлав Дворжецкий, уехавший потом в г. Горький и ставший впоследствии кинорежиссером.

С филармонией я была довольно тесно связана. Концертмейстером в ней была моя самая близкая подруга Сара Раковская. С Раковской нас свела судьба в горьком 1937 году. Ее муж Николай Раковский работал вместе с Яном Озолиным в редакции «Молодого большевика». Яркий журналист и вообще очень интересный человек, Николай сгинул почти в одно время с Яном Озолиным. И если мы впоследствии узнали о судьбе Яна и о его реабилитации, то Раковский исчез бесследно. После ареста наших мужей, мы с Сарой Раковской, как друзья по несчастью, очень подружились. Вскоре после ареста мужа у нее арестовали отца, который был директором омского лесозавода и который тоже пропал без вести. Сара, когда осталась без мужа, детей у них не было – она стала работать в цирке пианисткой в оркестре. И с этим коллективом уезжала на долгие гастроли по всему Союзу. Вернувшись в Омск, она перешла работать в филармонию. Пианисткой она была очень опытной и с ней очень любили работать.

Филармония тогда находилась на 4-м этаже дома, в котором был кинотеатр «Художественный». Этот дом находился недалеко от института, и я иногда в свободное время ходила к Саре послушать музыку. Приходила, садилась в репетиционной комнате в уголок и заслушивалась звуками мелодий. Репетировали вокалисты, струнный квартет. В то время в основном была классическая музыка. Тогда еще не было сумашедшей поп-музыки, этих длинноволосых и развязных парней с деревяшками вместо гитар.

Я когда-то в детстве училась музыке. У нас был дома рояль,.. А потом не стало рояля и не стало уроков... Много чего ни стало... И поэтому я пользовалась любым удобным случаем, чтобы окунуться в звуки музыки. Конечно я не пропускала ни одного интересного концерта в Омске, которых было много и часто приезжали интересные знаменитости, знаменитые исполнители.

Директором филармонии был Юрий Львович Юровский. И он так умело руководил, что Омск посещали лучшие коллективы и исполнители. Приезжал оркестр Леонида Утесова, оркестр Эдди Рознера, Олега Лундстрема. Омск, несмотря на отдаленность, не испытывал недостатка музыки.

Каждое лето приезжали на гастроли оперные театры – Свердловский или Пермский. Театры работали с аншлагом. После спектаклей актеров и певцов восторженная публика провожала до гостиницы. Это легко можно было сделать, т.к. гостиница находилась недалеко от летнего театра, и люди так и шли по проспекту Ленина. Вот так Сибирь! Вот так провинция!

В Омске были и свои музыкальные коллективы, например, омский русский народный хор, это детище Юровского, который его создал и с которым он объездил чуть ли не полмира.

В филармонии был струнный квартет, которым руководил Н.Г. Новожилов. Этот квартет часто выступал в концертах, которые проводились в Музее изобразительных искусств. Тогда этот музей находился в самом центре Омска, в бывшем губернаторском дворце. В самом большом зале музея ставились ряды стульев и среди больших живописных полотен, висящих на стенах музея, раздавались звуки струнного квартета... Создавалась такая атмосфера, как в храме... Музыка и искусство – это было потрясающе. На одном из таких концертов, одна из слушательниц вышла в соседний зал и разрыдалась – такое было напряжение.

Николай Григорьевич Новожилов до войны жил и работал в Ленинграде. Перед войной он уехал на гастроли в Германию и там его застала война. Поскольку он был известный музыкант-исполнитель, дирижер и композитор, то немцы пригласили его работать в Берлине на радио и дирижировать оркестром в берлинской опере. После войны Новожилов вернулся в Ленинград, но его из города выслали, и он с матерью приехал в Омск. Жили они в гостинице. Номер перегородили, устроили для матери уголок, завесив его портьерой, мама Николая Григорьевича была старенькой и больной, она никуда не выходила, и сын очень заботился о ней.

Новожилов был человек высокий, с крупными чертами лица, всегда сосредоточенный, неразговорчивый. Иногда немного выпивший, но в меру. В Омске он был дирижером оркестра в драматическом театре и руководил струнным оркестром филармонии. После смерти матери, он не перенес одиночества и приняв большую дозу снотворного, – не проснулся.

Николай Георгиевич был сослан в Омск после войны, а много ранее, в 1938 году в Омске появился Дворжецкий Вацлав Янович, который тоже был сослан в Сибирь. Ранее он жил в Киеве, где учился в театральном институте. В начале 30-х годов он участвовал в каком-то студенческом движении. Многих арестовали и судили, в том числе и Вацлава Дворжецкого. Отбыв большой срок в лагере на Соловках, он был сослан в Сибирь, именно в Омск. Приехав в Омск, он начал работать в ТЮЗе, а потом его приняли в драматический театр. Получив комнату в театральном общежитии, он вызвал из Киева мать, потом женился на актрисе Т. Рэй. У них родился сын Владислав, который впоследствии стал киноактёром и снимался в кино. В фильме «Бег» он снялся в главной роли и еще в нескольких

фильмах. Но однажды на гастролях он скоропостижно скончался от инфаркта... Ему было всего 39 лет.

Вацлав Янович Дворжецкий долго работал в Омском драмтеатре. Он был очень талантлив, исполнял главные роли, амплуа – герой-любовник. Внешне он был очень красивый, высокий человек, очень интеллигентный. Когда началась Отечественная война, его «на всякий случай» опять арестовали – изолировали, и он до конца войны просидел в Омске, в лагере. После войны он снова работал в драме, и уже в шестидесятых Дворжецкий вторично женился на Риве Левите, которая была режиссером в театре, они уехали в город Горький. Там у них родился сын Евгений, который тоже стал актером, тоже снимался в кино, а <жил> <сейчас живет> в Москве, работа<л> <ет> в одном из московских театров. А Вацлав Янович Дворжецкий, впоследствии стал киноактером, снимался во многих фильмах... А в 1993 году его не стало... Было ему уже 83 года.

* * *

Еще надо добавить, что Евгений Дворжецкий погиб в 1999 году в автокатастрофе. Было ему 39 лет.

* * *

Итак, вспоминая о людях, с которыми мне приходилось сталкиваться, я отвлеклась от основной темы своего жизнеописания... Итак, я продолжаю...

Вот так мы работали в кругу интересных людей, но... это «но» или судьба, или провидение, как тогда его называли, послала нам несчастный случай...

В мае 1947 года, перед майскими праздниками, накопилось много работы по оформлению здания и колонн демонстрантов. Мы пригласили на помощь художника Егорова. И вот закончив работу, вечером 30 апреля, мы собрались уходить по домам. У Михаила Алексеевича был гость, его друг Боля Гиммер.

Мужчины взяли бутылку вина, но Михаил Алексеевич отказался, сказав: «Нет, други мои, не могу...» «И мы разошлись. Я пошла в одну сторону, а они втроем отправились в другую. Жили они по соседству. Михаил Алексеевич на костылях. Вечер был необычайно теплый и тихий. Пока они пешком дотянулись до дома, было уже полночь. Они остановились у дома Михаила Алексеевича и потихоньку беседовали. Вдруг останавливается машина, выходит молоденький военный, подошёл к ним и скомандовал: «Разойдись!» Они ему сказали, что идут с работы, остановились у своего дома и мирно разговаривают... Военный, это был молоденький лейтенант войск НКВД, патрулировал по улицам, чтобы что-нибудь не случилось в предпраздничную ночь. Лейтенант повысил голос и грубо

повторил приказание. Егор, прошедший войну, был в чине майора, возразил и сказал: «Прошу мне не тыкать» и указал на свое звание. Лейтенант схватил его за рукав и потянул к машине. Егоров вырвался и пошел в сторону своего дома. Лейтенант выхватил пистолет ТТ и выстрелил в уходящего. Так получилось, что этой пулей он убил сразу двоих, пуля попала в Егорова, перебив ему подключечную артерию и убив его насмерть, и пройдя через него, она ранила Михаила Алексеевича в низ живота, перебив ему паховую артерию, и кровь хлынула из раны фонтаном, залила ворота его дома. Лейтенант испугался, сам вызвал скорую и позвонил в свою организацию. В общем, оба раненых истекли кровью и скончались. Один – на месте, другой – в больнице. Их отправили в морг, т.к. впереди были два майских праздничных дня, во-первых, а во-вторых, «органы» запретили до их распоряжения хоронить и запретили хоронить в одной процессии, чтобы не было большого скопления народа. Но всё равно, когда хоронили Михаила Алексеевича, до самого кладбища народ шёл толпой, как на демонстрации. А этого лейтенанта судили. Процесс был закрытым, там у них в НКВД, пригласили только свидетеля, того третьего, который шёл с ними домой и у которого на глазах произошла эта трагедия. После похорон меня вызвал директор нашего института и спросил, чем можно помочь семье погибшего. Я сказала, что надо его жену пригласить к нам работать, она тогда была без работы. Она чертежница и хороший рисовальщик. Так и сделали. И Маргарита Алексеевна Ободовская-Иванова стала работать у нас в институте и проработали мы вместе с ней до самой пенсии... В то время из армии вернулся художник Владимир Полторакин, с которым я училась в художественном училище на одном курсе. Он окончил училище как раз перед самой войной. Его призвали в армию, и он до конца войны служил в штабе дальневосточных войск. И вот, когда он вернулся в Омск, он пришел ко мне в институт, и я его пригласила работать у нас. Работы было, как всегда, очень много, мы с Маргаритой еле справлялись. Володя хорошо вписался в наш «ансамбль», «работали мы дружно и весело. Впоследствии Владимир Полторакин стал известным омским писателем.

* * *

С начала моей работы в институте, я всегда давала возможность заработать нуждающимся студентам. Но не так, как когда-то мне «помогал» тот дед-художник, у которого мне приходилось работать студенткой. Я давала работу, обычно шрифтовку таблицы и оплачивала по существующим расценкам «Омхудожника» (работа у нас сдельная).

На всём протяжении моей работы в институте, у меня всегда были один, два паренька, которым я помогала. Особенно запомнился Артем Тюксокин. Он

был постарше своих однокурсников, отслужил уже в армии и поступил в институт. На его иждивении ещё был старый отец. И вот однажды он зашёл к нам в мастерскую попросить работу... И так он проработал у нас до окончания института, окончив который он получил направление в Якутию. Приехав на следующий год в отпуск, он пришел к нам в мастерскую. Принес бутылку шампанского и торт и угостил нас с Маргаритой, был счастлив, что теперь он может это сделать. А еще через полтора года, он приехал в институт уже защищать свою диссертацию, и мы ему делали таблицы для защиты.

* * *

А в это время – в 1943 году, в институте произошли финансовые затруднения. Дело в том, что, когда я начинала работать, мы заключили, индивидуальный договор, по которому мне и другим платили за работу. А теперь Москва запретила платить по договору, деньги в бюджете института на учебно-наглядные пособия были, но нужно было изменить форму оплаты. Мы, художники, оформились в штат товарищества «Омхудожник», через который мы стали получать зарплату. Таким образом, юридически с 1948 года мы оказались в штате этого товарищества, которое в последующем было переименовано в «Художественный фонд СССР».

Специально было построено красивое, удобное здание, в самом центре Омска, на берегу реки Оми. В этом доме находилась администрация, два выставочных зала, а выше – мастерские художников. Из живописцев очень талантливым был А.Н. Либеров. Когда он привез из зарубежной поездки пейзажи, сделанные пастелью, от них просто невозможно было отвести глаза. Прекрасно работал Кондратий Петрович Белов, его колоритные пейзажи, посвящённые Сибири и особенно любимая его тема – это полотна изображавшие могучий Иртыш, были могущественны и талантливы.

Запомнились акварели В. Белана, работы Чермошенцева. Вообще много было интересных художников, пусть они мне простят, что я не запомнила их фамилий. Прошло 30 лет и, учитывая мой возраст, память мне изменила. Но были и такие, как молодой Белов и иже с ними... я свое мнение никому не навязываю, но мне изыскания этих молодых не нравились и не нравятся.

Наше присоединение к художественному фонду принесло некоторые неприятности, особенно для меня. Дело в том, что Либеров, который лидерствовал в фонде, имел склочный характер. И у меня с ним, как говорится, скрестились шпаги. Работая долгое время в институте, я привыкла к высокой культуре в отношениях. Нас уважали, ценили нашу работу и относились к нам

на равных. И профессура, и директор института заходили к нам иногда запросто поговорить.

А Либеров считал себя лидером и не терпел, когда ему не подчинялись и становились на его пути. Причём действовал он исподтишка. А началось всё с собрания. Либеров задумал убрать директора товарищества Андрея Дубровского. Собрал общее собрание, прибыла из райкома партии представительница. Заслушали доклад Дубровского и поставили на голосование. Собрание большинством голосов приняло решение – считать работу удовлетворительной. Но женщина из райкома объявила, что это неправильно и что работу надо считать неудовлетворительной. Собрание загудело. А я встала и сказала: «Мы все были в полном уме и здравии и, если мы голосовали за “удовлетворительно”, то надо так и оставить». Я уж не знаю, как это у меня получилось. Я никогда в жизни не выступала на собраниях... Теперь я уже не помню, чем это все кончилось. Но первая трещина уже была... мне сказали друзья, что на меня готовится «дело», тем более, что надо мной все еще висело клеймо «семья репрессированного».

Директором тогда после Дубровского поставили малограмотного вывесочника из оформительского цеха. Он был мягкий и добрый человек, и им было удобно крутить, т.е. руководить так, как захочет Либеров.

И еще был случай с моим сыном. Вильям с 14-15 лет работал иногда меня в мастерской. Когда ему надо было купить что-нибудь из одежды, я ему давала штрифтовые работы или диаграммы, он выполнял их, зарабатывая таким образом на покупку. После школы я его оформила у нас на работу, и он стал работать в институте официально. Виля был хорошим штрифтовиком и рисовальщиком.

И вот однажды, когда я пришла в «Омхудожник» по делам, меня позвал к себе в кабинет наш новый директор Марущак и сказал: «Знаешь, Дебора, мне пришлось твоего сына уволить, мне приказали... Уволили как профессионально непригодного». А Вильям работал не хуже других. Я поняла, откуда эти козни. Я так расстроилась, шла еле сдерживая слезы, а когда уже дошла до института и зашла в свою мастерскую, села, уронив голову на стол, и разрыдалась... Надо сказать, что я вообще редко плакала, а тут просто сил не хватило!

Через некоторое время, нам поручили оформить выставку, в какой-то организации. Выставка была готова я ее пришла принимать комиссия из «Омхудожника». Все было хорошо, но одну работу заставили переделать. Это была моя работа – цитата из речи Сталина. Я её написала на бумаге красной тушью, а рамочку обвела очень тонко рейсфедером черной тушью. Они

посчитали эту работу траурной... И всё – теперь уже точно надо мной нависла туча... но пока они там соображали, как со мной расправиться, произошло неожиданное: отец родной взял да помер...

Я представила немую сцену – как они им, на всем скаку, вернее Либерову, на полном скаку, пришлось остановиться. Ну а со смертью Сталина – началось всенародное рыдание. Я, конечно, тоже принимала в нем участие, при чем совершенно искренне... Мы же были как секта, руководимая опытным шаманом и, как замороженные, подчинялись его влиянию... Но вскоре – XX съезд партии, выступление Хрущева, пелена с глаз была снята и началось новое время, новая жизнь, хрущевская оттепель, как её называли.

* * *

Но наше, так сказать, содружество с товариществом «Омхудожник» так и не обходилось без неприятностей. Получив теперь новую вывеску «Художественный фонд СССР» они, видимо, решили, что негоже им теперь якшаться с оформителями и поэтому постановили, что под этой вывеской будут только творческие художники. Решив это, они отчислили весь оформительский цех и нас троих, работавших в мединституте, тоже. Полторакин занялся литературой, а мы с Маргаритой остались без работы. Работы-то было, как всегда, много, но расплачиваться за неё институт без посредников не мог.

Ходили с этим вопросом и в Горисполком, и в обком. Я тоже с ними, с оформителями, ходила, но выхода из этого бедственного положения никто найти не мог. Бросить родной институт без рисунков и наглядных пособий мы не могли. Институт первые два месяца платил нам всякими правдами и неправдами, под видом каких-то рабочих мест... Пробовали мы устроиться в какие-то ремесленные артели, куда институт перечислял деньги. Но эти артели больше месяца нас держать не могли, и так, чтоб сохранить неприкосновенный стаж, мы кочевали через 30 дней из одной артели в другую. Остались только инвалидные, которые нас категорически не принимали с целыми руками и ногами. Домучившись в этих скитаниях, мне пришла мысль написать в Москву.

В то время министром по труду был Коганович. Вот я взяла и написала ему, что вот мы, две матери-одиночки, оказались в таком бедственном положении: работы в институте много, но они, имея деньги на счете «на учебные наглядные пособия», не имеют права рассчитываться с нами, а только через какую-нибудь организацию. Испробовали все, какие можно было, артели, остались только инвалидные, а те нас не принимают. Так что же пойти и положить ногу под трамвай и стать инвалидом, тогда я смогу получить зарплату

за сделанную мною работу?! Письмо отправила и стала ждать... Пришлось даже взять деньги у одного старика под проценты – 10% с суммы за месяц.

И вот однажды за мной пришла машина из Горисполкома. Привезли, повели в кабинет. Сидит такой разжиревший чиновник – заведующий административно-хозяйственной частью и говорит: «Что же вы, милочка, в Москву-то написали, могли бы и к нам обратиться». Я ему рассказала, как и куда мы обращались, но только толку нет. И про инвалидную артель тоже. Тогда он мне говорит: «Ну пошли бы в швейки работать...» Тут уж я не выдержала: «Почему я должна в швейки идти?!» – говорю я, – если я получила специальное образование?! Почему вы вот сидите в этом бархатном кресле, почему вы не пошли в кочегары или плотники? Почему?» В общем, хлопнула я дверью, да так сильно, что зазвенели стекла и ушла. Потом все-таки, через каких-то знакомых нас приняли в крупную артель мастеровых, хотя мы были не их профиля, но они нас взяли, соблазнившись довольно крупными перечислениями за нашу работу, которые перечислял институт, и мы там работали года два.

И вдруг однажды позвонила мне бухгалтер из «Художественного фонда» с просьбой прийти к ней. Оказывается, пожили они так пару лет, творческие работали вроде усердно, но работы плохо покупались. Короче говоря, они победствовали без денег и пригласили нас опять – работать у них. Открыли оформительский цех в полуподвальном этаже. А мы как были в институте, так и работали в своей мастерской. Так мы стали опять под вывеску «Художественного фонда СССР».

Пожили они с творческим составом, а творческие люди, как известно, большую часть рабочего времени проводили в мечтах и разговорах, да нечего скрывать и погулять большие любители, так что к исходу двух лет, материальное положение фонда оказалось ужасным. На складе скопилось много творческих работ, которые не очень раскупались... Вот и вышло, что без оформителей, исправно малевавших «пятилетние планы» и плакаты, призывавшие выплавлять на каждую душу населения по 40, а может даже и 60 тонн стали, прожить фонду было невозможно. Вот и вернули их в стойло искусства, а вместе с ними и нас «медицинских художников».

* * *

А у меня уже подрастал сын Вильям. Учился в школе, он тогда уже писал стихи. Выступал с ними на областной олимпиаде с большим успехом. А вот когда окончил школу, то почувствовал на себе клеймо – сын репрессированного. Не принимали его ни на работу, ни на учебу... Но Вильям нашел выход, он поступил матросом на пароход и ходил на нем по Иртышу до Обской губы.

После этого работал на Ямале журналистом. А в 1948 году с топографической партией ушел в тайгу в Горную Шорию, настолько непроходимую, что от Новокузнецка они все оборудование несли на себе и только придя на место, оборудовали лагерь. В этой тайге он проработал полгода. Потом работал на радиозаводе. И только после смерти Сталина Виля уехал в Москву поступать в Литературный институт им. Горького.

Первый экзамен был по творчеству, за который он получил оценку «отлично», и тогда его допустили к остальным экзаменам. Всё сдал на хорошо и отлично, а вот по немецкому – тройка... Увы! Приняли его только на заочное отделение, т.к. конкурс был очень большой. Приехав в Омск, он работал на телевидении редактором последних известий. А однажды взял в институте творческий отпуск и уехал с ленинградской геологоразведкой на Памир. Был рабочим, искали урановые руды. Вот и долбил кайлом памирскую твердь. Шесть месяцев работал Вильям в этой экспедиции, исходив на четырехтысячной высоте многие километры. Приехав после экспедиции в Омск, он продолжал работу на телевидении. И вот однажды, придя с работы домой, он «обрадовал» меня, сказав, что приглашают работать на Сахалин. Я, конечно, в ужасе... Но Вильям улетел. И началась его Сахалинская эпопея.

Работал в газете, потом дважды ходил на рыболовном траулере через Тихий океан, к берегам Аляски, где занимался рыболовным промыслом и, наконец, вернулся в Омск.

Улов, в смысле творчества, от этих скитаний у него был богатый и очень интересный. В 1966 году у него вышла первая книга стихов «Окно на север». А в 1972 году – вторая, называлась она «Песня для матросской гитары». Подарив мне ее, он написал: «Моей дорогой, милой, умной маме от вечного скитальца сына, никогда не волнуйся за меня, мои скитанья не беда – а судьба!»

Дальше – «Чайки над городом» – 1974 год, потом «Воспоминания о себе» – 1982 год, «Возвращение с севера», следующие – «Год быка» – 1985 год, а «Белые сады» – 1996 год. Всего 7 сборников стихов и три повести: «Крюкова Север знает», «Черные утки» и «Бирюзовая сережка».

Работая на омском телевидении, Вильям часто получал приглашения в г. Читу на «Забайкальскую осень». И в конце концов, они с женой Ириной в 1972 году переехали в Читу жить. Там он плодотворно работал, часто выступая на пограничных заставах, за что командование Забайкальским военным округом наградило его медалью «Отличник-пограничник».

Жизнь в Забайкалье была особенно насыщенной. Люди талантливые, большой культуры. Крепкая дружба связывала Уильяма с поэтом Ростиславом Филлиповым, прозаиком Георгием Граубиным. Да не только с ними. Круг друзей был большой. В Чите ежегодно проходила «Забайкальская осень», на которую съезжались поэты и писатели из Москвы, Петербурга, Иркутска, Красноярска и других городов. Вильям читал свои стихи и пел их под аккомпанемент гитары, исполнял их с таким настроением и удалью... Булат Окуджава, сказал ему однажды: «Ты, Виля, поёшь мои песни лучше меня. Они получаются у тебя более мужественными...» А мужественность Озолину не надо было занимать. Путь его был нелегок с самого детства: военные годы, работа на Крайнем Севере, морские скитания, Памирская геология. И все на одну судьбу...

Когда-то, когда Вильям учился еще в Литературном институте, Илья Сельвинский сказал о нем: «Он никогда не фальшивит, никогда не пишет стихов только от того, что есть белая бумага. У него все настоящее – и любовь, и ненависть, и наивность. А наивность выше иной мудрости. Вот почему я верю в будущее его поэзии».

Пожили они в Чите 8 лет. И вот однажды, когда Вильяма пригласили на Алтай на день поэзии, ему там предложили переехать в Барнаул. Пообещали квартиру. Жаль было расставаться с дорогими и верными друзьями, но суровый читинский климат, бесконечные зимы, дефицит овощей, а у них подрастал сынок... Всё это заставило их принять предложение, и вот в 1980 году они переехали в г. Барнаул.

В Барнауле Вильям продолжал интенсивно работать, помимо отдельных изданий, он систематически печатался в журналах «Сибирские огни», «Сибирь», «День и ночь», «Дальний Восток» и др. В 1936 году его большой и яркий рассказ «Король Лир, принц Гамлет и печник Зверев» был опубликован в журнале «Новый мир» № 10 за 1996 год.

Вильям был членом редколлегии журналов – Красноярского «День и ночь» и «Барнаул». В Барнауле он занимался с молодыми литераторами и помогал литературному объединению инвалидов. Он легко находил контакты с людьми, привлекая незаурядной эрудицией, остроумием и доброжелательностью. Таков был Вильям Озолин, мой дорогой сын...

* * *

Когда-то в предисловии к своей книге «Чайки над городом» Вильям написал: «Пусть это несколько романтично, зато в этом есть некий смысл моей вечной привязанности к парходам и скалистым причалам, морю...»

Вот теперь бы я с ним поспорила: привязанность-то у него началась не с моря, а с реки, на которой мы жили, и смолистые причалы, и пароходы... Это все у него было в детстве, в городе Омске, на реке Иртыш. И даже не только Иртыш, а ещё и река Омь, которая пролегла через весь город и в центре Омска впадала в реку Иртыш. Это та самая река Тишина, которую воспел в своем стихотворении поэт Леонид Мартынов. Она начиналась где-то на Севере, в Томской, а потом, пересекая всю Новосибирскую область и дальше, протекая через весь город Омск, влилась в Иртыш. Река с высокими обрывистыми берегами, глубокая и тихая.

На слиянии этих двух рек, когда-то в начале XVIII века, а точно в 1716 году и возник город Омск. Сначала это была небольшая крепость, которую заложили казаки. И между прочим, до сих пор эта часть города так и называется крепостью. Так вот дом, в котором прошла моя молодость и в котором родился Вильям, находился близко от этих обеих рек. Когда не стало отца, я сама ходила с сыном на рыбалку. Несмотря ни на что, ему было всего 7 лет, он был страстный рыбак, а я боялась отпускать его одного. Река-то хоть и тихая, но очень глубокая. Вот и рыбачили вместе – и ходили вместе на пристань, где причаливали пароходы. А насчет привязанности к морю, то, конечно, отец его был моряком, а потом и сам он окунулся в эту стихию.

Но если взглянуть глубже, то я хоть совершенно сухопутный человек, но в юности я тоже мечтала о море... Может, это мои гены повлияли на него.

Вспоминая, я расскажу все по порядку. Мне было 15 лет, училась я в 7-м классе и заболела я тогда морем... Я твердо решила, что, закончив школу, я уеду в город Одессу, в мореходное училище и, окончив его, буду капитаном дальнего плавания. Не больше и не меньше... Только капитаном дальнего плавания! Я тогда даже наколола у себя на кисти левой руки маленький якорь. Так он и остался у меня до старости. А я, окончив среднюю школу, вышла замуж за моряка Яна Озолина и на этом мое «плавание» закончилось. Правда еще девчонкой, я вечно торчала на реке, у пристани, встречая и провожая пароходы... Вот они эти смолистые причалы и пароходы... И Виля тоже там с детских лет крутился у этих причалов.

А я ещё и на яхте ходила (в довольно зрелом возрасте), капитаном этой яхты был Вилин школьный товарищ Борис Иванов. А я в его «экипаже» сидела на корме у маленького паруса, который назывался клипер-шкот (не забыла!). Водить яхту на реке очень сложно, это не море, где простор и ширь. А на реке, даже такой широкой, как Иртыш, – надобно особое умение. Ведь просто так в даль реки не пойдешь, поэтому надо лавировать и, ловить парусом ветер,

поэтому яхту направляют по ветру, с поворотом от одного берега к другому. Когда яхта доходит до левого берега, нужно быстро повернуть парус в противоположную сторону. Капитан командует: «По-во-рот!» и тут нужно быстро успеть нагнуться вниз так, чтоб голову не задело. Парус поворачивается в другую сторону, его надувает ветер, и яхта начинает двигаться к правому берегу... Так вот и ходят яхты зигзагами по реке.

В Омске был большой яхт-клуб. В него входили целыми семейными династиями. Яхт на Иртыше было много – это такое красивое зрелище, когда по реке плывут белые паруса – на фоне летнего, очень яркого синего неба и темной воды.

Вообще слияние рек в самом центре города так украшает Омск. В устье Оми, на левом берегу находилась пристань, у которой останавливались и стояли пароходы. Именно пароходы, с машинным отделением, с шумом работающих машин, с гудками, гулко разносившимися по городу. Это теперь, на этом месте выстроили красивый Речной порт.

А раньше в устье Оми, в том месте, где она впадает в Иртыш, зимовали суда Карской экспедиции. Мне пришлось даже работать в этой Карской экспедиции. Не на судне, конечно, а в управлении или конторе, как ее называли. Выполняла я какую-то канцелярскую работу. Но все равно было любопытно общаться в эти интересные люди. Когда суда Карской экспедиции приходили на зимовку, нас, служащих <в> управлении, снабжали рыбой, привезенной с севера. Уж я на что мелкая сошка, и то получала 16 кг соленого сырка. В то время это было очень даже приятно и полезно. Сырок – это деликатесная, необыкновенно вкусная рыба, с нежной и очень жирной мякотью янтарного цвета. Она, эта рыба, довольно крупная сантиметров 50-60 длиной.

Вот так я в молодости прикоснулась к «морскому» делу. А в дальнейшем у меня был муж моряк, и сын Вильям пошел по его стопам.

* * *

А сейчас я начну, как говорится, из глубины веков... Я себя считаю коренной сибирячкой, мать моя и дед Ефрем Моисеевич Гонтов, родились в Сибири, в городе Омске. А вот прадеда привезли в кандалах с Украины. История этого «кандальника» такова: жил он на Харьковщине. И вот ему однажды подбросили в огород мертвеца. Он, бедный и беспомощный, не мог справиться с властями, его осудили и отправили в Сибирь. Таким образом и появились Гонтовы, сначала в Троицке, а потом и в Омске, по семейному преданию, наша фамилия Гонтовы происходит от казачьего сотника Ивана Гонты, одного из

руководителей крестьянского восстания на Украине. В 1768 году Тарас Шевченко воспел его в поэме «Гайдамаки». Сильный это был, смелый и жестокий человек. Однажды, захватив не покорившееся ему местечко, Иван Гонта согнал жителей поселка в большой сарай, чтобы потом с ними расправиться. И надо же было случиться, что среди несчастных, оказалась беременная женщина, у которой начались роды, и родила она мальчика. Когда сотнику доложили об этом, он приказал эту женщину из сарая вывести. Сотник Иван Гонта был бездетным человеком, и он выпустил эту женщину с тем, чтобы она дала ребенку его фамилию Гонта. Вот так и появилась эта фамилия Гонта, которая со временем превратилась в фамилию Гонт, а потом Гонтовых.

У дедушки Ефрема Моисеевича Гонтова была большая семья – восемь человек детей. Старшая из них была моя мать – Софья. Проучилась она в школе недолго, всего 3 класса, а потом мать не стала ее пускать на занятия, надо было помогать ей по хозяйству и управляться с детьми. Девочке хотелось учиться, но мать была непоколебима. Однажды она ее жестоко избила и Софье пришлось покориться. Но свое образование она продолжала дома. Много читала, потом сестры и братья учились в гимназии, она следила за их занятиями и вместе с ними познавала науки. Когда дети выросли, тогда родители решили Софью выдать замуж. Ей уже было 26 лет. Она была очень красивой девушкой... И выдали... Не по любви, не спрашивая ее желаний, как тогда было принято, сосватали ей жениха из г. Челябинска. Софья была образованным человеком. И ещё она принимала участие в подпольной работе, распространяла с братьями подпольную литературу. Однажды ей пришлось, на балу у губернатора, торговать в благотворительном киоске сувенирами, а часть денег шла в кассу подпольщиков...

Однажды губернатор, увидев моего деда, сказал ему: «Гонтов, ты придержи-ка своих детей, я ведь, знаешь, смотрю на все это сквозь пальцы, пока...» Назавтра дедушка увёл на губернаторский двор породистого коня и увёз бочку меда. Об этом рассказала моя мама.

Дедушка Гонтов был подрядчиком малярных работ на строительстве железнодорожного моста через Иртыш. Дедушка и сам помогал политкаторжанам. Когда у него был дом на Учебной улице, там во дворе, на чердаке сарая был устроен ночлег для бежавших с каторги. На ночь выносили еду, а утром находили записку с благодарностью. Адрес этот передавался из уст в уста.

А теперь вернусь к замужеству Софьи... Выдали замуж, сыграли свадьбу и увезли в Челябинск. Но смириться она так и не смогла, и семейные отношения

так и не налаживались. После моего рождения – я родилась в 1910 году, она долго болела. А когда началась Германская воша, отца взяли в армию, мама еще пожила в Челябинске, а потом забрав меня, в 1917 году переехала в Омск к своему отцу. Семья у него к тому времени изменилась. Дедушка был уже постаревшим, лет ему было около семидесяти. Двое сыновей были призваны в армию. Старший из них, живший тогда в г. Томске, перед войной овдовел и прежде чем уехать на фронт, привез к отцу троих сирот. Младшему было всего 2 года. Вёл ли дедушка еще малярное дело – я не знаю, в семилетнем возрасте детей интересуют свои детские игры. А не занятия взрослых. У него было домашнее хозяйство: лошадь, корова, куры и небольшой огород во дворе около дома. Мы все помогали старшим по хозяйству.

А теперь пора рассказать о семье дедушки Гонтова подробно. Бабушка Елена умерла рано в 1922 году. Детей у них было восемь человек – четыре сына и четыре дочери.

Старший сын Михаил, вернувшийся с русско-германской войны отравленным газами, был всю жизнь нездоров. Овдовел еще до войны, он потом женился второй раз, и у него появились еще два сына. Всего у него пятеро детей, двое из которых погибли в Отечественной войне. У него была штемпельная мастерская, в которой он работал.

Второй сын, побывавший в Германии в плену, приобрел там у хозяина, у которого он работал, профессию часового мастера. Был женат. Детей у них не было.

Третий сын Александр в молодости был журналистом, потом получил специальность адвоката и так адвокатом и был до конца дней своих. Был женат. Есть дочь Елена Гонтова.

Самый младший Миней был зубным техником. Он очень долгое время был главным врачом железнодорожной поликлиники. Был репрессирован, просидел недолгое время в омской колонии, но после смерти Сталина был реабилитирован. Тоже есть дочь – Елена.

Дочери: старшая Софья, моя мать, выйдя замуж, была домохозяйкой. В 1922 году перенесла тяжелую операцию, после которой стала инвалидом. Ее сестра Броня и Роня. Первая, получив образование фармацевта, так и работала до старости в аптеке. Роня тоже пошла по ее стопам. А самая младшая сестра Анна Ефремовна Гонтова смолоду, получив специальность секретаря-машинистки, так и работала всю жизнь на этом поприще.

В двадцатых годах в Горздраве, потом долгое время в областном отделе искусств, где была управделами и машинисткой, далее в филармонии в той же должности, а потом, уйдя на пенсию, она еще долго работала в Доме Актера, где торжественно отпраздновала свои 80 лет. Несмотря на возраст, она была очень активной и пользовалась всеобщей и заслуженной любовью, в конце 1997 года она скончалась в возрасте 95 лет.

Все Гонтовы были очень добрые, с мягким характером, очень благожелательно относящимися к людям, любящие делать добро. В семье царила дружественная обстановка, никогда не слышала в этой большой семье каких-нибудь ссор. У всех были хорошие голоса и часто, собравшись вечером вместе, они пели хором, усевшись за столом, на котором уютно посапывал самовар.

Дедушка был очень набожным человеком. Когда после Германской войны, в Омске появились пленные австрийцы, венгры – он всегда приводил кого-нибудь к большому семейному столу – напоить и накормить. Дедушка был веселым, не лишенным юмора человеком. Он часто играл с нами, с внуками. Помню, когда в июле наступал день Ивана Купалы и мы весело обливали друг друга водой (бочка воды стояла во дворе), дедушка тоже вступал в эту игру. Вспоминаю, как в один такой очень жаркий день, мы, закрыв окна ставнями, чтобы в комнате была прохлада, спасались в ней от жары. Вдруг входит дед, хитро улыбаясь и держала руки за спиной. Мы тоже улыбаемся, ничего не подозревая..., а он вдруг выхватил из-за спины кувшин с водой и окатив нас, убежал в свою половину дома. Дом был из двух половин – имел два входа, два крыльца. Дедушка зашел в свою половину и закрыл дверь на крючок изнутри. Я решила все-таки его поймать и облить. Набрала тоже воды, залезла на пожарную лестницу, которая вела на чердак, как раз над его крыльцом и стала ждать. Вдруг слышу его шаги... Он подошел к двери, скинул навесной крючок и, открыв немного дверь, выглянул во двор... Тут-то я и окатила его водой... Вот такие были у нас игры, вот такие были отношения с дедом. Он весело смеялся, что я все-таки сумела облить его водой. И всем было весело – все-таки такой был обычай, такой вот был праздник – день Ивана Купалы. Конечно, с мальчишками-внуками, приходилось ему обращаться и сурово, но они сами были виноваты. Но никогда он их не бил...

* * *

Прошло с той поры 75 лет. Когда-то я рассказала о происхождении фамилии Гонт и Гонтовых...

Так вот – скоро, видимо, фамилия наша закончится, просуществовав три столетия. Дело в том, наши мужчины ушли в мир иной – одни по болезни, другие

по старости. А молодежь погибла в войне, остались только одни, уже немолодые женщины, так к концу века остались три двоюродных сестры Гонтовы, я – Гонт. И была еще мамина младшая сестра Анна Ефремовна Гонтова, которая дожив до 95 лет. Недавно в декабре 1997 года скончалась.

* * *

А теперь вернусь к началу 20-х годов и расскажу о моем отце. Мой отец тоже вернулся с войны в г. Челябинск. К тому времени четыре его брата с семьями, еще до революции, уехали в Китай, в г. Харбин. Отец забрал старенькую мать и перебрался в г. Омск. Семья наша восстановилась. Отец мой Арон Вольфович Хуторанский, живя еще до войны в г. Челябинске, занимался торговлей. Подробностей не знаю, тогда была еще очень мала. Но помню однажды мама водила меня на базар, там у него была небольшая лавка. Переехав в Омск, он тоже занялся торговлей на базаре, что потом обернулось трагедией и в его судьбе, и в моей. После НЭПа его, как и других торговцев, лишили права голоса, и он оказался в категории «лишенцев», лишенец – изгой, отверженный человек.

Человек лишенный всех прав гражданства, забегаю вперед, я скажу, помучился он так, а потом (я уже тогда уехала в деревню работать), когда мать умерла, он уехал из Омска, сказав, что едет к племяннице. С матерью моей опять были осложнения... В общем уехал. Оказалось, потом, что он уехал в г. Благовещенск и там его переправили через Амур в Китай. И так он оказался с братьями в г. Харбине. Правда, до этого эти перевозчики обобрали его, и он появился на китайской стороне почти нищим. Но соединившись с братьями, они ему помогли, и он занялся каким-то делом.

* * *

Мне тоже, еще в детстве, пришлось побывать в г. Харбине. Но до этого, я вместе с матерью Софьей Ефремовной, большой любительницей путешествовать, повидала еще несколько городов.

Так в 1917 году мы на пароходе отправились в город Тобольск. Пробыв там несколько дней, осмотрели старинную постройку Кремля, который строили еще при Петре I пленные шведы. Интересен был Тобольск старинными постройками, литературными памятниками и улицами, покрытыми широкими досками, по которым грохотали лошади, запряженные в телеги.

Там в Тобольске я видела царя Николая II, который в то время находился там в ссылке. Проходя по главной улице, мы несколько раз видели его. Он стоял

на балконе двухэтажного дома, в котором жила вся его семья. Я его хорошо запомнила. У меня уже тогда была хорошая зрительная память.

Еще раньше, в 1915 году были мы в Киеве. Тогда мой отец служил в армии, и солдаты находились в лагерях этого города. Мама, забрав меня с собой, поехала с ним повидаться. Заполнилась мне Киево-Печерская лавра, могучие цветистые и умные базары, главная улица – Крещатик с множественными магазинами и кафе – как уж они там назывались раньше не помню, но запомнилось, как там угощали национальными блюдами. Жили мы на квартире в доме, который находился напротив громадного парка. Внутри этого парка стояло 4-х этажное здание института. В этом институте тогда изготавливались пули, патроны – в общем, работали на вооружение армии. Шла первая империалистическая война. И вот однажды в этом здании произошел взрыв. В здании много погибло людей. Вот такое произошло в моем детстве событие. Из нашего двора хоронили двух девушек, погибших в этой катастрофе. Было много цветов, особенно много было оранжевых настурций. И так получилось, что эти цветы я до сих пор не могу видеть спокойно.

И вот в 1918 году мы поехали в город Харбин. Мне было тогда 8 лет. По дороге заезжали в г. Иркутск к родственникам. Знакомились с историческими памятниками, которые я почти не запомнила. Были на выставке художников, из которой мне запомнилось одно «произведение», выполненное фактурно из соломы, колосьев и еще каких-то сельскохозяйственных продуктов... Мне сказали, что эта работа художника футуриста – вот это мне запомнилось надолго.

И, наконец, мы продолжили путь в г. Харбин. Вагон, в котором мы ехали, был очень колоритен. В нашем купе ехал священник с длинной черной бородой, с которым моя мама пела дуэтом – пели русские народные песни и романсы. У неё был очень красивый голос. Ехал с нами белый офицер, который постоянно насыпал себе на руку какой-то белый порошок и нюхал. Оказывается, это был кокаин. Ещё нашими спутниками была японская миссия, возвращающаяся домой из России. Когда я заболела – поднялась температура, один из этих японцев, оказавшийся врачом, лечил меня и довольно успешно, все это и всех этих попутчиков я запомнила очень четко.

И вот мы в Харбине. Шумный, многолюдный город меня поразил. Правда, в моих детских воспоминаниях отразилось немного. Мир был ограничен домом, двором, в котором я проводила большее время. Но запомнились китайцы в синих куртках, в широкополых соломенных шляпах и с коромыслами на плечах, с которых свешивались две корзины, наполненные продуктами. Они громко сообщали о своих товарах. И еще они, эти разносчики, рано утром приносили

заказанные заранее продукты и оставляли их у дверей. А хозяйки, выйдя утром из дома, забирали оставленное – молоко, овощи, зелень и свежую рыбу, а расчет, видимо, производился потом. Запомнились многолюдные улицы, рикши, которые меня заинтересовали, и я просила маму разрешить мне прокатиться на рикше, чему мама решительно воспротивилась, доказывая мне, что это ужасно использовать человека, запряженного в коляску. Но я расплакалась, мама наконец разрешила мне с условием, что рикша не будет бежать, а мама шла рядом... Еще запомнился мне магазин Чурина. Это такой многоэтажный универмаг частного владельца. Мы там сделали покупки. Оказывается, он до сих пор существует этот магазин купца Чурина. А узнала я это уже теперь, в девяностых годах, здесь в Барнауле. Дело в том, что в Барнаул приехала китайская делегация, и посетив Союз писателей, познакомилась с моим сыном Вильямом. А он пригласил их к себе домой в гости. И они пришли с переводчиком. Нас предупредили, чтоб мы приготовили сувениры, это у них так принято. И мы обменивались сувенирами. Ирина накрыла прекрасный стол, она большая искусная кулинарка. Гости остались очень довольны. Разговаривали через переводчика. Когда я рассказала о том, что я еще в детстве побывала в городе Харбине и многое помню, они были приятно удивлены.

Так, что я еще раньше отца побывала в Китае. Когда отец уже освоился и работал в какой-то фирме, он мне писал письма, посылал посылки, а потом стал меня звать в Китай. Хотел прислать мне вызов, но я категорически отказалась – как это я покину Родину и поеду за границу в чужие края?!

Возмущалась я, да ещё в то время у нас наступили тяжелые времена, сталинская мясорубка косила всех. Переписка наша прекратилась. А в 1941 году он умер в Пекине от тяжелой болезни. Но это я забежала на много лет вперед... А сейчас вернусь на десять лет назад.

* * *

Пока я училась в школе, я еще не ощущала никаких проблем с моей биографией.

Надо сказать, что девчонкой я росла озорной, еще в детстве росла с мальчишками, двоюродными братьями. Гоняла с ними голубей, играла в мальчишеские игры, а подросла – увлеклась поэзией, литературой, очень много читала, занималась спортом – лыжи, коньки, бегала на беговых за честь школы. А потом на реке, на шлюпке я переплывала Иртыш одна, а учитывая силу этой могучей реки и сильное течение, это было очень опасно.

В школе я активно участвовала в самодеятельности. Тогда, в 1926-27 годах, была в моде «Синяя блуза». Это такой театрально-эстрадный коллектив.

И так прошли школьные годы. А окончив школу, я очутилась перед трагической действительностью. Меня не принимали в институт, ни на работу. Как дочь лишенца, я была отвергнутой.

Но добрые люди мне подсказали выход. Я поступила на учительские курсы и осенью 1929 года я уже получила направление на работу в сельский район, в г. Тюкалинск. Это на лошадях, как говорят, на перекладных до Тюкалинска 200 километров, до деревни Кумиры, куда я получила направление, еще 50 километров, автомобилей в те годы на сельских дорогах еще не было. Осень была сухой, теплой, так что дорога мне показалась даже приятной, несмотря на то, что я впервые ехала так далеко на лошадях.

Итак, началась моя самостоятельная трудовая жизнь. Год этот был непростой – год коллективизации, а потом и раскулачивания. Но об этом потом...

И вот я приехала. Меня поселили к симпатичным бабушке и дедушке. Привел меня к ним старый учитель, на место которого я поступила. И вот первая «заковыка» произошла при первом знакомстве. Хозяин спросил мое имя, я сказала: «Дебора». «Гм-м, – сказал дед, – что-то вроде автодора..., а отчество?» «Ароновна», – говорю. Дед растерялся... Но помог учитель, спросив: «А как можно перевести?» Я сказала, вроде Вера... Ну, все! Сказали они, будем звать тебя Верой Алексеевной. Они выпили по рюмочке – и так я стала Верой Алексеевной.

И вот я оказалась в деревне, далеко-далеко затерянной в снежной Сибири. Обязанности мои были: школа 4 класса, ликвидация неграмотности взрослых – «ликбез» и культура. Это драмкружок, причём, учитывая строгие кержацкие порядки, девушкам не положено было участвовать в этом, потому женские роли исполняли молодые парни, одетые в женскую одежду. Публике очень нравилось.

И еще: когда приезжали уполномоченные из района, они меня обязывали составлять в сельсовете какие-то списки: на заем, разрабатывать какие-то планы будущих полевых работ и прочего, в которых я ни черта не понимала и возмущалась, что зимой надо было подсчитывать летний урожай... За что вызывала возмущение посланцев района. И вполне заслуженно, как я теперь понимаю. Но что поделаешь, если я тогда еще не созрела и совершенно не разбиралась в политике, еще витая в облаках юношеских забав... Не созрела я и тогда, когда началась коллективизация и когда уполномоченный из района, собрав общее собрание жителей деревни, положив пистолет на стол, стал

записывать людей в коммуну, в колхоз и еще в какие-то товарищества. Я тоже вступила в коммуну, отдав туда корову, которую купила, приехав в деревню. Купила, ожидая, что ко мне на зиму приедет мать.

Так вот эту корову мне потом, уже весной, уже на новую работу и в другую деревню, привёз на телеге, по собственной инициативе мой кумырский хозяин Аким Иванович. Вот именно привез, так как идти она не могла по слабости и от голода... А коммуна распалась...

Но вернусь к моей учительской деятельности, в ту далекую, далекую деревню. Тогда, когда создались коммуна и другие сельхозтоварищества, тогда образовали общество содействия милиции «особмил», ну я, конечно, в первую очередь, чтоб подать пример, вступила в него и в результате этого – меня сразу обязали иногда проверять караул у хлебных амбаров. Это я, среди ночи, запрягала лошадь и ехала одна проверять сторожей. Деревня была большая и длинная, а я и не думала даже о том, что глухой ночью меня могут прихлопнуть запросто. А сторожа за мой ночной визит, крыли меня трехэтажным матом, говоря: «А чего его, зерно, сторожить, его Бог бережет» – вот так вот.

А уж когда началось раскулачивание... С того времени прошло 68 лет, а у меня до сих пор в глазах стоит эта жестокая расправа с людьми. Когда из своего дома в одночасье выселили большую, многодетную и работающую семью, они потому-то и были состоятельными, потому что много, от зари до зари работали, а не пропивали нажитое. И вот идут они и взрослые, и дети, которых одних на руках несут, других за руку ведут. Идут по глубоким сугробам, протаптывая тропинку. Ночевать их никто не пускал – боялись. Поселились они в бане и жили до тех пор, пока не увезли их этапом дальше в Урман – это еще севернее, в болотные места. А атмосфера всё сгущалась, становилось всё тревожнее. По деревне стали убивать активистов и стали погибать учителя.

На меня тоже пытались напасть, когда я поздно возвращалась из сельсовета. Сначала меня хозяйка услышала. Спасла меня хозяйка, услышала топот, выглянув в окно, она видела, что за мной гонятся трое и что я забежала уже во двор – она быстро сбросила с двери крючок, и я забегала в дом, быстро захлопнула за собой дверь, только камень, брошенный ими попал мне в голову. А в марте пришел мой хозяин домой очень встревоженный и сказал: «Давай-ка, Веруша, я тебя сегодня увезу», ему, как оказалось, намекнули, что на меня готовится нападение...

И вот в три часа ночи он запряг лошадь, подвязал колокольцы (тогда ведь ездили с колокольцами под дугой) и бесшумно увез меня огородами. Минуя деревню, мы выехали на большак, ехали ночью, а к утру дорога раскисла, был

уже март месяц. Лошади было трудно тащить сани по воде, и мы в валенках часть пути шли пешком. Утром, приехав в Тюкалинск, сразу подъехали к райисполкому и я, объяснив ситуацию, сказала, что вернуться в Кумыру не могу – они меня поняли и освободили меня. Я уехала в Омск и, получив направление в другой район, ближе к городу, поехала на новую работу и, проработав там некоторое время, вернулась в Омск.

* * *

А о дальнейшей моей жизни, начиная с 1930 года и до ухода на пенсию, я уже рассказала в предыдущих записях.

Жила я, конечно, очень тяжело, но тогда все, или почти все, так тяжело жили, и я как-то не придавала этому большого значения, т.к. парила над всем этим в мечтах и не позволяла себе впадать в уныние. Таков был характер. Я бы сказала – Гонтовский характер. Это было мое счастье. Умение жить светлыми моментами, больше чем тёмными, дано не каждому. С юношеских лет я увлекалась Маяковским и меня восхищали его слова:

«...светить всегда, светить везде,
до дней последних донца,
светить, и никаких гвоздей – вот лозунг мой и солнца!»

Оптимистический настрой всегда улучшает качество жизни, взаимопонимание с окружающими и помогает переживать трудности...

Вспоминая о традициях нашей семьи (помогать людям, попавшим в беду), я вспоминала из моей жизни такие случаи: однажды, еще будучи студенткой, я пришла в областную клиническую больницу навестить мать, которая лежала в этой больнице. Выходя из клиники, я обратила внимание на пожилого человека, который сидел у входа, в коридоре прямо на полу и плачущего горькими слезами. Я конечно не смогла пройти мимо и, спросила у него, что случилось? Оказывается, его привезли из района, из деревни, где он работал конюхом. Однажды он собирал разбежавшихся лошадей и переходил речку по пояс в воде, а дело было осенью, вода ледяная. Он остудился и у него отнялись ноги, в деревне ничем помочь не могли и вот привезли его в город, в областную больницу. Причем жена этого человека сказала, чтоб его оставили в больнице и домой не привозили. Пусть лечат в городе.

Но в клинику его не приняли, как хронического больного и люди, привезшие его, уехали, оставив его одного. И вот, увидя этого плачущего, немолодого человека, я решила ему помочь. Попросила его документы, но он

ещё раздумывал, боялся отдать их незнакомому человеку. Но окружавшие его люди, тоже приехавшие из района, убедили его довериться мне и отдать мне документы. Время близилось уже к концу рабочего дня. Я почти бегом побежала в облздрав, выбирая короче путь. Когда я пришла в облздрав, рабочий день уже кончился, но на мое счастье один кабинет был открыт и это оказался как раз заведующий лечебным отделом. Он меня внимательно выслушал и обещал помочь. Созвонился с приемником, где содержали таких больных до определения их в больницу. Распорядился, чтоб запрягли лошадь, тогда не у всех организаций были автомашины, и вот я с кучером поехала в клинику. Этот мужчина так и сидел на полу весь в слезах. Нам помогли посалить его в коляску. Ноги у него совсем не двигались. В приемнике его приняли, дали кровать, накормили, и я ушла домой. На завтра, после занятий, я тогда была студенткой, я пришла его навестить, купила кое-что на передачу. Через пару дней его положили в больницу, где он пролежал недели две. Я к нему приходила, приносила, что могла. Однажды я пришла его навестить, мне сказали, что меня просит зайти главный врач... Когда он узнал, что я даже не родственница и я ему рассказала, какое я приняла участие, он мне сказал, что держать его больше ни могут, как хронического больного, что ему нужно курортное лечение и они его на машине отправили с сопровождающим в его деревню. Поговорив с этим больным человеком, я ему посоветовала написать в газету, в Москву, в отношении путевки на курорт.

И вот прошло довольно много времени, я получила от него письмо уже из дома. Даже два письма. Первое – (постаралась сохранить стиль и орфографию):

«Письмо пущено 1/III-37 года от Баталина Ивана Ивановича. Привет т. Озолиной от того, которого вы выбрали в 36 году, в областной больнице и приходила меня проведовать и приносила гостинец и там доктор не верил, что вы мне чужая...»

Вобщем написал, что ему тогда дали путевку и он лечился на курорте грязями и теперь он немного ходит с палочкой. Просит написать ему про мою жизнь и т.д.

Во втором письме «пущенном» через некоторое время, он объяснял «результат своей жизни летом в хозяйстве», что работает сторожем и предлагает мне породистую телку, у которой мать имеет аттестат и т.д...

Телку с дипломом я, конечно, принять не могла, поскольку жила в одной комнате со своей семьей в коммунальной квартире, да еще на 2-м этаже... Так переписка наша прекратилась.

А второй случай произошел лет через 10.

Шла я с работы и обратила внимание на старичка с котомкой, который в растерянности стоял на углу около нашего дома. Он меня спросил, где находится дом крестьянина. Оказывается, он приехал в больницу на операцию, но в этот день его не приняли, а ночевать ему было негде. Никого знакомых в городе нет. А дом крестьянина находился очень далеко, да ему его и не найти. Дело было к вечеру, мы оставили его у себя, чтоб он переночевал у нас. Утром он ушёл, но вернулся. Оказывается, надо было еще день подождать. Наконец, его положили в больницу на операцию, а дней через 10 он вернулся. Не ехать же ему после операции на электричке, да там еще на попутной машине. Мы его не отпустили. Постелили свежее белье на диван, все-таки хирургический больной. И он у нас пробыл еще дня три. Уезжая, он все приглашал нас к себе в деревню погостить. Одна из соседок нашей коммуналки все ворчала, что мы принимаем в дом неизвестно кого. Но этот дедушка был такой беспомощный, нам было его жаль. Да раньше, в те годы и криминала такого не было, как теперь. И мы были довольны, что помогли человеку в беде...

И так, годы шли... Но я еще не рассказала о том, что в те далекие годы, после горестного 1937 года, я провдовствовала 15 лет и мне встретился Семен Иосифович Кегелес.

Умный, веселый и главное очень добрый и честный человек. Работал он на авиазаводе с юношеских лет. Работал увлеченно, и его очень ценили, как специалиста.

Человек он был незаурядный. Много читал, писал стихи и был талантливым музыкантом. Была у него семиструнная гитара, на которой он играл и музыку испанских композиторов, а также виртуозно исполнял цыганские мелодии.

В Омске он появился во время войны из Запорожья, когда немцы начали бомбить их город, он помогал эвакуировать завод, на котором работал. Прибыв в Омск, он через некоторое время получил квартиру в соседстве с нашим домом, в котором я жила. Семен был не женат, приехал он со своей старенькой матерью. Я иногда по соседству у них бывала, и его мать очень просила меня, чтобы я его познакомила с кем-нибудь, в смысле найти ему невесту. Меня она не имела в виду, т.к. у меня был взрослый сын. Надо сказать, что Семен был внешне очень интересным мужчиной с вечно веселой улыбкой, похож немного на цыгана. На заводе его всегда окружали женщины, но матери они не нравились. В конце концов, посоветовавшись со своими друзьями, мы нашли ему «кандидатуру». И однажды вместе с Семеном мы пошли компанией к ней в гости на «смотрины».

Вечеринка удалась, было весело. Но через некоторое время мне Семен заявил: «Знаете, что мне сказал Сергей – это его лучший друг, он тоже там был, он сказал: “Зачем ловить журавля в небе, когда у тебя синица в руках”». Короче говоря, сватовство не получилось. А Семен стал чаще бывать у меня и в конце концов наши пути соединились. Ей не повезло, интересы наши сошлись... Как поётся в песне: «Вот и встретились два одиночества». Встретились и надолго. Прожили мы сорок лет, как говорится, душа в душу. А в 1990 году его не стало. Инфаркт. Сказались военные годы, работа на военном заводе, которой он отдавался полностью, не считаясь со здоровьем. Это случилось уже в Барнауле, мне уже было 80 лет.

* * *

А о том, как я не умела унывать, пожалуй, расскажу... Итак, однажды, утром, я услышала по радио, что есть туристические путевки в Париж, с посещением Лувра. Я загорелась этой мыслью. Всё! Еду в Париж, еду в Лувр!! Позвонила куда полагается, но в ответ, меня стали расспрашивать, кто я, сколько мне лет, а мне было уже 60... И сказали, что путевки эти для преподавателей, во-первых, во-вторых, для лиц помоложе возрастом... Так... Я, конечно, сначала прослезилась, а потом решила, ну не в Париж и не Лувр, так все равно, куда-нибудь я рвану, это в смысле – все равно куда-нибудь я поеду. Раз уж пошло такое дело... Наметила себе маршрут: Ленинград, в котором я еще не была, потом Прибалтика и Москва. Поехала в кассу предварительной продажи билетов – там висела громадная карта во всю стену – карта железнодорожных магистралей и авиалиний. Я отметила себе – в Ленинград самолетом, потом Таллин, Рига и Москва – поездом. Узнав стоимость проезда во все эти пункты, составила смету: билеты и все прочие расходы – питание, гостиница... подсчитала – вроде хватит денег... Посоветовалась с мужем и сыном, проект был одобрен. И сын взялся помочь с билетом. Дело в том, что это было 28 января – начало студенческих каникул. Приехали в аэропорт – тьма народа, даже присесть негде. Стоит толпа, сын через своего друга в «Интуристе» купил мне билет как иностранной туристке, и я улетела в Ленинград. Прилетели вечером. Темно, идет дождь. По моей сибирской одежде – меховой шубе и шапке текут ручьи. Но мне запомнилось в этой мокрой кромешном тьме – охапки мимоз – это пришел самолет с юга...

Собрались мы несколько человек и поехали в гостиницу «Октябрьская». А там холл забит народом. Кое-как расположились в холле, а в 11 вечера нас попросили его освободить. Гостиница закрывалась на ночь. На близлежащем вокзале ходили туда люди, тоже битком набито. Стали понемногу кто куда расходиться. Я поднялась на второй этаж. Там сидела дежурная по этажу

интеллигентная женщина. Я попросила ее, не сможет ли она хоть где-нибудь на раскладушке меня устроить на ночь. Объяснила ей, что я из Сибири, никого знакомых в Ленинграде нет, что мне уже 60 лет и мне некуда деваться, хоть уезжай в аэропорт и улетай обратно домой. Она обзвонила все этажи, но всё безрезультатно. Она меня пожалела, поставила за колонной стул и так я, сидя, проспала до утра. В 6 часов утра поднялась, пошла умылась, чемодан у меня был в камере хранения, и, отблагодарив дежурную, вышла. В Ленинграде я пробыла двое суток. Два дня ездила на туристском автобусе по маршруту: 1-й день – прошлое Ленинграда, 2-й день – настоящее Ленинграда. В музеях побывать не пришлось, стояли громадные очереди. В тот же день купила билет до Таллина. Поезд уходил в 11 вечера, а в 8-30 утра прибыл в Таллин.

В поезде я познакомилась с такой же путешественницей – физиком из Киева. Приехав в Таллин, мы сдали чемоданы в камеру хранения и целый день с туристской группой знакомилась с этим чудесным городом, в котором архитектура сохранилась еще от средневековья. Вечером этого же дня я выехала в Ригу. Там у меня жили родственники Озолина. В общем, 5 дней в Риге, а потом Москва... И так в общей сложности путешествие продлилось 15 дней. В смету я уложилась. А впечатление!! Ленинград, Таллин, Рига и Москва. В Москве-то я бывала часто, но все вместе взятое было просто потрясающе – и впечатление, и настроение.

* * *

Итак, проработав в медицинском институте более 32-х лет, я ушла на пенсию. Не отпускали меня, но эти вечные спешки стали для меня трудноваты, для моего возраста. Директор только попросил, чтоб я подготовила «смену». Я поговорила с одной художницей-оформителем, целый год я её «натаскивала», целый год я ей давала работу, чтоб приучить ее к медицинской тематике и, наконец, я смогла уйти. Ушла на пенсию, как говорится, на покой... Но долго я этого покоя не выдержала. Надо было чем-то заняться. Попробовала записать несколько натюрмортов акварелью... Но все-таки меня потянуло к людям.

В это время в Омске достроился и открылся Дом Актера, директором которого была Елизавета Григорьевна Куперман, до этого она долго возглавляла омский ТЮЗ. Вот я и пришла к ней проситься на работу... Она меня выслушала, горько улыбнулась и показала мне какую-то бумажку: «Деборушка, милая, у меня ведь вот штат – всего 5 человек». На что я ответила: «Мне не надо вашего штата, мне не надо зарплаты, я буду работать на общественных началах». На этом и порешили...

Перед этим надо сказать, что театр и актерская среда мне не были чужими. Моя мама была большой театралкой и с детских лет она водила меня в театр, а потом, когда я выросла, мне было 15 лет, я сама увлеклась театром. Еще мне повезло – наш близкий родственник долгое время был директором драмтеатра, и я имела возможность свободно посещать спектакли. В 20-х годах в Омске была даже опера, и я с юношеских лет помню, какое впечатление на меня произвела опера «Кармен», я даже запомнила певицу – Пиотровская было ее имя. Потом в Омске был синтетический театр – шли и драматические спектакли, и оперетта.

Часто приезжали на гастроли знаменитые актеры, например, братья Адельгейм, приезжал ансамбль босоножек Айседоры Дункан, но уже без нее. Приезжал из Москвы театр «Кривое зеркало». Они показывали «Горе от ума» Грибоедова. Но в своей интерпретации... Это выглядело так: перед началом спектакля на авансцену вышел режиссер и, обращаясь к публике сказал: «Учитывая изменения в нашем могучем русском языке, мы решили поставить эту пьесу на современный лад...» (на полублатном языке). Поднялся занавес, все было как у Грибоедова, но язык был изменен. Например, Софья, приглашая Чацкого в гости, сделав реверанс, спросила: «Придете вечером пошамать?» Вот княжну Марью Алексеевну называли – «подлюга Марья Алексеевна...», в общем всё в таком духе.

Наш омский драматический всегда был сильным театром. Актерский состав был очень интересным. А какой был театр оперетты?! С любым репертуаром они справлялись блестяще!

А когда в начале войны в Омск приехал театр им. Вахтангова, так я вообще не пропускала ни одного спектакля. Даже бывала на репетициях. Дело в том, что незадолго до войны, театр стал работать над пьесой Ростана «Сирано де Бержерак», с которым они должны были ехать на гастроли в Париж, а попав в эвакуацию, они продолжали репетировать. И таким образом, премьера спектакля «Сирано де Бержерак», которая должна была состояться в Париже, состоялась в Омске. Я была на этой премьере. Спектакль был потрясающим! Режиссер – Николай Охлопков, Сирано – Рубен Симонов, Роксана – бесподобная Цицилия Мансурова, художник – Рындин. Такого оформления спектакля, таких декораций Омск еще не видел. Об этом надо было бы отдельно написать.

* * *

Итак, я начала работать в Доме Актера. На первых порах, когда еще штат не был укомплектован я была и снабженцем, и вообще, чем могла помогала. Из меня получался снабженец неплохой. Дело в том, что мой муж работал на агрегатном заводе в отделе снабжения, как я называла – железного снабжения –

это цемент, кирпич, разные трубы и прочие железки. Он имел дело с отделом снабжения облисполкома. И я, иногда выполняя его поручения, ходила в этот отдел снабжения, выписывая счет для завода. Так вот по этой тропе я и обращалась с нуждами нашего Дома. Получалось, помогло знакомство и обоюдная симпатия. И еще в моей карьере снабженца был случай – понадобился микрофонный кабель или провод, уж не помню, как он назывался. Я созвонилась с радиозаводом, договорилась с ними, и они мне отпустили громадный моток провода, который я еле-еле подняла и вынесла из проходной. Наняла машину и увезла.

А когда Дом Актера укомплектовался и началась плановая работа, мне поручили вести «Клуб интересных встреч». Это раз в месяц. Надо было подобрать интересных людей. Я долго думала, кого пригласить, чтоб актерам было интересно и полезно. Писала афиши, рассылала их по театрам. Народу всегда приходило много. У меня в клубе выступали: профессор психиатрии Николай Стаценко, разговор был о сне; врач-отоларинголог – а эта тема актерам была особенно интересна, так как она касалась горла и голосовых связок. Однажды мне пришла мысль пригласить летчиков. Я съездила в авиаотряд, и начальник познакомил меня с пилотом, который летал на линии Омск – Крайний Север. Он оказался остроумным и очень веселым человеком. Он много рассказывал о случаях смешных и не очень. Публике нашей он очень понравился.

Однажды в нашем «Клубе интересных встреч» даже были встречи с уголовным розыском, которые рассказали о раскрытии нашумевшего в Омске дела об убийстве.

В общем, этот клуб пользовался успехом и собирал много народа. Но это еще не все, чем приходилось мне заниматься.

В Доме Актера, на первом этаже находилось театральное кафе. Уютный, красивый зал на 100 мест, с красивой мебелью. Имелся бар и своя кухня. Когда приводились какие-нибудь мероприятия: открытие или закрытие сезона, вечера творческие, капустники и другие торжественные вечера, в театральном кафе накрывались столы для ужина. Это тоже поручалось мне. Я связывалась с близлежащим рестораном, обговаривали меню и, получив калькуляцию, подсчитывала стоимость одного билета, стоимость одного места за столиком. Столы расставлялись по два ряда на каждый театр, чтобы актеры могли общаться в своем коллективе.

Но кроме этого, я готовила запасные столы и оставляла билеты для явившихся без таковых. А таких было много, пришедших на огонек – это

журналисты, художники и еще кое-кто... Будучи хозяйкой кафе, и следя за порядком, я успевала и потанцевать. Танцы были рядом в фойе, где работал прекрасный оркестр. Танцевала я много, да и муж мой не сидел, он был прекрасный танцор и женщины не давали ему присесть. А ведь нам обоим было уже каждому под семьдесят лет. Но оба были, как говорится, «в форме». Оба ходили на занятие физкультурой. Несмотря на возраст, фигура у меня сохранилась. Одевалась я не отходя от моды, шили мне в лучшем ателье – и это я не из хвастовства говорю, а потому чтоб не подумали, что вот бабушка расхвасталась... Нет, я действительно и работала с чувством, и танцевала с чувством.

Однажды мне моя приятельница сказала: «На черта вам бесплатно работать!» А я ей ответила, что я получаю в Доме Актера то, что дороже денег, я получаю положительные эмоции. Да и жизнь среди интересных и талантливых людей позволяет держать себя в тонусе и не опускаться, и не чувствовать своего возраста. А на жизнь нам хватает пенсии. Тогда это было у меня 120 рублей и у мужа столько же...

Но время шло неумолимо... Наступила пора, когда от светской жизни и положительных эмоций надо было отказаться, собственно говоря, положительные, видимо, были заложены во мне еще с генами, от них никуда не денешься, да это и неплохо.

В общем, как тут ни крути, как не выдрючивайся, а семейные обязанности требовали... И это не в смысле мужа, – с мужем у нас была полная общность интересов, а в смысле детей. Сын после переезда в Барнаул, обосновался там, и они с женой Ириной начали настойчиво звать нас к себе. Потом попал на очень удачный обмен: в том доме, где они жили, и не только в том доме, да еще в соседнем подъезде – лучше быть не могло. И вот мы в Барнауле. Увы! После Омска это просто большое село. По словам старожилов – интеллигенция в Барнауле появилась после войны, среди эвакуированных, которые потом остались на Алтае. А в основном в этом городе переселенцы из деревень. Собственно говоря, в центре города живет и более культурная публика, но наш дом, во-первых, он далековато от центра – для того, чтоб появиться в этом центре, нужно проехать на 2-х транспортах – очень неудобно, а во-вторых, этот дом, когда его построили, эту железобетонную 9-ти этажную махину на весь квартал, а в ней 450 квартир, то поселили туда рабочих с близлежащих заводов, немного чиновников и небольшую, так называемую культурную прослойку. А в основном переселили в него жителей пригородов и посёлков, которые принесли и свою «культуру» – повальный алкоголизм, семейные драки, проституцию и прочие прелести пригородного быта. Все возможно, что в Омске тоже есть такие

же кварталы, но я всю жизнь прожила в центре города. А на окраинах тоже, возможно, такие «цитадели» существуют, так что пусть простят мне барнаульцы, но то, с чем я столкнулась в этом доме, меня потрясло. В Омске мы тоже жили в заводском доме. Ухоженный двор в зелени и цветы, стол для настольного тенниса, стол для любителей «забывать козла», но атмосфера совершенно другая.

Здесь, в Барнауле, когда мы приехали, я говорила Семену: «Ну что сидишь всё у телевизора, выйди во двор, там вон в домино играют...» На что он мне ответил: «Что нет, там ведь за этим столом с утра пьют, а к вечеру уже за грудки дерутся». Но ничего не поделаешь, назад возврата нет... Надо было заводить круг знакомых и друзей. Но это было совершенно невозможно... Тех друзей, что были в Омске, а тем более родственников не найдешь и не заменишь. У Вильяма с Ириной уже был круг знакомых, с которыми они общались, ну а мы были возле...

Но надо сказать, что еще в начале нашего приезда в Барнаул, мы с мужем имели возможность посещать концерты, ходить в театры, так что приживались понемногу, а потом... возраст давал о себе знать. У обоих стали неполадки с сердцем, и уже ездить в центр стало трудно... Но, главное, дети были рядом. И им хорошо, и нам тоже. Тем более, что подрастал внук Володя. Он уже делался все интересней. Увлекался музыкой, рисовал, много читал, был разносторонне развит и вырос без вредных привычек. Ирина очень одаренный человек, вырастила сына вполне достойным человеком. Почему я говорю Ирина, т.к. Виля был очень занятым. Часто уезжал надолго и поэтому воспитанием сына занималась мать. Она работала и работает в школе-интернате для слаборазвитых детей, впрочем, это не столько слаборазвитые, а в большинстве просто дети запущенные, родившиеся у пьющих родителей. Ирина очень добрый человек, она уделяет каждому из них большое внимание и вырастила, в большинстве, талантливых умельцев, многие из которых после школы работают, как и другие молодые люди. В школе она преподает эстетику и ИЗО. В студии под её руководством дети развиваются творчески – рисуют, работают акварелью, лепят и занимаются рукоделием. Выставки их работ пользуются большим успехом. Некоторые из детских работ увезли в Америку показать. Теперь вернусь к внуку. Володя воспитывался в хороших руках. Ему повезло с родителями. Володя и сам немного писал стихи, а в основном он еще с юношеских лет пел под гитару отцовские стихи.

Потом он учился в институте культуры, на режиссерском отделении и, когда ему нужно было готовиться к защите диплома, он взял поэму В. Маяковского «Флейта-позвоночник» и сделал из неё моноспектакль. Сам сделал эскизы декораций и костюма. Читал он в костюме Пьеро. Спектакль был очень хорошо принят. И вот он получил диплом – режиссер театра... Но... Ох уж

эти «но»?.. Особенно в последнее время – в нашей разворванной, раздрызганной стране. Молодежь получает образование, работать негде. Заводы стоят, культура еле влачит ноги. Миллионы безработных, а те, кто еще работает, то по много месяцев не получает зарплату. Врачи, учителя идут на работу пешком, т.к. не могут заплатить за транспорт, а расстояния большие... Володя, проучившись 5 лет, окончив институт, и полгода не мог найти работу, пробовал даже на разгрузке вагонов, но эта работа временная. Озвучивал ролики на радио. Наконец, помыкавшись так, пошел на работу в магазин «Стройматериалы» – продавец-консультант, а по совместительству еще и грузчик... Карьера! Но наконец, нашел работу постоянную и интересную. Его школьный товарищ, окончив с отличием политехнический университет, работает на пивном заводе, в киоске, продает бутылочное пиво...

Я, прожившая почти 90 лет, прихватившая в детстве гражданскую войну, потом 1932 год и голод. Далее сталинские повальные аресты, а потом Отечественную войну и опять голод... Я и раньше от большевиков ничего хорошего не видела, ну а сейчас к власти пришли бывшие коммунисты, и жизнь стала еще хуже. Такой полный обвал: безработица, задержка зарплаты по несколько месяцев. Народ в большинстве голодает, доходят до голодных обмороков, а высшее начальство живёт припеваючи – набивают карманы, строят дворцовые коттеджи, покупают недвижимость за границей и мало того, что воруют деньги, воруют ценности и природные богатства. Когда этот беспредел кончится?!

Я, может быть, и не доживу...

* * *

Это еще не всё... Горе бывает ещё пострашнее... Самое страшное свершилось, когда погиб мой единственный сын Вильям Озолии. А не стало его 16 августа 1997 года – накануне своего дня рождения 17 августа ему бы исполнилось 66 лет.

Погиб он от тяжелой и коварной болезни. Перенёс операцию, которая оказалась поздней, перенёс облучение... Врачи обманывали его, сказав, что ему удалили больные части легкого, поэтому он надеялся на выздоровление и даже собирался осенью съездить в Горный Алтай.

Вильям верил в традиционную медицину и отказался лечиться травами. Тем более, что врачи категорически отвергали лечение травами, а он слепо верил и надеялся на них. А мог бы еще успеть полечиться и еще пожить хоть несколько лет...

Наши два очень близко знакомых человека вылечились травами и живут уже – один 8 лет, а другой 6. А были тяжело больны (у одного – печень, у другого – поджелудочная железа). Сейчас проводили рентген – опухоли исчезли. Но все эти разговоры теперь уже бесполезны. Погибло моё единственное, как говорят в народе, дите...

Лечили его большими дозами облучения, причём выяснилось, как небрежно относился к онкобольным средний медперсонал. Если нуно было облучать 5 минут, включали и уходили говорить по телефону... Вернувшись через 10 минут – говорила – «ну, ничего, завтра сделаю меньшую дозу...» В конце концов, он, видимо, понял бесполезность такого лечения...

И однажды был такой случай. Когда Виля уходил на облучение, он всегда, прощаясь, говорил мне: «Я пошёл!» И я всегда отвечала ему: «Ну, счастливо!» И вот однажды, он вдруг так взорвался и с таким надрывом, с таким отчаянием закричал: «Что счастливо?! Что счастливо?! Загубили меня! Загубили!!» И ушёл...

Болеет он очень тяжело. А потом, уже поняв, что погибает, очень беспокоился обо мне, о моей дальнейшей судьбе. Дело в том, что за год до его болезни, со мной произошёл несчастный случай – я подскользнулась, упала дома – в результате перелом бедра. А в таком возрасте кости уже не срастаются. Мне было уже 86 лет. И так я лежу уже больше года, не могу даже встать с кровати. Виля очень переживал мою беспомощность, ухаживал за мной. Его очень тревожила дальнейшая моя судьба. У нас ведь здесь никого родственников нет, а те, которые остались в Омске, – все уже старые. Он все об этом думал. Однажды он даже сказал мне: «Когда почувствую свой конец, застрелю тебя и себя». На что я засмеялась и спросила: «Из чего же ты, интересно, стрелять-то будешь?» Он сказал: «Я найду». Я ему тогда сказала: «Не беспокойся обо мне, Ирина у нас очень умный, добрый и добросовестный человек, она будет заботиться обо мне, как родная дочь». Последние дни, когда он уже еле ходил и потерял голос (были повреждены голосовые связки) он часто подходил ко мне, молча гладил меня по голове и так же молча уходил. Жутко вспоминать!

* * *

Отклики и соболезнование на наше горе шли из Москвы, Петербурга, Омска, Читы, Красноярска, с острова Сахалин, из Ялты, из Риги... Барнаульские газеты поместили некрологи, а газета «Свободный курс», в которой Вильям сотрудничал, написала такое:

«Памяти друга»

16 августа умер Вильям Озолин, русский моряк и русский поэт. Его предки были шведами, его дед был из латышских стрелков, его отец был известным поэтом, репрессированным в 30-е годы. «Сын врага народа» – таким везде была закрыта дорога. Вильям писал стихи и уходил в море с рыболовными флотилиями. «Шестидесятники» – он был из того круга, к которым принадлежали и принадлежат Рождественский, Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко. Только Озолину, чтобы чувствовать себя человеком не нужна была Москва. Он поселился в Барнауле и писал больше всего о море. Он выглядел, как настоящий рыбак Северных морей: кряжистый, с обветренным лицом и добродушной улыбкой. Он писал фантастически нежные стихи и никого не учил жить. Последнее время он понимал, что с ним делает тяжелая, страшная болезнь... Одного дня он не дождал до своего дня рождения – ему бы исполнилось 66 лет. Земля тебе пухом, Вильям Янович. Коллектив «СК».

* * *

Из письма Роальда Добровенского – писателя, дружба с которым у них началась еще на Сахалине. Добровенский по просьбе Красноярского журнала «День и ночь», членом редколлегии которого был Вильям, написал некролог, копию которого вложил в письмо Ирине – вдове поэта, выдержки из которого я предлагаю:

умер ВИЛЬЯМ ОЗОЛИН

А я думал он вечный, он не мог умереть в пределах моей жизни. Я так не думал, не чувствовал... мысль о его смерти просто в голову не приходила...

Мы подружились 35 лет тому назад в Южно-Сахалинске. Место было фантастическое, частично как бы вынутое из советской реальности, ведь остров – часть суши, окруженная со всех сторон водой.

Прилетели тогда на остров, молодые тогда Аксенов, Анатолии Гладилин. Все их читали тогда. Встречались мы, ели и пили, говорили... Знаменитости больше молчали, рассматривали нас зорко, прикидывая не пригодится ли что для очередного опуса... «Мы» – это компания двадцати... летних поэтов, художников, геологов, газетчиков, актеров, летчиков и т.д.

Часто мы сходились в доме художника, грузина Гиви Мантиави – молчаливого, золотого человека. Вильям тогда рисовал тоже много, захлеб, от пола до потолка расписал стены своей комнатухи. Особенно я любил его пастели, выполненные беззаботно, на чём попало. Мне кажется, по-своему они были не хуже вывесок и пленок Пиросмани.

Потом Вильям, поэт Александр Алтутов и еще кто-то исчезли из города на несколько месяцев, чуть ли не полгода. На рыбацком севере. Они отправились в далекую экспедицию к берегам Аляски. Как много решается в молодости – и не знаешь, когда, где. Эта рыбацкая экспедиция в чем-то определила жизнь моего друга. Точно невидимая струна была с того качающегося сейнера закинута далеко, за край судьбы и протянулись, звеня через – теперь-то можно сказать – через всю его жизнь. Была привезена песня:

– Вот уж и Аляска, и пошла-поехала
Тихий океан, как площадь перешел,
А счастья все нет и тут уж не до смеха,
тут уж не знаешь, где плохо, хорошо...
Где оно зарыто, спрятано, закопано,
где над ним какая власть,
где его найти, достать законно,
чтобы у другого не украсть.

Получив из Барнаула телеграмму: «Виля скончался шестнадцатого августа», я сидел вечером за своим стареньким пианино, пел «Аляску», но перестали выговариваться слова... Виля, плакали, плачут по тебе на родине твоего отца, в Латвии, в городе Рига.

На чем я остановился? Да, на острове началась буйная компания по борьбе с формализмом и ревизионизмом. Начали нашего брата всюду поминать и склонять, называли подаксеновиками и еще всяко-разно. Вот уж злобных кушаний наслушались!.. На острове стало не житьё. Все мы стали уезжать кто куда. Пели, пили, вглядывались в друг друга – не знали на сколько прощаемся. Как нам махали улетающим – остающиеся! Бывает ли еще такое тепло! Мы не виделись потом годами. А вот виделись потом мельком или подробно пели друг другу до хрипоты, стихи читали до петухов!

Читинские встречи нашей молодости – кто их забудет? Чита на время осенних поэтических сходов тоже изымалась из общей действительности, весь город оказывался в перебежчиках – на сторону поэзии, или мне так казалось?

Вильям был душой общества, не той настырной душой, что стягивает к себе общее внимание, узурпирует его, подавляет своими талантами окружающих – совсем ему не нужно было ничего этого. Зачем? У него был дар человеческого общения. При всей моей любви ко всем его талантам вкупе и к каждому в

отдельности, этот его дар я ценил и ценю не ниже. Он оказывался центром наших сборищ, без усилий и не громко был его голос, незабываемо свой, другого такого не будет. Его гитара, до-окуджавская и вполне своя же, неземная. Его изумительные истории, артистизм повыше сценического, возведение житейской прозы в ряд чего-то – из ряда вон. Поэзией было обыкновенное его времяпрепровождение. Он умел рассмешить, очаровать, объять всех вокруг и притом совершенно бескорыстно – не затем, чтобы добить что-то.

В последних письмах, в последние приезды он все чаще заговаривал о жене Ирине, о сыне Володе. С непривычной для него серьезностью – ими хвалился. Гордился ими. Ирина написала мне: «Только сейчас я поняла, как безумно счастлива была все эти тридцать лет». И я! И мы были счастливы его дружбой, как водится, не сознавая этого. О жизни его я ничего не сказал. А жизнь-то его прошла вся на людях. Если бы собрать всех слышавших, видевших, запомнивших его в десятках городов – счет бы пошел на миллионы...

* * *

Воспоминания о своем сыне Вильяме мне хочется дополнить, поместить несколько стихотворений, которые мне особенно дороги. Из семи сборников я выбрала несколько. Вот эти из его первой книжки – «Песня для матросской гитары». Он их часто пел, аккомпанируя себе на гитаре: «Аляскинский напев», «Мы вернёмся», «Приходим в порт усталыми», «Обезьяна».

А вот эти стихотворения из других сборников: «Песня для гитары», «Ночная работа», «Где я ночевал», «Чужое горе», «Одна строка», «Звоните – ноль три».

* * *

На этом я заканчиваю свои воспоминания о сыне – Вильяме Озолине. Только я решила ещё дополнить это словами самого Вильяма, которые он написал в предисловии к своей книжке «Чайки над городом»:

«Пусть это несколько романтично, но зато в этом есть некий смысл моей вечной привязанности к парходам, смолистым причалам, к морю. Мне всегда хотелось, чтоб сухопутные люди жили по самой верной на свете морской дружбе и ещё, чтобы над городом летали чайки, хотя сами они, я знаю, этого не любят».

Не буду скрывать, что я волнуюсь, мне хочется, чтобы Вы поняли, о чём говорят, шепчут или кричат чёрные столбики слов. И ещё не буду делать вид, что мне безразлично – будет ли моя книга годами пылиться на прилавках, или быстро разбежится по городским весям, в портфелях, рюкзаках, в карманах пиджаков. Я для этого старался и это самое главное».

* * *

И вот конец... Ушёл от нас Виля. Остались только книги, холмик на кладбище, деревцо над ним и долгая, долгая, светлая память в сердцах, знавших и любивших его людей...

Как судьба несправедлива! Ушёл он в расцвете сил... Ему бы ещё жить да жить, да творить – а я, прикованная к постели тяжёлым недугом, дожившая до глубокой старости осталась жить...

Зачем?! И мне тяжело, и людям, вернее Ирине, которая привязана к дому. У неё такой тяжёлый груз на плечах – работа, творческая работа. Которая занимает почти весь день. А дома вместо отдыха – забота о больном человеке. Я даже чувствую себя виноватой в том, что Виля ушёл из жизни, а я старая и больная осталась... Ужас! Вот на этих восклицаниях я и заканчиваю... Увы!

Предисловие. Ю.П. Прибыльский

профессор, доктор исторических наук, почетный гражданин города Тобольска

«Повесть о сибирском летописце» Марии и Галины Юрасовых посвящена сибирскому ямщику-автору известной Сибирской (Черепановской) летописи, талантливому самоучке зодчему-строителю сибирских церквей Ивану Леонтьевичу Черепанову.

Глубокий интерес к Отечественной истории, отечественной старине, гордость за великое прошлое родного края прочно жили в народе и ярко отражались в летописании XVIII века. Оно стало как бы продолжением народной традиции, создавшей фольклорные произведения о присоединении Сибири к России. В то же время летописание несомненно служило своеобразным показателем культурного уровня, культурных интересов сибиряков.

Летописец Иван Леонтьевич Черепанов происходил из потомственной ямщицкой семьи. Его отец и дед занимались ямским промыслом. Старший брат Кузьма Черепанов собственным домыслом, самоучкой приобрел познания в области механики, зодчества, был ревнителем книголюбием, собрал у себя на дому библиотеку из 400 книг и собственноручно переписал «Повесть краткую об Александре Великом от церковного историка Георгия Кедрина» – 94 листа. Труд не малый. Очевидно эта библиотека сыграла не малую роль в жизни Ивана Черепанова, вызвала интерес «ко всему, что подлежит истории» и летописанию. В повести Юрасовой, в главе «Братья» это выразительно показано.

«Повесть о сибирском летописце» написана в своеобразной художественной манере, помогающей передать колорит эпохи.

Автору удалось создать запоминающийся образ народного умельца-ямщика самоучки-летописца, влюбленного в родной край, его историю, изобразить своеобразный характер этого несомненно талантливого человека.

В повести убедительно показано, как ямщик-самоучка, не обладая специальными знаниями, подготовкой, благодаря горячей увлеченности историей, любви к родной земле, и, конечно большой силой воли, среди нелегкого ямщицкого труда, сумел создать летопись, вобравшую обширный исторический материал по истории Сибири, весьма ценный по своим источникам. Некоторые историки называют Черепановскую летопись «настоящим кладом Сибирских исторических источников XVIII века».

Характерной чертой Черепановской летописи является народное восприятие событий. Народные истоки и традиции народного творчества лежат в основе его труда и области истории Сибири.

На страницах повести Юрасовой, по канве Черепановской летописи, оживают те, о ком писал Иван Черепанов. Это казаки Ермаковской дружины, их самоотверженный подвиг первопроходцев Сибири. Имена их по «Синодику», составленному по велению первого сибирского архиепископа Киприана, запечатлел в своей летописи Иван Черепанов (о рядовых казаках Ермаковской дружины в исторических источниках сведения есть только у Черепанова).

Это «яко от корня историков Сибирских, сибирского архиерейского дома дьяк Савва Есипов». Короткими выразительными штрихами в повести воссоздан образ первого Сибирского летописца. Это знаменитый земляк Черепанова – тоболяк – сын боярский Семен Ульянович Ремезов и его «История Сибирская», и «Описание о сибирских народах и граней их земель». Об этом ремезовском произведении наука и сейчас знает только по Черепановской летописи. Сама рукопись до сих пор не найдена.

Запомнится читателю эпизод встречи Черепанова со старым кряжистым тоболяком Пименовым, у которого в свое время профессор Российской академии наук Миллер, возвращавшийся с ученой экспедиции, купил Ремезовскую «Историю Сибирскую», не доброй волею купил, а заставил Пименова продать через Губернатора.

Вместе с Иваном Черепановым мы входим в ризницу Успенского собора, где хранятся священные книги и многие рукописи. И отец Варфонасий показывает Ивану рукописную книгу «Краткое описание о народе Остяцком в пределах полных Сибирского царства». Написал ее сосланный в Сибирь украинский полковник Григорий Новицкий – один из сподвижников гетмана-изменника Мазепы.

Иван Черепанов был первым русским автором, открывшим ученому миру России этот первый этнографический труд о народах Ханты и Манси.

Своеобразный запоминающийся персонаж повести – семинарский учитель Яков Волынский, выразительно, интересно повествующий Ивану Черепанову о нравах Российской академии наук, о профессоре академии Герарде Миллере – участнике Великой Северной экспедиции, спасшем для науки ценные сибирские архивы.

В повести показана сложная, противоречивая фигура академика Миллера, в свое время названного «отцом сибирской истории».

Иван Черепанов был истым поклонником Миллера. Миллерово «Описание Сибирского царства» служило для него примером, как бы эталоном и основным пособием в работе над летописью. Из трудов Миллера он не только черпал

некоторые «известии», но и старался следовать ему в подаче материала, особенно в первой части своей летописи. Но, к сожалению, из-за отсутствия специальных знаний, необходимых для историка (в частности, в области хронологии) это стремление не принесло должных результатов, в чем признается в своем послесловии в летописи сам Черепанов. В повести об этом сказано подробнее.

Жизнь и творчество Ивана Черепанова в повести поданы на фоне жизни Сибири середины XVIII века.

Ямские поездки живописуют древнее Верхотурье, Бабинову дорогу, Сибирский тракт, таежную Тару, Омскую крепость, где ямщик Черепанов, он же самоучка-архитектор, возводил первое каменное здание – Воскресенский собор.

Вместе с автором мы вглядываемся в «орлиное гнездо» – Верхотурье, ходим по улицам Тобольска, Тары, молодой Омской крепости, любуемся его каменным первенцем – Воскресенским собором.

Впечатляют образы верховных правителей Сибири – Губернаторов – Соймонова, блистательного любимца Екатерины II, Чичерина, именовавшего себя «батюшкой Денисом» – любителя пышных пиров под гром пушек и дельного, строгого, взыскательного хозяина края. Это он рекомендовал командиру Омской крепости тобольского ямщика Черепанова в строители Воскресенского собора.

В ткань повести вошли сказания о Ермаковской дружине, об Абалакской божьей матери, о чудодейственных мощах Симеона Праведного Верхотурского – бывшего Сеньки Портняжки, легенда о битом кнутом каторжнике Федьке с драной ноздрей, ставшем Сибирским губернатором.

С интересом читаются главы, посвященные работе Черепанова над хранившимся в архиве Тобольской Губернской канцелярии «Статейным списком» русского посла Федора Байкова, путешествующего в Пекин к Китайскому богдыхану, и «сказками» казачьего пятидесятника Атласова, проложившего путь на Камчатку.

Колоритны и социально направлены эпизоды в ямской избе, в Верхотурском, Тобольском кабаках. Впечатляют главы, повествующие о древней Таре, Омской крепости.

В «Повести о сибирском летописце» введены элементы доммысла, присущие художественному произведению. К таким доммыслам, в частности, относятся эпизоды о юношеских увлечениях Ивана Черепанова, любви к девушке-старообрядке Аннушке, ее самосожжении.

Эта трагедия, по мысли автора, оставила глубокий след в жизни Ивана. Поэтичный и трагичный образ Анки проходит через всю повесть как воспоминание и психологически обоснован.

Не случайно в «Черепановской летописи» неоднократно упоминается о самосожжении старообрядцев.

Имя семинарского учителя Якова Волинского упоминается в исторических хрониках. А его поездка с Иваном Черепановым на Верхотурье в Тобольск – это уже авторский домысел, но вполне обоснованный, аргументированный.

Полагаю, что такие приемы помогли автору выразительно обрисовать характер Ивана Черепанова и окружающую его среду.

В «Литературных мечтаниях» Белинский писал, что художнику дано уловить умом и чувством трепетные жизни прошлого. В одной из своих рецензий Белинский отметил, что в историческом романе, повести происходит как бы слияние задачи художника и историка.

«Здесь искусство совпадает с наукой: историк делается художником и художник – историком» (В.Г. Белинский. Полн. собр. соч. т. I, стр. 92, 124).

Нельзя не вспомнить этих слов, читая «Повесть о сибирском летописце», посвященную Ивану Черепанову – последнему сибирскому летописцу XVIII века.

Эта повесть, обращенная в прошлое, призывает глубоко познать родной край, его людей, полюбить его величавую историю.

1 марта 1993 г.

Дорога

Эх, дорога, путь-дорога, тракт сибирский! Сколько добрых и горьких, многотрудных часов, дней ты подарила!? Стегала снеговой плетью бурана, ледящим ветром, засасывала хваткими грязями, одаривала солнцем, высокой синью неба, хотя солнце и небо не были ей подвластны, как и лютая стужа, снега... А дарить, все же дарила и на всю жизнь – на век полонила сердце...

Ивану Черепанову дорога казалась живой, душой владеющей. Было у нее свое обличье, свой характер, свой язык. И с тем, кто понимал ее, она вела разговор, выдавала свое сокровенное, тайное, свои думы, учила... Да, она думала, учила!

Иван вроде бы знал на этом тракте каждое дерево, каждый придорожный камень. Все также ныряла дорога в рыжую хмарь ельников, сизую мглу сосняков, гасивших тут день, петлей обходила изгорбки, осторожно пробиралась по бревенчатым сланям над болотистой низиной, озорно забегала на пригорки, в светлые березовые леса-бельники и сразу впитывала в себя их свет, их солнечность, широко, щедро, без оглядки, вливалась в открытое солнцу и ветру степное раздолье, размахнувшиеся, кажется, на полсвета.

Сколь раз ездил тут.

Все это было видено-перевидено... Ан, нет! Каждый раз смотрелось все по-иному, будто внове, радовало, дивило, и казалось, во весь отпущенный ему, Ивану, век, не наскучит.

Дорога будто одаривала его еще одним многовидящим оком, учила видеть, примечать, учила любить свою землю, людей. Здесь в дороге родилась у него задумка начать летописание родной земли...

Дорога сводила его с людьми. Кого только не встречал, не перевидал Иван на своих ямщицких перегонах. То были торговые, служилые разного чина, работные с заводов, рудников, гулящие люди, попы белые и черные, странники по святым местам, закованные в железо колодники, важные особы – курьеры, фискалы в пышных париках с косицами до кончика, свой брат – ямской охотник.

Всех принимало на свое широкое лоно – полотно, всех сводила под крышей ямской избы – дорога...

Отсюда, из продымленной, чадной, пропахшей кислой капустой, дегтем, овчиной, потом, галдящей, бессонной ямской избы, да с ямских козел было видно далече – вся Сибирь до Охотского острога, Ледовитого моря-океана, вся Русь – до Москвы, до Санкт-Петербурга...

Иван не бывал в дальних землях, а послушав хожалых дорожных людей, ведомцев – и ровно сам побывал, своими очами повидал полноводные, могучие реки, моря и безводные песчаные пустыни, дремучие урманы и бескрайние дали

степей, убогие, осевшие в землю мужичьи избы и пышные дворцы вельмож, храмы.

Все повидал...

Тут же, в галдящей, чадной бессонной ямской Иван и начал записывать в свой заветный зошит – тетрадь кое-что из услышанного...

Иван вслушивался в голоса дороги: скрип колес, побряхтывание полозьев, ржание лошадей, ямщицкие покрики, перезвон колокольцев – то призывный, в искрах-малиновый, то шепотно-томный, угасающий. У каждого – свой голос, своя нота. Колокольцы пели в его упряжке, под его рукой.

Больно резал по сердцу тусклый звяк на кандальниках. И щемящая, тягучая как стон «Милосердная», выкрики команды, топот тяжелых солдатских сапог.

Иной раз вырвется, взовьется к поднебесью вольная песня...

Голоса сибирской дороги, знакомые, привычные с малолетства. Весь свой век готов был их слушать...

Иван любил ямщицкий промысел, свой. Ямщицкую работу, хотя нелегка, ох, как нелегка ямщицкая доля.

В семье Черепановых ямщика, ямское дело было в обычай. А дело – оно главное в жизни. Без дела – и бог никто, – любил повторять дедову мудрость отец.

Ямскими охотниками, ямщиками были отец и дед, старший брат Кузьма.

Иван просто-таки не мыслил своей жизни без ямщицкой работы: без тракта, лошадей, перегонов, ямских дворов, встреч, разговоров с дорожными людьми.

Было у каждого брата Черепанова по три гонных мерина. У Ивана: мерин-карь, грива на обе стороны, мерин-рыж, грива направо, мерин-кавур, грива налево...

Так было написано подъячим в гонимой книге. Там поименно назывались тобольские ямщики и все их лошади.

Лошадь для Ивана все одно, что друг добрый, товарищ. Без справных лошадей какая же работа ямщику. Он обиходил своих коней, холил, оберегал. И лошади были у него «учены», понимали каждое движение, посвист, окрик, словно бы у них общий потайной язык, ведомый только им да Ивану.

«Конь ямщику – и хлеб, и крылья», – говаривал еще отец.

Ямская мудрость, накопленная поколениями. Иван ко всему сердцем прикипел, все любил в тяжелой ямской работе.

А какая упряжь, сбруя была у Черепановых коней! Загляденье! Сам украсил медным набором. Дуги сам расписывал узорно. А колокольцы! Гремек, бухорь, бормотунчик, бубенец... Черепановы колокольцы славились на весь тракт. Иван набирал по слуху, чтоб песней разливались. Посреди дуги – самый

большой, звонкоголосый с искристой россыпью; по бокам – помельче – у них были тонкие, высокие, светлые голоса.

Натянешь вожжи, крикнешь: «И-эх, и-эх...» и лошади мчат, и колокольцы разливаются песенной волной...

И-эх! С виду прянично-красиво. А работенка ямщичья черная, трудная, суровая.

И не раз доводилось жаловаться ямщикам, что «обретаются они в великой тягости, пришли в крайнее изнеможение и разорение, лошадыми опали... Лошади от дальних, частых перегонов пристают и даже подыхают в дороге... Проезжие чиновники не выплачивают перегонных денег, чинят разные обиды, ругаются непристойно...».

Главноприсутствующий Ямской канцелярии генерал-поручик Овцын даже издал Указ, запрещающий проезжим «ругать ямщиков непристойно, оказывать им невежество и нахальство». Но, не взирая на сей указ главноприсутствующего, курьеры и высокие особы продолжали грузить на ямские подводы великие грузы, прогонных денег не платили, ругались непристойно, оказывали невежество и нахальство...

Указ не принес полегчания ямщикам.

...Кому не любя быстрая езда. Всякий раз, когда можно было промчатъ троечную упряжку по тракту, Ивана охватывало ощущение счастья, силы воли.

...Мчали кони, послушные его руке и ему казалось, он сам мчит не по земле, а в поднебесье, на соколиных крыльях. Вольный, быстрый, свободный от земных тягот. Будто силу вливал в него богатырский бег.

Сколь не учили отец и старший Кузьма ямщицкой мудрости: быстрая езда портит коня. Сколь не повторяли: который конь скоро бежит, тот доле стоит. Кто едет быстро, тому в дороге не споро...

Знал все это Иван, а любил быструю ездy. Да кто ее не любит!

Кузьма, хоть поучал Ивана, а сам смолоду был прославлен по тракту в том, что водил на рысях своих коней (свою тройчатку). Все высокие особы желали с ним ездить. Знаменит был ямщик!

Только не всегда можно было лететь птицей-соколом. Иной раз проезжие чиновники набирали с собой столько клади (мало ли случится с выгодой выменять на драгоценные сибирские меха или иное прибыльное...), что самим места на возку не оставалось, и приказывали привязывать себя веревками поверху.

И так, с превеликими мучениями, тягостью, едешь не едешь, ползешь не ползешь, тянешься.

А попробуй сказать, чиновник в крик. Не твоего, мол ямщичьего разума дело, и лаем неподобным облает, а иной норовит так с кулаками. Бывало и такое...

Бывает, колеса так засосет осеннею или весеннею распутицей-грязиной, что на своем горбу и коней, и возок вытягиваешь... Всяко бывает... И все же Иван любил свою ямщичью работу, свою тяжкую ямщичью долю. Казалось, вся жизнь – дорога...

Братья

Изба Черепановых – как почти все ямщицкие избы в приходе церкви Богоявления на Нижнем посаде, стояла в глубине подворья и ничем особо не выделялась.

Рубленный пятистенник на высоком подклете, с прирубом, амбаром, выпятившим свой торец на улицу. Может только створки ворот и наличники окон щедрее изукрашены резьбой да на коньке крыши сработан задиристы, горластый петух, казалось, вот-вот закричит... Но была в Черепановской избе, в прирубе особая горница, каких не было в других избах на Нижнем Посаде. Кузьма Черепанов называл ее книгарней. В той горнице, на сколоченных из сосновых досок полках стояли книги: в добрых кожаных и деревянных переплетах с тиснением, резьбой, медными застежками, иные и вовсе не одетые, нагие, не защищенные обложкой. Были тут книги печатные славяно-церковной вязью – богослужебные с молитвословными, житиями святых мужей и мирские – с шрифтами на новомодный манер, утвержденные к печатанию по указу царя Петра. Были рукописные, таких даже поболее печатных.

Четыреста книг. Затрепаные, зачитанные и совсем новые, будто к ним не прикасалась рука и око человека.

В Черепановской книгарне можно было найти и Библию – Пятикнижие, выложенную доктором Франциском Скориною из достославного града Полоцка и напечатанную во граде Праге лета 1515; и Псалтырь с Новым Заветом, печатанный Иваном Федоровым лета 1580; и житие святых мужей, сказания о чудесных явлениях – печатные и рукописные. Были тут мирские книги, что до наук касающиеся: «Наставления математические астронома Иоганна Вейдлера», «Самонужнейшие таблицы синусов», «Наука механика», составленная Скорниковым-Писаревым, «Земноводного круга краткое описание», отпечатанное в Санкт-Петербургской типографии.

И тут же рукописная «История о российском матросе Василии Кариотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли» и иные завлекательные истории, сказания.

Был тобольский ямщик Кузьма Черепанов – книгочей, книгочейный человек. Собирал сии книги, кажется, всю жизнь. Покупал на Тобольских базарах Верхнего и Нижнего Посада, где в рядах с церковной утварью шел книжный торг, в обителях у черных попов, а иной раз и в трактирах, привозил из долгой ямской гоньбы в Томский город, Барабу, Омский острог, а случалось и в попутных ямах у дорожных людей. Всякое случалось. Покупал, выменивал. Иные и сам переписывал. Когда случалось остаться дома, Кузьма, бывало, ночами просиживал в своей книгарне, писал. Так на полке Черепановской библиотеки появилась еще одна книга «Повесть краткая об Александре Великом от церковного историка Георгия Кедрина». Одета она в деревянный переплет, обтянутый кожей, с медными застежками. От начальной до последней строки – на сто девяносто двух листах переписал Кузьма сию краткую повесть. Труд немалый. И на конечном – прощальном листе обозначил: «1738 году, месяца августа, 5 дня. Писал тобольский ямщик Кузьма, Леонтьев сын Черепанов». Только не пояснил, почему он, тобольский ямщик, заинтересовался жизнью Александра Македонского? Чем задела, взяла его за сердце она?

Книги текли и текли в Черепановскую избу. А Кузьма все покупал да выменивал. Ненасытен был в сем деле человек. Вот «Триодь постную», печатанную в граде Кракове в 1491 году неким Феолом, выменял, годовалого бычка отдал.

Жена Евлампия в расстройство пришла. Бычок справный такой, в хозяйстве – польза. А книга, хоть и «Триодь постная», чего с нее возьмешь! Стоит и стоит на полке.

Евлампия даже всплакнула в голос, запричитала. Но Кузьма сдвинул брови, покачал головой, и жена примолкла. Суров был и скор на руку супруг, не раз возжой учивал. Что правда, по лицу и чему попало не бил, как иные мужики. За волосы не таскал, а велел ложиться на скамью, подол заголять. Учил аккуратно и памятно...

В книгарне Кузьмы кроме книг было еще одно диво. Стоял на поставце деревянный шар, точеный из дерева – глобус. А на том шаре-глобусе вырезаны все части света – полное зрелище земного круга.

Иван подолгу простаивал у сего земного шара. Осторожно вращал вокруг оси. Бежали мимо Азия, Европа, Африка, Америка...

Иван осторожно, чуть касаясь указкой, прокладывал пути-дороги по всем частям света. И мчал по тем путям-дорогам всесветным на тройке гнедых. Он подымался на высокие горы, спускался на дно ущелий, летел по неоглядным степям, пересекал широкие реки, моря-океаны. В мечтаниях – мриях все возможно... А видеть, знать хотелось многое...

В книжную горницу вход домочадцам был заказан. Только меньшей брат Иван пробивался туда, поначалу тайно, а потом не таясь – по-хозяйски.

Вернулся в одночасье Кузьма домой с гоньбы неожиданно, а в прирубке свечек горит. Зашел в горницу, а там над книгой склонился меньшей брат Ивашка. Без спросу, без ведома пробрался. Поначалу осерчал Кузьма. Не терпел самоуправства в доме своем.

Поднял было руку, хотел отодрать самоуправца, да увидел как впился меньшей в книгу, какие зорьяные глаза у него – опустил с миром ладонь на плечо Ивана:

– Читаешь, брат?

– Читаю...

На столе лежала «История о российском матросе Василии Кариотском...»

Иван сейчас был, наверное, далеко от горницы, избы, Тобольска. Наверное, он плыл с русским матросом Василием по морю-океану, видел дальние полуденные земли... Наверное...

Ивашка поднялся со скамьи. Так они стояли рядом – два брата и вглядывались друг в друга, будто виделись впервой. Коротконогий (на голову ниже Ивана), широкий в плечах, крепко сбитый, с могучей, бычьей шеей, похожий на борца – Кузьма, с крупным, ровно вылепленным, изрытым морщинами лицом, задубленным от дорожных ветров, солнца, стужи, снега. Меньшой – Ивашка – был высок, узок в кости, тонкий, как лоза, густобровый, сероглазый. На длинной шее задиристо выпирал острый кадык. И в движениях Иван был резок, порывист. Даже ноздри раздувались, как в беге.

Так они стояли рядом – братья Кузьма и Иван – родные, но не похожие.

Только круто вздернутые подбородки, крупные, резко очерченные губы были у братьев схожи. И светлые прозорливые глаза, цепкие, вдумчивые, многое подмечающие...

– Читай, Иван, читай... Книга, она добрый учитель. Душу освещает. Читай.

Иван любил своего старшего. У него перенял ямщицкую науку. У него и грамоте научился, и плотничать, строения ставить, узорочье по дереву вести и иным рукодельям. А руки у Кузьмы были добрые, большого умения. Много знал Кузьма – и счетную мудрость, и механику. И все самоуком.

Звезда брызгальная

Иван шел по обочине тракта. Хорошо было иной раз в досужий час вот так неторопко пройти по дороге, подумать, поглядеть вокруг.

Ранние снега устлали уже землю. И все окрест было белым бело.

Навстречу, из-за поворота, вырвалась парная упряжка. Под копытами коней вспухла, клубилась снежная пыль. И казалось, кони летели в белом облаке. Гей, гей, родные!

Вдруг темная косматая тень перебежала дорогу. Нет, не тень! Живой огромный зверь. Должно медведь-шатун.

Кони вздыбились, рванулись.

Вмиг Иван представил, как тот, кто правил лошадьми, натянул вожжи: тишком, тишком!

Но коренник рвался вперед. Сани подпрыгивали. Кони летели. А впереди сверток дороги. У поворота – крутояр, обрыв. Минута, другая – и лошади вместе с людьми сорвутся, рухнут с обрыва в пропасть! И – конец, гибель!

Иван, не раздумывая (раздумывать часу не было), бросился к взбесившимся коням. На бегу он ухватился за узду коренника. Руки побелели от напряжения. Казалось, вот-вот они разомкнутся, и Иван упадет под копыта. Миг, и его изомнут, затопчут, раздавят!

Но коренник присел. Иван откинулся корпусом назад, не выпуская узды. И лошадь покорила воле человека.

– Давай, давай, поворачивай. Тишком, тишком, – успокаивал он взмыленных коней.

Иван весь взмок, от усталости ломило тело.

– Теперь езжайте своим путем-дорогою, – сказал он осипшим голосом.

– Постой, мил человек. Ты жизнь нам спас. Давай, хоть скажи, за кого господ-бога молить, кому благодарствие воздавать?

Только теперь Иван вскинул глаза, оглядел людей, которых спас от гибели.

Седоков было двое. Кряжистый, бородатый мужик и рядом – то ли дите, то ли дева. Вернее: и дите – и дева! Все в ней было. Из-под платка выбились русые косы, лицо в веснушках, конопатинах, нос кверху – задиристый. Глаза серые, чуток зеленоватые. А глянула – солнцем, ясным небом, вольной волей одарила. И ласка, и благодарность, и еще что-то несказанно хорошее, свое кровное, родное было в этих глазах. У Ивана даже сердце сжалось. Он и сам не мог понять: как это содеялось, родилось. Понять то не мог, а чувствовать – чувствовал. Да, что-то родилось между ними. И это знали только они двое.

С Коршуновой мы, Олсуфьевы будем, – сказал мужик. – Сестра Анна, – кивнул он.

«Анна, Аннушка», – сразу в мысли позвал Иван.

А дева глядела и глядела, носом курносый шмыгала, конопатинками рябила. Сияли, дарили солнце, ясное небо зеленые глаза...

Вот сколько было женок, девиц встречал. Ни одна не затронула. А к этой курносой, зеленоглазой сердцем приник. Поди, пойми! Глянул, почувял, узнал: его она. Его Анна, Анка, Аннушка.

Не хотелось отпускать, уходить.

– Довези до Балахнина, по пути в Коршуново, и мне как раз впору, – соврал он старшому.

– Садись, чего ж, раз требуется, подвезем, – не очень приветливо сказал тот.

Так Иван оказался в одном возке с Анной.

Словом не удалось перемолвиться. А глазами разговор вели. Иван и сам не мог бы объяснить, что родилось между ними. А может только казалось. Может ничего и не было. Только век бы сидел, ехал в сем возке...

Но Балахнина не край света. Не век до нее ехать. Пришлось слезать.

Сани заскрипели, заохали и поехали далее. Иван глядел, как снеговые ручьи стекают с полозьев и плывут, плывут за санями.

Белая, едва приметная глазу колея пролегла по белой дороге.

Уже сани маячили малой точкой, совсем исчезли, растаяли во мгле. Будто и не было никого, будто приснилась сия встреча.

А Иван все стоял и стоял на дороге, чего-то ждал. Падал снег, заметал, стирал следы. Снег, снег, снег...

– «Эх, надо бы до Коршуново просить подвезти. Ума не добрал! Ума не добрал», – говорил он себе.

Всю неделю жил, как в угаре. Только и дум, что о конопатой, глазастой Анне. А потом выдался случай – подался в Коршуново.

Но в Коршуново Олсуфьевы не жили. Соврал, обманул старшой, а может, учуял неладное. Люди советовали идти в Быкову, а может, в Сафонову, Полуянову, а может, на заимке, или в скиты ушли. Нашелся ведомец, сказал: «Старого обряда они, двуперстно крестятся, может в скит ушли...»

И начались поиски-скитания. Как только выдается случай, вольное время, Иван запрягает своего синегривого и едет искать Анку.

Во всех деревнях окрест побывал и нашел-таки. Сама вышла навстречь. Думал, думал о ней и отозвалась. Видно, правда в народе молвится: сердце сердцу весть подает. Словно почувяла. Будто вчера расстались и условились, договорились встретиться сегодня вон у того сруба чьей-то недостроенной избы.

Протянула руки к нему – незнакомому. Он привлек ее сильным, резким, почти грубым движением, обнял и только и смог вымолвить: «Анка».

Так они стояли молча, не шевелясь, счастливые, что стоят рядом. Все так же молча поцеловались.

...Теперь они виделись. Встречались в потайных местах, уходили в тайгу. А в тайге набрали на покинутую, полуразрушенную избушку.

– Вот и дом нам, – обрадовалась Анка.

Через несколько дней Иван принес топор, пилу и иной плотницкий снаряд. И пошла работа. Настелили крышу, заделали пробоину в одной стене, другую укрепили подпорками, навесили дверку, оконце новым бычьим пузырем затянули.

Чем не изба!

Иван собрал хворост, наколол дровец, развел в очаге огонь. Маленькое мохнатое пламя стлалось по земляному полу, сыпало искры. С новосельем!

Совсем стемнело. За стеной гудел ветер, он пробивался через затянутое пузырем оконце. Огонь разгорался сильнее, обдавал жаром, все звонче потрескивали поленья. Сыпалась золотая метелица искр.

Иван и Анка сидели у очага, тесно прижавшись. Он гладил ее волосы, целовал веки, припухшие губы. Косы ее расплелись, рассыпались по плечам, глаза потемнели, а лицо казалось белым, белым. Красивой она стала.

Длинная двуглавая тень их легла на стену, надломилась, вползла в окно. Иссиня-серебряное сияние струилось вокруг, как оклад на старой иконе.

Тут в избенке они и познали друг друга, стали одной плотью. «...И оставит человек отца, мать и прилепится к жене своей и будут два одной плотью». От Матфея сие. Так что они уже не двое, а одна плоть...

– Мнится мне, тайга нам, словно мать родная, – сказала Анка. – Будто мы жили тут давно, в стародавние времена, всегда. Вот так же выл ветер за стеной, горел очаг, и мы рядом вот так же...

– Вот так же. Всегда, – повторял за ней Иван, – ты рядом и больше мне ничего не надобно...

– Это тебе только мнится, – печально сказала Анка. – Это твой миг. Тишь и гладь на тебя сошла. А тишь не для тебя. Не твоя она, тишь. Гляжу на тебя и чувую: в тебе всегда буря. То одно тебе надобно, то другое. Должно на роду у тебя терзать себя и тех, кто люб тебе... Чего ты хочешь, Иванушка?

– Никто никогда не говорил мне такого. Но оно правда. Как ты догадалась?

– Люб ты мне!

Иван глядел на Анку и испытывал робость перед этой девчушкой, робость, чувство благодарности. Где что бралось у нее, девчонки, почти дитяти. Говорила, как умудренная жизнью женщина. Теперь она была старшей.

К чему он стремился, Иван? Чего жаждал? Что томило, влекло его? Откуда появилось томление сие, жажда узнать и рассказать, как жили люди ранее, в стародавние времена? Какой она была, ушедшая жизнь? Откуда она взялась,

Сибирская земля? С ним будто разговаривали, наказ давали Ермаковы казаки... Из каких подслушанных слов, прочитанных книг пришло сие?

...Вот на Аксинью-полузимницу на Рыбном торговище древний старец сказывал, а он, Иван, слушал и будто видел, будто жил в тот давний, давний день, в год от сотворенья мира семь тысяч двести восьмой, а от Рождества Христова тысяча семисотый, когда в Тобольске знамение в воздухе было. Мнилось, будто стоял он на берегу Иртыша в молчаливой, пораженной ужасом толпе тоболяков и видел, как в третьем часу дня, внезапно с полудни нанесло тихим ветром мглу, как туман густой огненный. И солнце в небеси в туман разлилось. И друг с другом люди во храмах будто в огне виделись! И в той мгле все небо как померкло. В сажени два человека видать было, а подлинно распознать, кто – не можно...

В исходе пятого часа южный ветер прогнал солнечно-пламенную мглу на север...

И было еще знамение: в заре вечернюю всплыла над Тобольском невиданная дотоле звезда. Она растягивалась во все стороны и выбрасывала огненные брызги – звезда Брызгальная!

И закатилась, потухла, упала...

Старик на рыбном торговище говорил: сие прознаменовало в Сибири непостоянство и войну через полдень, под верхним западом солнца с джунгарцами при камени порубежных линий.

Всю ночь тревожил Ивана рассказ старика, всю ночь виделась сия пламенно-солнечная мгла и звезда Брызгальная. Она плыла в небесах над башнями, куполами Кремля, бревенчатыми кровлями домов, над улицами, тупиками переулков Подгорного Тобольска, разбрызгивала огненные искры, дробила колючий белый свет в темных, огненных водах Иртыша, озаряла город. Знамение...

Иван ушел мыслью в те далекие, минувшие, неведомые ему дни.

Ему слышалось горячее дыхание немирной Иртышской степи, глухой гул, топот джунгарской конницы. Темной лавиной катила она по берегу Иртыша, чинила воровства и разбой, оставляла за собой страшный след. Разоренные порубежные русские деревни, татарские улусы, зарево пожарищ, стоны опутанных арканами пленниц, плач детей... Беда разбойных набегов джунгарских тайшей, что вторглись сюда – в Прииртышье с восхода.

...Все это было на южных порубежных сибирских линиях полвека назад. Все это виделось Ивану сейчас как наяву, не давало покоя, подняло до времени – в ночи с постели. Он зажег светец и начал записывать рассказ старика. Огненно-пламенная мгла, звезда брызгальная...

Вместе с Иваном слушал рассказ древнего старца на рыбном торговом дворе добрый знакомец старшего брата Кузьмы – семинарский учитель Яков Волинский. Усмехнувшись, он сказал:

– Не знамение, а натура здешних стран в сем. Полуденный ветер пригнал дым лесных пожаров. А может статься, то было полуночное крыло суховея, что поднял пыльную бурю в степи. Солнце придало ему огненный лик...

Но тоболякам в пламенной мгле, в брызгальной звезде чудилось, мнилось иное: знамение непостоянства, беспокойствия, войны на южных рубежах. Сердце народное тревожилось, болело за сибирские земли, политые кровью и потом русских людей. И отдавать сии земли пришлым джунгарцам сибиряки не собирались. Эту боль, эту тревогу отцов, дедов испытал, понял, почувствовал и записал в своей заветной тетради (Яков Волинский называл ее зошитом) сын и внук тобольских ямщиков Иван Черепанов.

И вот принес почитать Анне.

Звезда брызгальная... Не ты ли для меня сия звезда? Что прознаменуешь мне?

Анка молчала. Потом по-зверушечьи, исподлобья глянула:

– Звезда, они-тко сгорают... Только я тебя огню не отдам... Нет...

Помолчала и вдруг выкрикнула:

– Давай уйдем отсюда, уйдем!

– Как уйдем? – не понял Иван.

– Да так: Хочу поглядеть, что там за зорей, за лесом, за речкой, за небоземом... В небозем уйдем, на восход в дальние земли, в Даурье. Жить самим по себе. Вольно!

Анка распрямила плечи, вскинула тонкие руки, как крылья, вот-вот и улетит; глубоко вздохнула, будто от тяжелой ноши освободилась.

– Жить вольно! Только, я верую, Иванушка! В очищение огнем, – вдруг перешла она в шепот. Глаза ее нестерпимо блестели. – Сколько годов прошло, как сожгли протопопа Аввакума! А он не только в небесах, на земле, в людях и поныне живет. Братка читал житие Аввакумово! Список. У нас по деревням, по избам ходит сие писание. И я читала. Я его – протопопа Аввакума, как живого вижу. Я бы жаждала, как Марковна, Настасия Марковна – супруга его – идти за ним по горам крутым, лесам дремучим, нехоженым, плыть реками, озерами бурными в Даурские земли.

– Долго ли мука сия, протопоп, будет? – спросила Аввакума Настасия Марковна. – До самая смерти, Марковна, – отвечивал он Марковне. Она же, только вздохнув, сказала: «Добро, Петрович, иво еще побредем... Аз тя с детьми благославляю. Дерзай проповедати слово божие по-прежнему, а о нас не тужи», – так говорила она, Марковна.

А он, протопоп, писал, а писал, как говорил: «Никого не боюсь, ни царя, ни князя, ни богата, ни сильна, ни диавола самого...» Такой он был, протопоп.

Анна подняла высоко голову, глянула на Ивана так своими зеленовато-серыми, чистыми глазами, будто не протопоп, а она сама сие сказала.

– Я бы босой по снегу, по морозу люту шла за ним. Я бы след его поцеловала...

Откуда, что бралось у нее – девчонки, почти дитяти?

Однажды Анна принесла список с «Жития Аввакумова». Склонившись над очагом, Иван раскрыл рукописную книгу. И они оба листали затвердевшие, потрескавшиеся, траченные временем страницы. В отсветах пламени бумага казалась почти коричневой.

– Что сие, – Анка пальцем обвела строки. Я по памяти знаю...

Иван начал читать.

Протопоп описывал, как гнали его с протопопицей и детьми малыми из Тобольска на Лену реку, в Даурье, под началом жестокосердного воеводы Афанасия Пашкова, что беспрестанно мучил, бил, топтал людей...

...На Долгом пороге, на Ангаре реке тот Пашков начал Аввакума из дощаника выбивать: «Из-за тебя-де дощаник худо идет! Еретик-де ты! Поди-де по горам стопами». «А горы, – писал Аввакум, – высокие, дебри непроходимые, утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть, заломя голову. В горах тех обретаются выси великие... На тех же горах гуляют звери многие... На те горы выбивал меня Пашков, со зверями, со высями и со птицами витать...»

И Аввакум ему – Пашкову – малое посланьице написал и сие посланьице так разгневало, разъярило воеводу, что он повелел схватить опального протопопа и привести к себе. «Взяли меня палачи, привели перед него. Он со шпагою стоит и дрожит. Начал мне говорить: «Поп ли ты, или распоп?». И аз отвечал: «Аз есмь Аввакум-протопоп; говори, что тебе дело до меня?» Он же рыкнул, яко дикий зверь и ударил меня по щеке, тоже по другой и таки в голову, и сбил меня с ног и, чекан ухватя, лежачего по спине ударил трижды и, разболочши, по той же спине семьдесят два удара кнутом. А я говорю: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помогай мне! Да то ж, да то ж беспрестанно говорю. Так горько ему, что не говорю: «пощади...»».

– Так и не сказал протопоп слова «пощади», гляди-ко! – шептала Анка то ли сама себе, то ли Ивану, – так и не сказал «пощади».

Она по памяти знала каждое слово «Жития». Если Иван, читая, пропускал или оговаривался, поправляла его.

И будто вместе с Аввакумом проходили они весь его страданный путь от Тобольска до Даур... Тянули вместе лямку по реке, через волоки волочились, тонули на Иногде, Хилке-реке, Иргень-озере, Байкале-море. Скитались по горам,

по острому камению, шли наги и босы, травами, кореньями перебивались кое-как, терпели голод, холод, нужды великие, а не склонились и слово «пощади» не сказали...

– А ты, глядит-ко, как до людей сердцем широк был он, всем благ желал, – говорила Анка. – Чти: «Единако нам бог распросте небо, еще же луна и солнце всем сияет равно, також-де земля и воды, и вся прозябающая по велению владычию служит тебе не больши и мне не меньши...» Сии слова Аввакумовы Анка повторяла, как молитву. А может и была то ее молитва?!

Иван слушал Анку, читал «Житие» и завидовал силе Аввакума, огненному слову его, он ревновал к сему бешенному протопопу, сожженному в давние времена. Прах его давным-давно развеян в далеком, неведомом Пустозерске. А сам он живет в людях. Иван ощущал его как живого, ревновал к Анке...

К чему он звал, сей мятежный протопоп? Хотя толкал расколом во тьму стародавнего, звал на муки, огненную купель, но воплял о боли мужицкой, о крайнем в стране разорении, выступал против тиранствующих, тех, кто кнутом душу мужика выбивал. И мужик верил ему, шел за ним...

...В тот день Анка пришла поздно, в волнении великом, долго молчала. А потом, вдруг насупив брови, не глядя на Ивана, сказала:

– Тяжелая я. Дите у меня будет...

– Дите, у тебя? – У Ивана даже дыхание остановилось, сжалась грудь от неведомого чувства. Он притянул Анку.

– Дите! Не у тебя, а у нас, наше дите. Сын! А если дочка, тоже примем, наша дочка, Анка...

Иван обнял ее. Она заплакала. Он гладил, как маленькую, по волосам.

– Наше дите! Доколе будем прятаться от людей?! Пойду к твоим родителям, в ноги поклонюсь.

– Нет, не дозволю! – Анка вырвалась из его рук, ногой топнула. – Не дозволю! – Голос такой властный, чужой.

– Они тебе старый обряд велят принять. Сжигаться будем... Не хочу, чтобы ты горел... – Властительница, а не девчонка говорила с ним.

...Март постучался в избу шумной, пестрой капелью, свесил с кровель искристые подвески-ледышки. Но снега лежали еще плотно. Сизые морозные рассветы, студёные ночи. Под ногами хрустел шабаркун-гололед.

В путь-дорогу дальнюю на восход порешили они уйти тайно, как только сойдут снега. Иван принес в избенку кое-какую одежонку дорожную показать Анке, а она не пришла. Не пришла и на другой, и на третий день.

Может, занедужила, может, еще что приключилось?

Иван тосковал, беспокоился и, хотя Анка не позволяла ему ходить в деревню, пошел. Сначала разведать – в Коршуново. А там вести худые. Из

Полуяновой ушли все в скит очищаться огнем. Туда воинскую команду уже послали.

Видно, и Анку увели. Может, силком, не своею волею? А может, сама пошла?

Когда Иван добрался до скита, там уже буйствовал огонь. Пылал рубленый заплот, горела молельная изба, горело внутри. Жаркими, кровяными волнами огонь плыл, переливался по стенам. Видно чья-то рука позаботилась, подожгла скит и снаружи. Треск бревен, огненный гул смешивался с людскими воплями, стоном колокола.

Солдаты воинской команды, подоспевшие сюда, кинулись тушить пожар, но унять огонь были уже не в силах.

Ивану почудилось, он видит в пламени чьи-то простертые руки. Не чьи-то, а Анкины руки. Ему чудились ее глаза, разметавшиеся, облитые пламенем волосы.

Может, она звала в этот миг: «Спаси, спаси!» Может, видела его?

Иван ринулся в пламя. Его обдало жаром, гарью, дымом. Грохнула, обвалилась балка, опрокинула его, отшвырнула от огня. Лежал он в беспамятстве. Солдаты думали, помер ямской.

Минул день, еще день...

...Иван пошел на пепелище. Только серый прах курился под ногами. Пепел и обугленные головешки. Даже земляного холмика, к которому можно было припасть, не осталось от Анки.

Иван никак не мог осмыслить, что произошло. Боль так сдавила, стиснула его, что, казалось, вот-вот прервется дыхание.

Беду эту нельзя было оплакать никакими слезами...

«...И несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...» – всплыли в памяти слова заупокойной.

А он видел черный провал, черную пустоту.

– Нет, нет, не надо, не надо... – неожиданно для себя громко закричал он и сжал до боли голову. – Не надо, не надо!

«Надо, надо, – отозвалось эхо из черного леса. – Надо...»

С пронзительной ясностью представлял ее – Анку – такую живую, ощутил ее дыхание, тепло ее тела, запах, ласку ее волос...

Иван нагнулся, набрал горсть пепла. Сквозь неплотно сомкнутые пальцы сочилась узкая серая струйка. Казалось, прах дымился...

Неужто только прах?.. Не может быть такого. Каждый человек оставляет после себя след на земле. Может быть в той, другой жизни, на том свете, там, в небесах, в небесном царстве господина они встретятся вновь. Звезда брызгальная

взойдет и будет светить вечно... Может быть, они будут вспоминать и прошлой земной жизни, о том, что ушло, осталось на земле. Кто знает, может быть...

...Содеялось сие на ранней заре жизни Ивана, на восемнадцатой весне, а ранило, оставило черный след на долгие, долгие года. Даже поделиться горем – потерей не с кем было. Кузьме не расскажешь, что слюбился с девой старой веры, раскольницей. Носил Иван утрату в себе. И когда в Тобольск доходили вести (а доходили они частенько) о том, что люди старой веры собирались в скитах и сжигали себя, тяжелой болью отзывалось сердце, вспоминалось минувшее. Иван будто снова ходил по пепелищу и серый прах курился под ногами.

Видно, потому в поздние, зрелые свои годы Иван Черепанов не раз заносил в свою летопись скорбные строки о тех, кто принимал огненную купель-погибель.

Сын боярский

Новую, нечитанную книгу Иван всегда раскрывал с волнением. Что сулит она? В какие неведомые земли поведет, с какими людьми познакомит? Это как езда в незнаемое по незнакомой дороге.

Вот и ныне, на самой верхней полке братниной книгарни нашел он тетрадь в десть, стянутую досками в коже. Кожа была мохната от пыли.

Иван расстегнул медную пряжку, и сизый туманец закурил в горнице. Будто сама седая старина поднималась с пожухлых, побуревших страниц.

Но почему Кузьма не обмолвился про сию книгу. Иль позабыл?

Иван решил до времени, пока не прочтает, не говорить брату о своей находке. Находка же!

То было писание про сибирское взятие, про казачьего атамана – ратоборца Ермака Тимофеевича и сущих с ним единокровных казаках.

Всю ночь читал, не мог оторваться от писания Иван.

Про Ермака, ермаковых казаков, про чудесные знамения в небесах, на реках, земле слышал он допреж премного от старцев-нищевродов, от деда. Да что рассказы! Весь воздух в Тобольске был налит ими. Почитай все тоболяки про то знали.

А неведомый пока Ивану сочинитель уж постарался более прочих украсить чудными прилогами свое писание, подивить людей. Надобно такое иль нет, Иван не ведал? Но читать было презанятно.

Сей сочинитель писал, глаголил будто сам своими очами видел, своими ушами слышал, жил в те стародавние времена. Может так оно и было...

Словесами парсуну написал.

«... Ермак, бебо велмы мужествен, и разумен, и человекен, и зрячен, и всякой мудрости доволен, плосколиц, черн брадою и власы прекудряв, возраст средний, и плотен и плечист».

Иван читал и будто узрел казачьего атамана. Будто встал он рядом, повел крутым широким плечом, поглядел внимательным острым глазом. Ермак Тимофеич «...вельми мужествен, разумен, человекен...»

Человекен... Что за слово такое? – подивился Иван. Такого слова не слыхивал. Он оторвался от чтения, смежил веки и про себя повторил это новое для него слово: человекен...

Хорошее, доброе слово сочинил историописатель. О многом поведать может оно...

Неведомый сей сочинитель величал Ермака, писал житие достославного мужа-ратоборца, в нуждах непокоренного, к смерти бесстрашного. Господь-бог дал ему силу, успех, храбрость, яко у Самсона – исполинство...

Текли, текли строки писания, текло время. Шелестели, будто вели шепотно разговор хрусткие листы.

За окнами в синей ночи скрипели от палящих николевских морозов снега, сама земля, казалось, раскаливалась от стужи, сжимались, ежились, потрескивали бревна, уложенные в стены избы.

Оплывала свеча на столешнице, и хлипкое пламя пригибалось. По стенам, полкам с книгами бродили лохматые тени. Книги, будто оживали, двигались.

Текло, текло время. Ивану в сей час казалось: он подглядывает, видит, как уплывали, уходили в вечность минуты, часы, годы, века. Уходили и оставляли след на земле.

Где это читано, а может слышано было? Что ведали, что слышали, что узнали, что отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей наших, возвестим роду грядущему, чтобы они возвестили своим детям... Все прилежит истории...

Тесную горницу братниной книгарни заполнили люди, давно ушедшие из жизни, но всей час ожившие для Ивана.

Иван читал и томился. Ему тоже жаждалось сотворить такое писание, узнать и рассказать, как жили люди допрек – в стародавние времена, откуда она пошла сибирская земля и как ныне живет...

Все, что виделось в долгой ямщицкой дороге, все что узналось из книжной мудрости, из рассказов бывальцев, ведомцев, излить бумаге, поведать о сибирской земле, о сибиряках...

Вот же разбередил душу Кузьме Александр Македонский великий из дальней, полуденной неведомой земли Македонии. И Кузьма переписывал «Повесть краткую об Александре великом от церковного историка Кедрина». А в той повести краткой – сто девяносто страниц. Труд немалый, нелегкий.

...Почему сибирскому, тобольскому ямщику понадобился тот Македонец, живший в давние, предавние времена? Почему? Иван брата не спрашивал, но понимал: если душа потребовала – все одолеет...

А ему – Ивану в душу запала своя сибирская земля, ее гистория, Ермак Тимофеевич, Ермаковы казаки, он словно породнился с ними. Теперь он понял, чего жаждалось: писать о прошлых, ушедших днях и о нынешнем. Он уже представлял будущую книгу, видел ее.

Иван поглядел на свои большие руки – заскорузлые, привычные к черной работе, лошадям, вожже. И перо не единожды держали его руки, а выдержат ли длинный, долгий, трудный путь по белу листу?..

Одолел же сей путь пока неведомый Черепанову историосочинитель. Со страниц своего писания вставал он, приходил к Ивану, разговаривал. Иван слышал его голос... Сей незнакомый и знакомый человек жаждал, положить свое писание всенародному зрению нескрытно ко утешной всенародной пользе. Он печалился, то языком светлоречивым еще не владеет, и отверзает читатель дверь в стародавнее, в дни минувшие железным ключом, а златой будет искать, уготовит ко утешной всенародной пользе.

Он глаголил о стародавнем родного края и пел славу свету знаний, правде, мудрости. Он видел в простом казачьем атамане Ермаке Тимофееве мудрого правителя Сибирской земли...

Да, хорошо писал историописатель. За сердце брали Ивана слова: «Мудрость укрепляет мудрого паче сильных и лутче храбрых храбствующих без ума». «...Только с премудростью зиждется храм, с разумом исправли-отца, мудрому всекрасная слава... И богатство разоряет смерть и тля, если оно неразумно получено и пользуются им без ума. А мудрость пребывает во веки...»

Но кто он был сей историописатель, певший славу мудрости, свету знания? Сей просветитиуль? Кто?

На конечном листе книги было писано: «Имя мой знаком сим зовом с природными прослытии в Сибирстей стране в начальном граде». На том же листе нарисовано: сердце с литерами и вокруг четыре малых сердца, в каждом тоже литеры. А пониже цифры. Тайнопись! Литорея! Как разгадать, раскрыть ее?

Можно было спросить Кузьму. Уж Кузьма то знает, кто сочинил сие писание. Кузьма – он хозяин рачительный. Все про свое добро знает.

Но жил в Иване – упрямец. Хотелось самому разгадать тайнопись книги, что так взволновала его. Да и опасался: вдруг да Кузьма осерчает и отымет писание, мол, пошто не спросясь взял. Он Кузьма – нравный...

На другой день, весь свой перегон Иван думал о тайнописи. Что сокрыто в ней? Литеры настырлево беспокоили, сопровождали в дороге. Перегон выдался трудный, в лютой, трескучей морозной хмари. Приходилось останавливать

заиндеветших коней, выдирать из ноздрей наледь, иначе задохнутся. Да и у самого дыхание перебивало от стужи. Да еще седок выдался лайливый, спальчивый. Некий коллежский чин из столиц следовал. Нагрузил сани кладью куда с добром через верх, себя приказал привязать веревками, дабы не свалиться в дороге и лаялся матерно до хрипоты.

Иван помалкивал. Глумливые слова, кои изблеывал столичный чин не задевали. Он не слушал. Он думал о своем – тайном. Что-то будто рождалось в нем.

Как всегда, навстречу бежали верстовые столбы, стылые в курже березы, если, струилась, исходила сизым дымом земля...

...И снова в бессонной ночи Иван клонился над писанием – над конечной страницей, где было рисовано сердце с литерами, а вокруг – четыре малых сердца – медалионы.

Кропотливо разбирал, разгадывал. Тайнопись, переставлял литеры, вел счет цифырный. Каждая литера имела свое цифровое обозначение. Иван подбирал ключ. И литорея раскрыла свое тайное. ПСУР – писал Семен Ульянов Ремезов – вот что таили литеры в большом сердце – медальоне. Семен Ульянов Ремезов! Был такой архитектор, чертешник, иконник! Был! В Тобольском граде знали Ремезовых. На нижнем посаде в Благовещенском приходе и улица Ремезова Семена пролегала.

Иван начал припоминать, что он слышал, знал о Семене Ульянове Ремезове. Люди сказывали: был тот Семен Ульянов у каменного строения, строил Приказную палату на горе, меновой двор, кажись полуденную стену Софийского двора, писал чертежи Сибирских земель, знатным слыл иконником...

Да вот не знал, что сей архитектор, чертешник, иконник, был историописателем. Сочинителем. Такого не знал...

Как-то вечер, после ужина, Иван спросил у брата про рукописную книгу, найденную на верхней полке книгарни. Спросил будто невзначай.

– То список с Ремезовой гистории, – скушно так, и вроде бы с обидой сказал Кузьма. – У самого, у Ремеза Семена еще и рисовано было. На каждой странице. Вся история рисована. А тут только одно писание. Купил на торговище. Кажись продорожил. Продавец в обман ввел, обмишулил. Сказывал у сына самого Ремезова брал. Правда иль нет – не ведаю. Вот у Федора, у Пимена, что у рыбного торговища двор, у того доподлинно Ремезовское писание было, рисованное. Да только наезжий профессор академик господин Миллер из Беринговой экспедиции не то отобрал, не то купил. Да ты в одночасье зайди к старому Пименову, он тебе все обскажет. Хоть и восьмой десяток пошел, а при полной памяти старик...

Двор Федора Пименова стоял близ рыбного торговища под горою. Иван еще приметил ладный, рубленый обло пятистенник. Такие ставятся хозяевами навек. Почернелые, обмытые дождями, снегами, высушенные солнцем и ветром стены его много повидали. Только ставни, некрашенные, как и вся изба, были светлыми, видно, недавно навешали створки. И хозяин был под стать избе. Годы высушили Пименова, как старое доброе дерево, высушили, вытемнили кожу, выбелили волосы, посекали морщинами, но не согнули. Был он крепок и стать сохранил, хоть девятый десяток шел. И памятлив.

Ивана Пименов встретил приветливо.

– Леонтия Черепанова – сын. Ямской. В народе сказывают, ты книгочей! То-то же. Книгочеи – они люди...

Был Федор Пименов памятлив. Что деялось ныне иной раз и забывал, а давнее, свои молодые годы-то помнил ясно, будто вчерашним днем прошло. Помнил, и видно горазд был поговорить о своем давнем, да не часто находил охочих слушать. Сыны и внуки, видно, не жаловали вниманием старого. Всяко бывает в жизни...

Видно потому-то так охотно рассказал старик Ивану про ссыльного из дворян Петра Федорова сына Мировича – обходительного речистого человека. В Тобольске знали: родитель сего Мировича был полковником у гетмана-изменника Мазепы и вместе с ним бежал из Руси за кордон еще при царе Петре, а потом дознались, сынок письмами тайно перекидывается с отцом, вот и выслали в Сибирь... С Пименовым Мирович разговорился на Торговище, зачастил к нему, просил Ремезову гисторию показать, читал, а потом привел ученого немца, профессора Петербургской академии де сиянс. Сказывал, когда он де – Мирович учился в Петербургской гимназии, сей профессор, тогда он назывался по-иному – адъюнктом, был там учителем. Учил латыни, красно говорить, писать письма высоким особам и амурные – женскому полу... Пименов помнил, какой камзол был на немце, как парик отряхивал да боком, боком глядел, и все улещивал: «Не для себя, грит, ради науки, ради академии Санкт-Петербургской радею»... Так ли оно не так, да губернатор приневолил продать сие Ремезова писание. Губернская канцелярия выплатила ему – Пименову – рубль тридцать копеек. По такой цене он сам купил писание. А ученый немец сказал, де такая книга хотя и до полторы рубли стоит. Да что рубли, пришли и ушли. А книга навек остается: тебе, детям, внукам твоим...

Пименов рассказывал, а губы у него дрожали в горечи, и слезы по-стариковски навертывались. По сию пору жаль было той рукописной книги.

Иван понимал его боль, и в то же время про себя думал: может, и впрямь не соврал профессор Пименову и писание то по сию пору в Петербуржской академии пребывает. То лестно для всех тоболян...

А старый Пименов говорил, говорил, вспоминал, какие рисунки были рисованы, вспоминал по памяти само писание, будто были открыты перед ним страницы книги, и он читал.

Многое помнил старик... А вот, как приобрел Ремезову летопись не хотел говорить. Мало ли бывает...

Иван показал ему свою находку в братниной книгарне. И Пименов признал: списано с Ремезовой истории, только без рисунков. Там на каждом листе по две статьи и рисовано к ним же. И еще вспомнил Пименов, был там вставной лист и на нем начертано «Летопись Сибирская краткая Кунгурская». Знатцы говорили, добыл сию летопись Ремезов в ту пору, когда ездил с сыном в Кунгур для учинения вновь чертежа города и переписи. Может, к той летописи руку приложили казаки из самой Ермаковой дружины? Были же среди них грамотеи. Кто знает? Ведь Семен Ульянович не зря прибавил сию летопись к своему историописанию... Кто знает? Время годы, они все сглотнули.

...Ремезы!? Ремезовых Федор Пименов знал. Старый двор их стоял на Нижнем Посаде в Богоявленском приходе, меж Соболевым и Кузнецовым переулками. Еще в соседях был посадской Алексей Иванов сын, прозванием Котельник. Кормился он плотницким мастерством, потом стал лудильщиком. Котлы лудил, за то Котельником прозвали.

Старого архитектора, иные его иконником звали, – он – Пименов, не раз видывал, обличие знал, а разговоры не разговаривал. Угрюм был человек, да и обижен вроде. Хотя службы государевы нес многия, а жил в скудости, нужде. Строил палаты каменные для воевод, а свой дом не холил, иль не умел копить добро, хозяйствовать...

Сыны Ремезова? Было, кажись, у него четверо.

«Как малых сердец – медальонов на конечной странице писания» – подумал Иван.

В народе сказывали, старшие сыны добрыми помощниками отцу были, со старанием помогали Чертеж Сибирских земель писать. А тот великий чертеж, бают, по указу самого государя писан был ко Москве в дубовую палату. Средний сын Семен Семенов сам был изографом. Вместе с отцом и братом двоюродным Афанасием для губернаторского дворца салон князя Гагарина картины живописным письмом писал.

Да, да тот сиятельный князь, главный судия сибирских провинций, коего царь Петр прилюдно повесил в Петербурге на Сенатской площади за великое воровство, казнокрадство, лихоимство...

В последнюю пору своей жизни старый Ремез жил с меньшим своим сыном Петькой да с внучатами. На нижнем посаде с Петькой – он, Пименов разговаривал. Был тот Петька поверстан в дети боярские, женился на девице

Василисе – дочери тобольского дворянина Василия Аврамова. Хороша была девка. И он, Федор заглядывался, когда плотничал на подворье Аврамовом. Ох, хороша и вередлива да вспылчива! В приданое она принесла с собою с закладною крепостью крепостную девку Порасковью Моисееву дочь. Да так тиранствовала над нею, била смертным боем, что та девка сбежала со двора. И было полицмейстерской конторой объявление во всенародное известие о сыске той девки Прасковьи. Только не нашли. Сказывали люди, много крови попила, жизнь заела сия красавица Василиса супругу своему Петьке Ремезову. Через то он чаще чем надо в чару заглядывал.

А потом Пименов сказал шепотно хотя никого в горнице не было.

– Историю Сибирскую профессору отдать приневолили, а одно писание утаил. Тоже Ремезово... Оно понизу лежало в другом ларце. И по сию пору у меня.

– У тебя? – взволновался Иван. – У тебя? Покажи, отец, каково то писание? Сделай милость, покажи.

Пименов задумался...

Думал долгонько потом все-таки отозвался, сказал:

– Тебе, Иван, покажу... Ты не профессор академья, не из дворян. Ты подлого званья. Простой народ, как и я. Тебе покажу.

Иван уже приготовился смотреть, слушать, читать второе писание Ремеза. Да только Пименов сказал:

– Не сей раз. Не торопись. Приходи на другорядь на той неделе.

Думал Иван: соврал старик, никакого второго писания Ремезова нет у него. Уж и не надеялся. Ан нет, не соврал...

...Пименов видно подждал Ивана.

– Не самовольством, а по приказу, по государевой грамоте сочинено, – погордился старик, будто это ему Пименову была государева грамота.

У него у Пименова де то писание хранится. Петька Ремезов продал. Деньги ему всегда надобились.

На первом начальном листе тетради было выведено «Описание и Сибирских народах и граней их земель, по грамоте великого государя и по наказу сочинено... тобольским сыном боярским Семеном Ульяновым Ремезовым... в лета от Адама 7206, от Рождества Христова 1698 г., взятия Сибири 118».

Иван в волнении листал писание.

– С одного раза не вычитаешь, не уразумеешь, – сказал Пименов. Тут надо мыслию окинуть.

И неожиданно дозволил Ивану взять домой – мыслию окинуть.

– Продать пока не продам, а почитать унеси. Тебе доверие имею. Не обманешь...

Не сразу ушел Иван от Пименова. Ему пришлось в тот вечер выслушать много историй, приключившихся с самим Федором Пименовым. Любил старик поговорить. Да и было чего вспомнить. Жизнь долгая и в жизни всякое бывало и доброе, и худое...

...Наконец-то наступил жданный час. Иван остался один на один со вторым писанием Ремезовым. Теперь рядом с ним – ямщиком, ямщицким сыном Иваном Леонтьевым Черепановым был сын боярский – сочинитель, историописатель Семен Ульянов Ремезов... Ивану виделись его глаза то в доброй, светлой улыбчивости или в замысленности, то в хмурости, даже гнев. Так и само писание: то приветило, раскрывало свои думы, то в хмурости, непонятности отворачивалось. Слова будто сами ускользали, замыкались на запор.

Ремезовская скоропись крутенько давалась. Иван вглядывался в каждое слово, букву, прицеливался, будто силой хотел померяться...

...Вот одна строка над другой и обе зачеркнуты, вот слово набегает на слово. Догадайся, мол. Нет, тут силой не возьмешь. Тут надобно понять, почувствовать характер того, кто писал, его думы...

Долгонько Иван бился над вторым Ремезовым писанием, и все-таки одолел, понял, почувствовал Ремезовский почерк.

Было думно и беспокойно.

Семен Ульянов Ремезов уводил в стародавние времена, рассказывал по древним татарским историям о начале сибирской земли, о начале происшествия народов в Сибири, родословий многочисленных ханов до Кучума, о древних приключениях в сих местах бывших.

Трудно было упомянуть имена всех сибирских ханов. Длинной чередой прошли они чрез годы. Но деяния их были почти одинаковы, цепь коварств, предательств, жесточи, грабежей, убийств, потоки народной крови... Вот, что оставили в памяти народной сии властители. Родословие ханов в татарских сказаниях отводилось к давней древности, чуть ли не к Вавилону. И Черепанов усомнился в правдоподобии сиих сказаний. Тут же во втором Ремезовом писании Иван прочитал про великого хана Синбира «как пошел он войной на землю Туралинскую, поставил град Сибирь-Туру и стал быть славен, силен и богат, и от того случая вся страна Туралинская имя получила имя то Сибирь¹».

В народе сказывали о названии Сибир и по-иному. В давние, стародавние времена жил в сих местах древний народ Сибир. Люди Сибир сеяли хлеб, знали ремесла, но не умели держать в руках мечей и луков. И когда на их землю напали воинственные пришельцы с дальних степных рубежей, народ Сибир должен был

¹ Туралинскими землями называли земли в междуречьи (Туры-Иртыша-Оби и далее). Туралинцы – тюменские, тобольские, тарские татары.

покориться или умереть. Люди Сибир выкопали глубокое подземелье и ушли туда все – с женщинами, детьми, стариками. Потом глава рода подпилит деревянные столбы, поддерживавшие своды, земля обвалилась и погребла народ. Народ Сибир похоронил себя, чтобы не попасть в неволю. А имя его осталось жить, и тем именем названа земля от Камня Уральского до океана Ледовитого, до моря Охотского... Правда или нет? Сказку сказывал слепой нищоброд на нижнем торговище. В свое писание Иван ее еще не внес, а в душе осталась, живет. Что-то в ней напоминало Аннушку. Она бы так содеяла, как люди Сибир...

...Вся земля словно в купели крестной побывала. Все города, селенья, реки, горы, доли. Всему имя дадено. И в каждом имени свой смысл, своя история. Умей только разгадать, раскрыть.

Ташаткан, Ташаткан, пошто зовут тебя так?

Приходилось же бывать в сем селении на озере Кулачок, да умом не дошел любопытствовать, узнать, что же то название (слово) обозначает? – корил сам себя Иван. – Даже обидно...

А историописатель Ремезов – тот и любопытствовал, и записал, добре записал. «...Летом, как тамошние татары сказывают, пал с неба камень на дорогу, видом кругл, красен, человеку по пояс. А в подъеме пошевелить с места надо человек седьма. Когда его с места пошевелят, и тотчас буря великая восстанет и дождь велик и силен бывает целые сутки и для того слово Ташаткан...»

Сказанья стародавних лет! Сколь прелюбопытны они для историописателя. Не зря Ремезов собирал их с тщанием и премного и в первом и втором описаниях.

От же, хотя не самовольством, а по указу, по грамоте великого государя сочинял «Описание о Сибирских народах и граней их земель», а собрал для сего случая изрядно сказаний татарских сказаний, историй про чудеса, разные видения. Видно прислушивался к слову народа всякого. И ты, Иван, слушай, вникай, думай, памятьуй...

...Шелестели, шептались меж собою страницы старого писания... Иван читал и словно видел, как наливались багрянцем, стали кроваво красными воды Иртыша и берега, потом начали темнеть, темнеть и ушли в черноту, в ночь. А с неба спускались огненные столпы прямо в реку. Мчались по воздуху в облаках воины светлые, крылатые...

Сие предвещало падение Кучумова ханства. Так толковали в народе.

Историописатель Ремезов почел нужным записать сии толки-сказки и даже назвать иных сказителей. Много татарских историй рассказал ему (Ремезову) Мурза именем Девлет-бей. Жил он на Панином бугре в городке Бацик-Гмура.

Да, чудесных историй тут было собрано предостаточно, только успевай – читай...

Чудеса-чудесами, сказки-сказками, а были во втором писании Ремезовой статьи по письменным известиям да по увиденному своими очами об обычаях, вере, одежде, еде, платье, оружии разных народов Сибири, о разделении на языки, о межах их земель.

Ивану премного интересно было почитать в Писании сем об остяках, вогуличах, татарах, калмыках и иных Сибирских народах. Особенно любопытно было Ивану прочесть Ремезово описание о вогулах. На Вогуловской земле стоит Верхотурье, куда доводилось ино доставлять клади и господ курьеров.

О вогуличах Ремезов записал: «Вогуличи собою возрастом средня, волосов не бреют, ...бегают же от соседства в даль в темности лесов на единство житии, как и ныне живут в малопроездных местах. Имеют веру: боготворят древа и кусты... Грамоты и законы не имеют, обычаем скаредственны, ко имению не стяжательны, упадчивы и ленивы, диковаты. Оружие их лук и стрелы. Ездят на конях и скотом довольны. Кумиру платье делают от кож звериных и скотских. Рыбы же у них в скудости, дорогих зверей промышляют у жилищ, в диких лесах по Каменю в своей земле...»

Нашел Иван в писании статью «О грани и межах всей Сибири». Как песня читались слова во славу Сибири в «Уподоблении Сибирской страны»: «...Воздух над нами весел и в мирности здрав и человеческому житию потребен... Земля хлебородна, овощна и скотна, опричь меду и винограду ни в чем скудно. Поче всех частей света исполнена пространством и драгими зверьми бесценными. И торги, привозы и отвозы превольны. Рек великих, заток и озер неизчетно: рыб изобильно, множество и ловитвенно. Руд, золота и серебра, меди, олова и свинцу, булату, стали, красного железа и укладу и простова и всяких красок и шелка, и камней цветных много... И от иноземцев скрыто, а сибиряном неразумно...»

Иван читал и перечитывал эти строки. Они захватили его, как может захватить хорошая песня, брали за душу. И он как песню твердил слова писания.

Было завистно, и радостно. И горделиво думалось: и ты, сын Сибирской земли. Жаждалось прославить ее – сию землю.

Сын боярский – старый Ремезов будто протягивал руку ямщицкому сыну-ямщику Ивану Черепанову, передал свое перо...

И в тот час в горницу вошла Анна, Аннушка, вот такая, какой он видел ее в последний раз в лесной избенке. Коса растрепалась, глаза заряные и улыбка такая, будто повинна в чем Аннушка перед Иваном. Время не тронуло ее. Она протянула руку и сказала «бери Ремезово перо, бери...» Иван рванулся к ней, и она исчезла, растаяла в рассветном луче, а может сама стала лучом...

Боль прорезала сердце. Эта боль жила в нем все время. Видно потому он не мог подобрать себе пары, жениться. Брат Кузьма выговаривал: пора завести семью, не в бобылях же вечно жить.

Верхотурье

Дорога шла по берегу Туры. Стенами подымались на увалах черномошные сосняки, повитые сизой дремью. Меж ними будто заблудились светлые березы. В темном окоеме разослали яркие зеленыя болота, высеребрянные солнцем сизые оконца озер. Нехоженные, почти нетронутые земли...

Иван любил прогоны на Бабиновой дороге, а Верхотурье. Почитай все ямские знали: в давние поры дорога из Руси в Сибирь шла через Вешеро-Лозвинский волок, до верховий Лозьвы, где поставили городок Лозьву, а с Лозьвы-реки водяной же дорогой по Тавде до Тобола реки и далее вниз. Долог, труден был этот путь.

Соликамский посадский человек Артемий Бабинов, в просторечии Артюшка, проведаль новую более удобную дорогу – с верховий Туры. Дорога эта была почти вдвое короче и шла по сухопутью. Содеялось сие еще при царе Федоре Ивановиче – последнем Рюриковиче. И по царевой грамоте велено было ему – Артемию Бабинову, стать «вожжем» на той новой дороге, вместе с пососными людьми чистить тракт, ссекать пенье с кореньями, заломов не оставлять, строить мостки на малых речках, буераках... И дорогу прозвали Бабиновой. В ту же пору по царской грамоте, в лето 1697 от Рождества Христова, повелено было поставлять для бережения новый город в верхотурьях Туры – Верхотурье.

Верхотурье – город проезжий, торговый, ямской, город-таможня.

Ивану было прелюбопытно познавать все, что касалось до истории тех мест, куда приводила его ямщичья дорога. И дознавался-таки...

Орлиным гнездом встал в верховья Туры город на крутой Камень-горе – Троицком камне, что навис над рекой. Тут без надобности было ставить городовые стены для береженья. Ибо место и без городской стены всякого города крепче. По преданию в стародавние, древние времена тут стояло вогульское городище Неромкара. Название его сохранила речка Неромка – приток Туры.

...В лето 1697 Лозьвинскому воеводе Ивану Трахиниоту был прислан царев указ о том, что «Лозьвинскому городу вперед не быть и быть разорену. А на Верхотурской дороге быть новому городу». В том же указе повелевалось послать на Верхотурье стрельцов с Лозьвы для городского дела и для строения.

Через год начали ставить на горе Верхотурский острог, воеводский двор, съезжую избу, церковь Живоначальной Троицы и иное строение.

Храм стоял на самой вершине горы, прозванной Троицким камнем.

Иван невольно залюбовался храмом... – восьмерик на четверик с золоченым пятиглавием на вытянутых барабанах, увенчанных луковками и шатровой колокольней – гляделся на камне куда как файно.

Потом на Верхотурье поставили государев гостиный двор, поначалу деревянный, а спустя время – каменный, с двадцатью семью лазками, сводчатыми палатами для торговых гостей.

Для торговых же гостей была учреждена таможенная застава с караулами при Бабиновой дороге.

...Новому Верхотурскому острогу на крутой Камень-горе не довелось отражать натиск немирных соседей.

Его сторожевые башни, казалось, были нацелены на новый тракт на Руси в Сибирь, к Туре. Не прошел бы с товарами обоз, не проскочил бы возок торгового гостя, минуя Верхотурье. О сем пеклась, дозорила Верхотурская таможня – недреманное око государево и ее застава у начала перевала через Камень. Им надлежало «засечь накрепко, дабы отнюдь конным людям прозду, а пешому проходу по иному пути не было».

А новая дорога звенела бубенцами, голосила на все лады бухарями, гремками, бормотунчиками, гомонила колесами, полозьями, лошадиным ржаньем и топотом, окриками ямщиков... Шло по ней движение немалое – и государево, и торговое.

В царских грамотах наистрожайше наказывалось почитать сей тракт наиглавнейшим через Каменный пояс из Руси в Сибирь.

Мчали по тракту царевы гонцы с указами, грамотами, воеводские посыльные с отписками, доношениями. Катили на возках, каретах персоны разного чина, бежали почтовые ямские тройки, тянулись обозы с государевым хлебным и иным жалованьем. Шли пашенные крестьяне – переведенцы, работные, гулящие люди, нанимавшиеся к купцам переносить грузы, тянуть лямки судов по Туре и далее. Но больше всего тут проходило обозов торговых гостей с разными товарами: скобяными изделиями, кожевенными, сукнами и иными тканями, мылом, мало ли чем...

Да, товаров и торговых гостей Бабинова дорога перевидала премного. Но Иван заметил: тут как в присказке – по усам текло, а в рот не попадало. На Верхотурьи торговые гости товары свои не торопились выкладывать. Чаще дожидались таможенного досмотра, да в пору осеннего раскалья – первого морозца, по весне же – ледохода на Туре – чистой воды или доброй дороги по суху. Верхотурье было для них городом проезжим, «прохожим», своей торговли

гостеньки тут не разворачивали, товары везли далее на восход, где поглуше и мягкой рухляди поболее.

Своих же – верхотурских купцов было мало, торговали они не в гостинном каменном дворе, а в деревянных лавках на посаде, на торжке, торговали по мелочи.

Город жил наезжими торговыми гостями.

Иноземные ученые путешественники в своих писаниях называли Верхотурье Воротами в Сибирь. Ворота ли, проезжий двор?

Таким оно было – Верхотурье – со своей таможенной заставой, гостинным двором, гамом-шумом, лошадиным хрипом, купецкой и ямщицкой суетой в наезжую пору и сонной тягучей тишиной после отъезда торговых гостей.

Ивану интересен был сей город, притягивавший народ со всей Руси. И когда доводилось наезжать сюда (а доводилось не часто – оказией), было прелюбопытно ходить по улицам Верхотурья, заглядывать в церкви, гостинный двор.

Ныне – в летнюю пору тут было малоллюдно, тихо. Лишь несколько купцов из Ярославля, Вятки дожидались таможенного досмотру. Остальные отбыли со своими обозами по доброму сухопутью на восход или сплавили товары Турой на стругах, дощаниках, каюках...

...Близ городских ворот стоял царев кабак. Знаменит был сей питейный дом своими питухами. Еще в прошлые лета верхотурские служилые люди, казаки, ямские охотники в том кабаке пропились и от государевой службы отбыли, разбрелись врозь, пашенные крестьяне от того же кабака одолжали и обнищали.

На сие доношение государь ответил разгневанно: де верхотурские воеводы не радеют о кабацких государевых доходах и нехотя с леностью служат. Повеление было не кабак снести, а больше заботиться о продаже вина людям проезжим, чтобы верхотурскому кабаку никакой порухи не случилось и государевой казне недобору.

Вот уж полста лет стоит, рубленный в чашку обло, почернелый, скосбоченный, а стоит. Может и горел при великих пожарах, да отстраивался быстро внове. Ни огонь его не берет, ни гром, ни молния. Стоит на утешение государевым сборщикам податей, на горе-горемычное простого люда. Стоит. Недаром же в народе сложено: без вина – одно горе, с вином – два. Кабака не минуешь, коли приехал в город. Да Иван и не мыслил миновать его. Тут также, как в Тобольске: кабак все знал. Со всей Руси вести слетались сюда.

...Как и в других кабаках, а перевидал их Иван немало, тут было чадно, дымно, душно. Стены кабацкой горницы почернели. Слюдяное оконце скудо пропускало свет – ни день, ни ночь. Да за чарой оно и не видно.

Целовальник, свирепый с виду, глазастый мужик, усторожливо следил за кабацким застольем. За его спиной по стене на полках выстроилась в ряд, как солдаты по ранжиру, питейная посуда: ендова, осьмуха, полуосьмуха, мелкие птахи-чары.

Перед прилавком стоял питуха и сыпал прибауткой:

– Эх! Первую пить – здорову быть, вторую пить – ум веселить, утроить – ум устроить, четверту пить – неискусну быть, пятую пить – пьяну быть, чара шестая – дума большая...

– Чару пить – здорову быть, повторить – ум развеселить, утроить – ум устроить... – поддержал целовальник.

– Аз есмь хмель, высокая голова, болий всех плодов земных, – прогудел, прислушивавшийся к прибауткам дьячок.

– Болий не болий, а чару душа запросит, как поглядишь-послушаешь, что вокруг деется, – молвил чернобородый мужик со шрамом на лбу.

Иван подсел к нему, пригубил чару и соседу предложил.

Тот покосил усторожливо глазом, но продолжал разговор с узкогрудым, цыганистым парнем. Передавал вести с Мурзинской слободы. А вести были черные, горестные.

На ту Мурзинскую слободу прислали приказчика. И был тот приказчик уж больно ретив для своей бездельной корысти. При надзоре за пашней, сборе недоимок чинил унижения, до разору довел мужиков. А когда те противиться стали, велел кату пороть, да не плетью, а кнутом, в рассоле моченом, и солью же присыпать битые спины. А после за баб взялся. Разоболокал до нага и тоже кнутом... Не выдержали мужики, схватились за драколье, прогнали стражников, а Левонтия-приказчика повалили наземь, затоптали до смерти. И разбрелись врозь. Но заводил сего непокорства – Степку Крянку и Тимошку Носова поймали. Сказывают, каленым железом пытали, кости на дыбе ломали, требовали назвать всех возмутителей, зачинщиков непокорства. Не назвали. Так и померли в пытошной избе. Не назвали. Силен мужик!

– ...Приказчик-то персона малая. Одного загубил – другого нашлют. Да и воеводе иль самому губернатору замену найдут. Тут по-другому, по-иному надо... – задумчиво, будто сам себе сказал цыганистый парень. – Тут народ поднять, народ...

– Ноне, таких вестей насобирать можно не мало, – вплелся в разговор тот, кто прибаутками сыпал.

– Вона на Нейве-реке на железном заводе мужики всем миром поднялись. В Рудной слободе, в Аромашевской тоже мужики за дреколье взялись... Нет больше терпенья терпеть... Нет! А третьего дня, – заторопился прибаутошник, будто опасался, что его не дослушают, а досказать ему надо было – сердце

просило – дорожный человек за сим столом рассказ вел: на суконном дворе на Москве, что против Кремля, уявляешь, не за Камнем – у нас в Сибири, а на Москве, работные люди воспротивились, за топоры взялись. Нут-ка...

...Иван в разговор не встревал, больше слушал. И хотя вести сии были не в новинку, ныло, болело, гневало сердце. Мыслями он был в тех дальних, глухих селах. Он видел мужиков, что поднялись с топорами, дрекольем на своих утеснителей.

И как всегда, в горький, трудный час, когда щемило сердце, к нему пришла Аннушка. Она болела его болью, жгла его гневом. Они вместе стояли у тел казненных в пытошной избе парней, Тимоши Носова, Степана Крянки, будто породнились с ним...

Иван огляделся: суровые лица, впалые глаза. А в глазах хмурость, гнев, огонь...

– В Невьянской, толкуют, человек один объявился. Назвался сыном Стеньки Разина. И ходит он среди людей, печником сказывается, печи добрые кладет о двух дымоходах, песни красные поет про своего батьку Стеньку Разю, и зовет мужиков, работных людей бить своих утеснителей, всех окаянцев, всех под корень, под корень! – мужик со шрамом, зажал в руке хлебный нож и вжикнул над столом.

Даже в плотном сизом дыму кабацкой горницы было видно, как блестят, жгут его глаза, и голос, хоть шепотный, жег. Его слушали.

– Сын, говоришь, Стеньки Рази? сын? – спросил цыганистый парень. – А сам то Разя, люди бают, тоже жив. Восемьдесят годов минуло с той поры, как казнь ему учинили на лобном месте, на Москве. Только голову то срубили не ему, а иному. И он-де Стенька соколом обернулся, взлетел в небеса, покружил над Красной площадью и был таков. Подался к нам за Камень, в Сибирь. И поныне жив. И ходит в народе. Может и сын с ним ходит.

– А я слыхом слышал – два сына у него, у Стеньки Разина. И оба в Сибири, – отозвался кто-то.

– Может, и два, а может, и поболе. Может счета нет – сынам тем.

Казнили иль нет Стеньку Разина? Жив иль нет он? А только думку – полегчить жизнь народу, порушить утеснителей – ту думку казнить не можно. Жива в народе та думка!

Кто сказал сии слова? Чернобородый со шрамом на лбу иль тот худущий с лицом угодника, а может это сам Иван вместе с Аннушкой так подумали. Да не они одни...

...Понизу Верхотурья, под горою рядом с Ямской слободой, меж речками Калачиком и Свягой стоял мужской монастырь во имя Николы Чудотворца.

Старинный был монастырь. Основал его поп Иоан Пошехонец. Строен из заемного леса, мирскою дачею...

Иван, когда бывал на Верхотурье, любил заглядывать к Николе-чудотворцу – в монастырскую церковь.

Ныне монастырь славился мощами святого Семиона Праведника.

...Шла молва: На Свяжском погосте обвалилась могила. Из обвала вышел гроб. В том гробу лежало неведомо чье тело. Потом, в ночь тамошнему кузнецу Петьке Трифонову было явление. Мол, тот неведомо кто, встал из гроба и сказался мастеровым человеком. Ходил де он ранее по деревням, работал портное, шил шубы с нашивками хомяка. Болел тягостно чревом от воздержания в еде. Всяк ден постился. А имени своего не назвал. Да погода явился снова к кузнецу Петьке Трифонову и назвался Сенькой портняжкой, Семионом...

И такое же явленье было женке Варварке из Калачинского погоста.

Вот так и дознались, что в гробе на Свяжском погосте лежали мощи Симеона Верхотурского Праведного, в миру Сеньки Портняжки. И почитал его простой черный люд, голытьба, потому понимал, что есть работа, как своим горбом хлеб добывать, кормиться.

Многих богомольцев привлекал сей Симеон Праведный. Шли с Верхотурья, Туринских, Тобольских, Тюменских посадов, деревень. Шли богомольцы больше простого, подлого званья – мастеровые, работные люди, пашенные крестьяне. Шли и просили явить чудо, полегчить жизнь, исцелить хворости.

Помогал иль нет Симеон Праведный, Сенька-Портняжка? А верили свято, что явит чудо.

Иван и на сей раз не обминул монастырского подворья.

Вызванивал большой колокол. Густой медный звон плыл над кельями, над слободой, тонул где-то в реке, лесах. Золотились хлипкие огни свеч в притворе.

У паперти Иван увидел: на ручной тележке лежала женка. Длинная, светлая коса растрепалась, выползла из-под плата. Лицо женки было в темной сини кровоподтеков. Набрякшие веки тяжело прикрыты... Тело недвижно. Руки, ноги будто прикованы, прибиты к раме тележки и, казалось, умерли... Казалось, жизнь ушла из тела.

Над жинкой склонился высокий, могутный мужик в рваном кафтане и трое малят.

– Аграфена, Аграфенушка! – звал он. – Мы до Семиона дошли, Аграфена, Аграфенушка, до Симеона Праведного.

Женка медленно, трудно подняла веки. И такая боль, тоска была в глазах. Ивана полоснули по сердцу эти глаза. Он мимо воли остановился и спросил:

– Из далека?

– Из Ташминской слободы. Приписные мы, к железному заводу. Женку-супружницу привез на исцеление к Симеону... Хворь? Какая хворь, спрашиваешь, приключилась? А приключилась. Меня уголь жечь угнали в лес. А ей, Аграфене, стало быть, хозяин повелел в хоромы на услужение идти, да к на постелю к себе восхотел взять. А она воспротивилась. Он ее разоблок до нага, привязал к столбу и бил смертным боем, пока жилы не перебил. Лишилась она рук, ног, языка. Одни глаза остались. Рассказать про обиду и то не может, люди рассказали. И на людину, на женку уже не схожа. Изувечил все нутро. Загубил. Браты говорят, кака она теперь тебе жона, брось. А я не могу. Люба мне, любя... И вот привез до Симеона, – снова повторил он и с надеждой поглядел на Ивана. – Может исцелит? Пособит избыть горе-горькое? Будем молить...

– Молить-то моли, – неожиданно вмешался нищеврод, прислушивавшийся к разговору. – Только утеснителя, обидчика молением не примешь. Не одна твоя Аграфена загублена. Тут... – нищеврод не договорил, примолк. А потом шепотом: – Молвят люди, сыны Стеньки Разина ходят по Сибири. Ходят и кличут людей, восстать на утеснителей, обидчиков народных, – жарко шептал он. – Мужики, мастеровые ждуд часа. Ты думай, разумей...

– Сыны, говоришь, Стеньки Разина? – переспросил мужик. – Ждуд часа. – И надежда, и угроза была в его голосе. – Ждуд часа...

«Гляди-тко, и на монастырском подворье толкуют о Стеньке Разине, его сынах – подумал Иван. – Сколько их сынов Разина, ныне ходит по Сибири? Кто наг, нищ, гневен на утеснителей – тот и сын. Гневен народ...»

Семинарский учитель

На обратном перегоне на Верхотурья Иван вез семинарского учителя словесных наук и философии Якова Волынского. Он появился в Тобольске лет пять-шесть назад вместе с другими семинарскими учителями, коих вытребовал для учрежденной при архиерейском доме духовной семинарии митрополит Антоний Нарожницкий из Малороссии – из города Чернигова.

Слыл Яков Волынский вельми ученым мужем, закончил Киево-Могилевскую академию, сам наставлял отроков в Черниговской семинарии. Из всех наезжих семинарских учителей был он самым открытым сердцем. Любил поговорить и людей послушать, любопытствовал как живут тоболяки, заводил знакомства, часто хаживал на торговища, не чурался чары. Во хмелю был бодр, речист, красноглавлив. Со старшим Черепановым – Кузьмою – познакомился еще в ту пору, когда семинарские учителя только появились в городе. (Кажись, Кузьма и привез его из Верхотурья).

Волынский нередко заходил к Черепановым, смотрел книги, делил застолье в ямщицкой семье, вином, яствами угощался, приносил, показывал свои книги, иные из семинарской библиотеки заимствовал. О книгах учитель рассматривал как о живых, о людях.

– Без книги, как без души, – любил говаривать Волынский. Он-то открыл доступ Ивану в семинарскую библиотеку.

Учителю нравился этот чудной парень-ямщик. Он так жадно тянулся к свету знания, книге...

– Вот ты – ямщик, сын ямщика, простого подлого сословия человек, твое дело кнут да лошадь. Я – выученик духовной Киево-Могилянской академии – разумеешь, что сие обозначает – Киево-Могилянской... А с тобой, как равный с равным речь веду. Потому у тебя, Иван, разум к знанию тянется, как пчела к нектару цветка. И сердце широкое. И с тобой – простым ямщиком – мне интересу больше поговорить, чем с иным ученым семинарским мужем... Разумеешь, Иван?

Такой случился промеж них разговор. Вернее, не промеж них: говорил один Яков Волынский, а Иван Черепанов слушал...

...Ныне учитель возвращался из посылки в Санкт-Петербург. Вез с собою изрядную кладь – тюки с книгами для семинарии.

В ямском трактире успел пригубить чару-другую, был весел, речист и разговлял, как всегда в таких случаях, ридною украинскою мовою.

Едва уселся в возок, сказал:

– Отже-ж, хлопче! И для тебя с Кузьмою маю подарунок. «Описание Сибирского царства» Миллерово.

– Миллерово?! – переспросил Иван. Того самого Миллера – профессора академии, что отобрал у Федора Пименова Ремезово писание?

– Того самого, – подтвердил Волынский. – А чего дивуешься? Десять рокив по Сибири мандрував тот профессор, кажуть, и оженився тут у вас, в Верхотурье. Вдовицу лекареву взял.

– То правда... Слыхал...

Черепанов припомнил: лет восемь, а может поболее назад шли толки о сей миллеровой женитьбе. Не каждый-то день профессоры академии из Петербурга женятся в Верхотурье. Да Ивану в тот час невдомек было до Миллера...

А Волынский успел-таки расспросить у памятливых знатцов-старожилов, как содеялась сия свадьба.

...Профессор возвращался из своего дальнего ученого вояжа в Санкт-Петербург. Вез его из Тобольска в Туринск, Верхотурье ямской Васька Ягельной – дружок Кузьмы. Он то рассказывал. В дороге оплела Миллера хворь – простудная горячка. Болел он тяжко, едва не смертно. И выходила его лекарева

вдовица в Верхотурье. На той вдовице он и оженился. В народе сказывали (он – народ – все знает!): вдовица та статью не видная, на одно ухо туга – через рожок слушает, а сердцем красавица. В приданое только дочку малолетку принесла. Не каждый бы на такое приданое польстился... Отже-ж, хлопче, не каждый, – повторил Волынский. – Мабуть тут дійсно любовь кохання було. Чудо из чудес в нашем житти, дарованное людыне..., – задумчиво сказал он.

«Чудо из чудес, – с болью подумал Иван, – а я чудо то не смог уберечь. Не сберег Аннушку...»

– Миллер-то, Миллер, – продолжал Волынский, – пасторский из Ганзейского городка Герфорда в Вестфалии. Ты, Иван, и не уявляешь, що це за городок. У нас на Руси таких нет. И не довелось побывать в тех местах. Дюже аккуратный городок, там все вымерено, подстрижено, от кустика до биения сердца... Аккуратные, почти все на один манер домики, с выложенными цветной черепицей крышами, небольшими оконцами с цветными занавесками. Аккуратные, один на другой похожие палисаднички, с одинаковыми круглыми клумбами в одинаковых маргаритках. Ты, мабуть, Иван, и маргариток не бачив и названий таких не знаешь... Маргаритка – кругленькая, вдоволенная собою, розовая... Там, можно сказать, с колыбели, с молоком материнским сынки впитывают: в жены, в супружницы необходимо брать невинную розовую деву – медхен, девственницу, одним словом маргаритку, с приданным кругленьким. А пасторский сынок – Герард Миллер – он же парубком тодди був, ни разу не женатым, взял соби вдовицю, да еще с дочкой малолеткой! Какого!!! Уявляешь, он мужик видный, росту с тебя, в плечах – маховая сажень, файный мужчина. Она пичуга рядом с ним, а очи мабуть чаривни були, очи... – Волынский вдруг поморщился, резко повел плечом, будто отмахивался от кого-то. – Да, что нам до той жинки, ее очей. Воистину развезло меня грешного... Господи, помилуй... Нам Миллер, его «Описание Сибирского царства» нужны, а не вдовица та. Кто он есть Герард-Фридрих, а по нашему Федор Федорович Миллер? Кто? – голосисто спрашивал, надвигаясь на Ивана, семинарский учитель. – Кто? Я, хлопце, иных иноземцев не очень жалую, сколь зла принесли нам они пришлые при царице-тиранше лютой Анне Иоановне!! На сердце зарубина... Да только-то немец немцу рознь. Не все одним миром мазаны. Есть которые с большой пользой Руси служили и служат ныне, великое произрастание наукам творят. И Миллер из тех немцев, что пользу несут. Правда, занозлив, строптив вне меры, зато в науках старателен, дело свое любит, душу, сердце в него вкладывает. И многое сделал для истории Сибирской... Мыслю, для него – для Миллера – Русь, Сибирь отчей землей ныне стала. В Сибири-то ученым мужем стал. Он же вьюношем, парубком двадцатиричным – элевом – суть студентом в Санкт-Петербург прибыл, когда академию только учреждали по завещанию царя Петра.

Наверное, как многих юнг-меншей, молодых парубков из немчин, его распяляли рассказы про выгнанного из Йенского университета нерадивого студента Генриха Иогана Остермана, ставшего на Руси вице-канцлером. Мыслию: в вице-канцлеры Миллер не загревсья, а пот библиотекарисум академии мриял стать... Только в житти содеялось, вышло инакше. Для него, для Миллера, Сибирь ученой купелью обернулась. Тут вин почуяв, побачив як она творилась история. Видкрыв величезный лан – поле архивов, архивных документов и спас их для науки. Тут вин може перший з ученых мужей читав листы стародавних столбцов, вдыхал запах тех стародавних лет, слушал голоса минувлого життя... Це ж счастья. И я мрияв – мечтал про таке счастья для себя, да не вышло, не вышло... – голос Волынського дрогнул...

Позванивали колокольцы коренной. Лошади шли ходко. Опускался вечер. Длиннее становились тени. Въехали в прогал, прорубленный для тракта в тайге. Поплыли назад косые темные стрелы елей, сосен...

А учитель все говорил. Будто ямщицкая езда, звон колокольцев заморозили его, и он не мог замолчать, вспоминал Санкт-Петербургские свои оказии.

Иван правил лошадьми, слушал. Ему виделось: рядом с Волынским сидит плечистый человек в напудренном парике с косицей. Спесивый, гордовитый... Казалось, повернешь голову и столкнешься с пытливым миллеровским взглядом.

– Кто он есть – Герард Миллер? Кто?

...Миллер – он не ангел, нет, не ангел. Мужик нрава крутого, спильчивого. Горяч и зол на слово, драчлив, умеет врагов себе наживать, мастер на сие. Умеет и польстить гордыне неких высоких особ, согнуться перед ними в поклоне. И сие умеет... Мыслию: для нас есть два Миллера. Один ревнитель к произрастанию наук на Руси, великий труженик, сумел своротить в Сибири гору архивную, спасти для науки, для истории драгоценные свидетельства нашей старины, нашего життя в минувлом, спасти архивы. Это и подвиг, дийсный подвиг. О Миллеровом подвиге скажут еще потомки наши. Скажут, подъякуют... А другой Миллер – спесивый немчин, искатель милостей у баронов Строгановых и иных высоких особ, скупой сердцем – не пожелал помочь нашему студенту Степану Крашенникову, говорят даже под батогами его держал. Сего не можно ему простить... Для нас есть два Миллера. Ученого – принимаем, дьякуем, а заискивателя милостей высоких лучше и не згадывать, не вспоминать...

– Да как же не вспоминать, коль он так трудился? – удивился Иван, – Как?

А Волынський все вспоминал, вспоминал. Видно, питерские впечатления, как он говорил, вражжения, уж очень волновали его и ему необходимо было излить душу...

– ...Послухай, хлопче, що в нашій академії де сиянс твориться. Там знакомец мой – землячок-черниговец Грицко Шапран канцеляристом обретається. Все розповив – розказав мені. Уявляєш, – учитель порывисто приподнявся с сиденья, короткое, грузное тело его покачнулось, – уявляєш, там над всей академией, над всеми учеными мужами, взял команду советник канцелярии, чиновничья душа – библиотекарьс Йогашка... Шумахер – в прошлом студент-недоучка Страсбургского университета. Грицко Шапран сказал: его, Шумахера, с университета погнали, в науках был скуден, зато постиг науку лизать зады высоким персонам, заискивать – подлещуваться, запобегаты. Кривовертлячья душа... Таких иноземцев не переносу. И своих таких землячков – тоже. Вот ему – недоучке, злохитроственному приводчику отдана под смотрение вся академическая наука. А там в академии ученые с мировым именем Эйлер, Бернулли, Гмелин да и наш Михайло Ломоносов в учености не поступится. Он выживает неугодных ему, суперечливых ученых, пристраивает своих людей. Ученые мужи зовут его *lagellum professorum* – бич профессоров. Це така птыця! Гляди-ко: сменялись главные командиры академии наук – президенты Кейзерлинг, за ним Блкментрост, его сменил барон Корф, Корфа – Разумовский. Сменялись цари, шатались троны. Несменяем был только Шумахер. Для всех президентов умел он делаться необходимым человеком, у всех снискивал благосклонность. Ловок человек, до чего ловок. Нос по ветру, угодливый поклон...

Волынский склонил голову, попытался угодливо, по-шумахерски повести носом, улыбнуться, но не получилось, лицо стало свирепым, впору детей пугать. Не получилось...

Иван рассмеялся.

– Нос по ветру, знаешь, как сие делается? – спросил Волынский. – Ты, хлопче, мабуть чув про брауншвейгскую принцессу Анну Леопольдовну, правительницу России, хоть юнаком-несмышленьшем тогда був.

– Слышать – слыхивал, да так, мимоходом, а жить-то живем при императрице Лизавете – дщери Петровой.

– Так послухай, хлопче, мимоходом и еще разок мимоходом, – Волынскому видно пришлось по душе это слово. – Мимоходом и зробр ленно все було. По завещанию императрицы престрашного з року Анны Иоановны российским императором стал трехмесячный сын брауншвейгской принцессы Анны Леопольдовны. Ця принцесса племянницей царице доводилась. А правителем России при младенце-императоре стал поначалу, тоже по завещанию, любовник царицы – Бирон. Потом, когда Бирона прогнали, мать трехмесячного императора – принцесса брауншвейгская Анна Леопольдовна – говорит, баба с куриными мозгами. Так вот той правительнице Йогашка

Шумахер поднес с низким земным поклоном в подарок роскошную книгу, называлась она «Палата Санкт-Петербургской академии наук» и посвящалась правительнице России Анне Леопольдовне. На пышном фронтосписи рисован летящий Гений с грамотою в руке. А на той грамоте написано: «Петр начал, Анна совершила». То б то понимай: царь Петр Великий задумал основать академию наук Российской, а правительница Анна Леопольдовна с курячими мозгами совершила. Уявляешь: Анна совершила!?!

Учитель хохотнул, да так громко, что лошади запрядали ушами.

– Уявляешь, Иван, – повторил он. – Да только хитрый Шумахер на сей раз плохо разрахував – рассчитал. Правительницу России гвардейцы скинули с трона вместе с ее младенцем-царем. На российский престол взошла Петрова дочь Елизавета. Для Шумахера сие было великой неприемностью и конфузом. Имя Анны с посвящения было спешно выскоблено и на его месте отгиснуто: Елизавета. Ну, а Минерва – богиня мудрости, покровительница наук была так же не похожа на Анну, как на Елизавету... И верноподданный лизоблюд Шумахер поднес сию книгу императрице Лизавете. Вот так, хлопче, нос держат по ветру... Вот такая кривовертлячья душонка правит Российской академией наук де сиянс. Ныне, сказал мне Грицко Шапран, академия в такое несостояние пришла, что никакого плода приносит. Уявляешь – представляешь?

Он спрашивал у Ивана, у тайги, проплывавшей вдоль дороги, у неба...

– А президентом академии ныне – граф Кирилл Разумовский. Цей граф в нашей Черниговщины, можно сказать, земляк, с хутора Лемеши. Батько сего графа Грицко – Григорий, простой казак, прозван был Разумовским не за то, что мав великий разум, а за то, що выпимши – под хмельком, под бахусом любил говаривать: «Що то за голова, що то за розум?» От сией присказки и пошли Разумовские... Нынешний президент академии – граф Кирилл в дитинстве пас волов. А йтого старший брат – Алексей Григорьев – тоже граф, камергер, генерал-фельдмаршал был певчим в церкви. Красавец собой, голосистый. Его увезли в придворную капеллу, а дальше, как в сказке: красавца певчего полюбила царевна Лизавета, Петрова дочь, тогда бесправная; говорят, даже тайно обвенчалась с ним. А взошла на трон, стала императрицей, возвеличила казака-певчего Алексея и его родню. Молодшего брата Разумовского – Кириллу императрица отправила набираться разума и образованности за границу.

Гувернером к нему приставили питомца Киевской духовной семинарии Теплова. Я трошки чув, трошки знаю що це за птыця – Теплов. Тому абы в высший свит пролезть, зробить карьеру. Он спивае италийскою манерою, грае на скрипци, знае «политес», вмие чаровать высоких дам... Он то и стал наставлять будущего президента академии наук за кордоном, кажись в Париже, Берлине. За два-три года, под доглядом Теплова, Кирилл провзошел науки,

получил льстивые, купленные дипломы о своих талантах. А когда вернулся в Россию был назначен президентом Российской академии наук. Было тому президенту тогда восемнадцать годков. Наставник его Теплов стал ассесором академии. Теплов сдружился с Шумахером. У них видно одинаковый погляд на життя, юнец Разумовский ни во что не вмешивался. А в академии сыр-бор шел, свары, шумства, роптания...².

В такую пору, после своего сибирского десятилетия Миллер вернулся в Петербург. Но академия де сиянс не встретила его с распростуртыми объятими. Поначалу было у него много огорчительных обстоятельств. Канцеляриат отказался печатать Миллерову сибирскую историю.

Профессор пожаловался президенту Разумовскому. Грицко Шапран рассказал мне про сию жалобу: Миллер писал, что трудился на пользу Российской державе. И то было истинно. «Неужто, – вопрошал он, – мои писания только червям на еду пойдут?» Вот так... У меня аж сердце болью отозвалось на сии слова... – голос Волынского дрогнул.

И у Ивана тоже сжалось в груди: столько трудов потрачено и червям на еду!

² Произвол, своекорыстие, злоупотребления, «злоковаренные измышления» Шумахера возмущали многих в академии. В голове обличителей стал любимым токарь Петра I Андрей Константинович Нартов – талантливый изобретатель, умелец. В академии он ведал инструментальной мастерской, называвшейся «особой механической экспедицией». К Нартову присоединился профессор-астроном француз Делиль, несколько переводчиков, канцеляристов, студентов. Среди недовольных значилась фамилия адъюнкта Ломоносова, вернувшегося в 1741 году в Петербург из «научения» в Германии.

В январе 1741 года Нартов подал императрице Елизавете в Сенат жалобу на «злоковаренные измышления», казнокрадство, своеволие советника канцелярии Шумахера. Елизавета откликнулась и отдала приказ о назначении следственной комиссии. Шумахер был отстранен от дел и даже заключен под стражу. Правителем канцелярии стал Нартов. Но токарь оставался токарем. Он мечтал превратить академию в огромную мастерскую, выпускающую нужные стране инструменты, приборы – астролябии, компасы, оптику, весы и т.д. «Умствования» иноземцев казались ему негодными. Он предложил оставить по одному профессору и одному адъюнкту на каждую науку. Остальных ученых мужей отстранить от академии. Опечатал архив ученых бумаг, шкафы географического департамента.

Ученые мужи всполошились, подали жалобу в следственную комиссию на Нартова. А следственной комиссии только того и надобно было. Члены сией комиссии были всецело на стороне угодливого Шумахера. У него было немало влиятельных особ-покровителей.

И хотя следователи вынуждены были признать Шумахера виновным в «хищении казенного интереса» – казнокрадстве, но объявили, что «все доносители показали ложно из злости», потребовали для них плетей, батогах, ссылки, взяли некоторых доносителей под арест. В делах Сената по академии наук сохранился список взятых под арест доносителей. Среди них значился «адъюнкт Михайло Ломоносов».

Императрица повелела освободить всех доносителей от наказаний, а Нартову быть у прежнего дела.

В академии же все осталось без перемен. Шумахер по-прежнему «держал команду» над академиками, «остался в своей воле», преследовал негодных, поддерживал, поощрял угодных, точнее угодливых ему. Среди негодных были Михайло Ломоносов и Герард Миллер. А они, в свою очередь, воевали друг с другом.

Профессорский корпус по-прежнему раздирали «несогласия». Многие профессора оставили Россию. Среди них Делиль, Гмелин, Вильде, Крафт.

В такую бурную, смутную для академии пору, видимо, для «покровления дел в науке» в академию был назначен новый президент – восемнадцатилетний Кирилл Разумовский, а его наставник Теплов стал ассесором академии. Шумахер остался в своей воле и быстро «спелся» с Тепловым. Оба они стали фактическими хозяевами-властителями академии.

Президент не внял миллеровой жалобе, зато прислушался к поклепам Шумахера и Теплова, издал указ о переводе профессора Миллера в адъюнкты «в рассуждении его – миллеровых многих предерзостей и крайнего беспокойства».

Много разных провинностей насчитал президент и канцеляриат Миллеру. Но, полагаю, самая тяжкая была в том, что он членов канцеляриата попрекал, жалобу на них принес, на самого Шумахера, самого Теплова. В президентском приговоре указывалось: «Он, де, Миллер, недельными своими измышлениями творит предусудительства и затруднения и тем самым отводит от настоящего дела, через что пропадает академическая честь и польза и тратится напрасно время и интерес». Подписал тот приговор президент граф Кирилл Разумовский, а сочинительствовали Шумахер и Теплов. Миллерова история Сибири увидела свет только через шесть лет, в июне 1750 года. Книгопродавочная палатка академии продавала книгу профессора Миллера, а в академии служил адъюнкт Миллер...

Канцеляриат да и иные профессора корили Миллера за то, что на Сибирской ученой экспедиции он, пользуясь немалым иждивением, ничего много не привез, кроме собранных в Сибирских архивах копий со стародавних грамот, челобитных и разных канцелярских дел.

– А сие самым малым иждивением можно было получить через указы правительствующего Сената, не посылая его, Миллера, – сказал, будто прочитал Вольнский, и добавил: – вот так и написали канцелярские пацюки. А то все неправда, лжа, поклеп. Миллер, он-таки премного, презнатно попрацював – переработал, помыслил, пока нашел, отобрал сии грамоты, указы. Я-то знаю, какие в архивах сибирских порядки, как зябко, тяжело работать там в сырых, промозглых камерах, где ноги, руки, все тело коченеет, бумаги архивные обросли пылью, источены червем, изгрызены крысами... А Миллер днями и ночами просиживал там и при минливом светце разбирал стародавние писания. Нелегкая то была работенка... А джеж вин був закохан в ти стародавни паперы. Разумиешь, хлопче, закохан? влюблен?

Иван розумив, понимал: кохання-любовь...

– Сколько документов спас он – Миллер – для науки, для истории! Каждая такая бумага – драгоценность. Канцелярские служки, по сенатскому указу такого бы не сделали. Никакой указ не помог бы им. Тут око ученого надобно, да такого, что пристрастится к делу, закохал...

Привез Миллер из Сибири великий клад неоценимое сокровище, дороже злата... Почитаешь, почуешь, если живет в тебе кровинка к историописанию...

Только злые козни канцеляриата – Шумахера, Теплова еще не все.

Миллерова история подняла великую бурю и в ученом мире. Многое в ней было не в обычай, удивляло, сердило – так историосочинители до сих пор не

писали. Из Сибири Миллер привез тьму архивных папер. И жаждал вместить как можно больше древних актов, грамот, доношений в свою книгу. Жаден он до архивы, жаден. Он чаял подкрепить архивой, документом каждое известие об историческом происшествии. Пусть читатель своими очами увидит, как содеялось описанное происшествие, как творилась история. Да, он влюблен, закохан в памятники, в стародавние архивные письма. Ему жаль расстаться даже с древним указом, отпиской, челобитной из архива. И он до жестьчи дрался за них. Коллеги Миллера по академии – ученые мужи корили его за то, что он наполняет книгу, как им казалось без нужды, архивными копиями, разными мелочами. Такие документы в книгах были не в обычай. А Теплов и Шумахер заподозрили Миллера в хитрощах, в обмане. Де, копии из архивы он поместил дабы наростить число листов, инако книга надлежащей величины не имела бы...

Не знаю, не ведаю, кто в споре сием прав, но добре розумию, понимаю историописателя Миллера, как ему жалко, обидно, больно выкидывать из своего писания сии архивные документы, тяжким трудом добытые, розумию – понимаю жадность его, страдание... Розумию, як можно быть влюбленным – закоханным в сии стародавние паперы, часами просиживать над ними, дышать дыханием давно минувших дней. Это я понимаю, добре розумию... – Волынский захлебнулся от волнения, замолк, а потом тихо, шепотно, будто стесняясь самого себя прошелестел: – Розумиешь, хлопче, иной раз я будто вижу, як вин могутный, плечистый сидит у себя в доме, в ночи, согнувшись в три погибели, над яким-нибудь архивным папером, отобраным тайком домой, читает, читает с насолодой – наслаждением, будит свою Анхен: «послушай только, послушай, постарайся понять, как писали в те стародавние времена, слушай, майн герц – мое сердце, как это звучит: «По обе стороны Камы реки места пустые, леса черные, реки и озера дикие...» Я же все это видел, видел... И Анхен слушала, старалась понять, а может только делала вид, что слушает, понимает... Так чи не так оно было, а мне кажется, что так...

Волынский сочно рассмеялся: – Так-так... Да сей немец влюблен, закохан в нашу сибирскую старину. И в сем счастье – доля для человека. Доля...

– ...Много роптаний, критики услышал Миллер от Михайлы Ломоносова. С Миллером он был не в согласиях, часто вступал в спор. Господа профессеры говорили: Ломоносов будто создан самим господом-богом для того, чтобы вести баталии с Миллером. Уявляешь, хлопче: оба – мужики-великаны, саженого росту, широки в плечах, силой не обижены, таким в гренадеры шагать. Говорят, за Миллером гонялись вербовщики короля Фридриха для постдамской гвардии, а Ломоносова даже обманом завербовали в Пруссии. Оба горячи, спыльчивы, многорумны, драчливы. Но Ломоносов роптал, наводил критику на Миллерову историю Сибири без ков, не как Шумахер, а дельно, радел душою за книгу...

...Ермак, Тимофеев сын... – сколько ученых копий поломано о сие имя? Великомудрый муж, военначальник, що поклонился Сибирию Российской державе, и ...атаман воровских казаков, грабувавших, зоривших купецкие бусы-корабли, шарпавших даже государеву казну! Как поеднать сие в одной персоне? В своей истории Миллер называл казаков ворами, грабижниками, необузданными-невгомонными в своей вольности. Он писал: Ермак де не почитал за прегрешения разбои, воровство своих казаков.

Михайло Ломоносов выразил свои несогласия с Миллеровым писанием. «О сем деле должно писать осторожно, – сказал он, – и Ермаку, в рассуждении завоевания Сибири, разбойничества не приписывать...» Но упрямец Миллер поклонялся факту, не захотел умягчить свои изображения. Или вздумалось Миллеру описывать, как некий пушкарь Ворошилко, посланный для пробы рассолу, заводил плутки, воровства, блудодействовал с чужими женками, портил девок и иное непристойное творил. Михайло Ломоносов почел недостойным печатать описание сего, ибо по сему примеру о всех бездельников описывать должно, когда сочинитель довольно других знатных дел и приключений иметь может... И я так мыслю. Вот тогда-то Ломоносов сказал: много Миллеров надобно и тысячи лет, чтоб все мелочи описать. Прав, прав Ломонос... – и Волынский завел речь о профессоре академии де сиянс Ломоносове.

– Михайло Ломоносов... горжусь тем, что живу в одночасье с ним. Горжусь, почитаю! – почти выкрикивал учитель. – Чуешь, хлопче, яки слова вин молвил, чуешь: «Не описаны еще дела моих предков и не воспеты по достоинству Петрова великая слава. Простирайтесь в обогащении разума и в укреплении Российского слова». Понимаешь, хлопче?! – разумеешь? Это, как молитву можно повторять, я и повторяю: «в пространной моей державе неоцененны сокровища, которые натура обильно производит, лежат потаенны и только искусных рук ожидают. Прилагайте крайнее старание и естественных вещей познанию!» Чуешь, хлопче! Чуешь! Ци слова в сердце у меня проросли. И ты, Иван, сердцем, душой обойми! А какие стихи, оду во славу нашей земли сочинил де сиянс академик! Читал? Чув?

Нет Иван не чув, не читал.

– Так слушай, слушай. – Волынский вздел руки:

Возри на горы превысоки,
Возри в поля свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет,
Богатство в оных потаенно
Наукой будет откровенно...

– говорил Волынский в распев, будто читал с листа. Ивану чудился этот лист из книги:

...Пройдите землю и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И гор Рифейских, и вершину,
И саму высоту небес,
Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет...

И слова эти звучали над трактом, как песня. «Так о земле нашей сибирской Семен Ремезов писал» – так... – подумал Иван. Он поднялся в рост, натянул возжи:

– Эх, орлики!

Пыль не успевала оседать за колесами и возок плыл, мчался будто в облаке.

Уплывала иглистая стена тайги, уплывали слепящие зеркала озер. Только солнце обгоняло тройку...

Эх, орлики!

Описание Сибирского царства

На первой, начальной странице книги, даренной семинарским учителем Семену было начертано:

«Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел, от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии времена»

Сочинено Герардом Фредериком Миллером, историографом и профессором университета Академии наук и социетета Англинского членом

Книга первая

В Санкт-Петербурге при императорской академии наук 1750 года. Волынский назвал сию страницу титулом.

Титул книги! То добре! Титул носят знатные персоны. А книга – она, может, знатнее знатной персоны. И титул свой несет достославно. Даже наподобье родового герба был тут – виньет Сибирского царства, сработанный мастером Иваном Соколовым. Богине мудрости Минерва снимала покрывало с земного шара, в том месте, где начертана Сибирь.

Предисловие в книге было писано советником академии, библиотекарисом Шумахером.

Иван припомнил: Волынский рассказал про сие предисловие. Написал его поначалу Миллер, как оно и надлежало, да Шумахер отвел и сам сочинил.

Иван столь был наслышан про оного Шумахера, что вознелюбил, не видевши ни разу, и представлял злобного, с завидущим оком, юркого сего человечка-досадителя. Сколь крови то выпил он ученым мужам и

историописателю Миллеру, а ныне вылез наперед с предисловием в книге, кою хотел загубить.

Начиналось предисловье с посвящения державнейшей императрице, всемилостивейшей государыне Елизавете Петровне, достойной продолжательнице достохвального предприятия своего державного отца – Петра Великого.

Далее шло описание заслуг действительного камергера лейб-гвардии Измайловского полку подполковника, орденов польского Белого Орла, святого Александра Невского и святыне Анны кавалера графа Кириллы Григорьевича Разумовского, «чьим радением по приведению в порядок собранных в Камчатской экспедиции известий, с великим иждивением оные печатаются для народного знания...».

Как тут было не вспомнить: учитель Волынский по-иному о сем президенте рассказывал...

Дальше глядеть Шумахеровы упражнения в предисловии не захотелось. Лучше сразу за Миллерово писание взяться.

...Историописатель повел за собой вот так же, как Ремезов, открыл дверь в минувшее, стародавнее.

Иван читал и дивился – завидовал – заздрил, сколь великие архивные клады сумел собрать в Сибири ученый немец для своей книги, хотя Волынский рассказывал про сие богатство.

Кажется, все сибирские города принесли на страницы Миллеровой книги свою дань, свои архивы. Акты, царевы грамоты, жалованные указы, отписки воевод, боярских детей и иных служилых людей, челобитные людей разного чина, экстракты из ясачных книг, росписи о строении городов... Чего тут только не было...

Иван знал: из толстенных, пудовых, обросших пылицей столбцов архивы, до которых, казалось, и дотронуться было боязно – раздавят, удушат – перекочевали, переселились сии старинные бумаги на страницы Миллерова писания, напоили его, дали силу. Казалось, документы сии вели писателя за собой. И он шел за ними, как добрый, справный солдат за своим командиром.

Со страниц книги разговаривали, подавали голос Российские цари, сибирские воеводы, служилые люди разного чина...

«...И мне б Григория Строганова пожаловати велети б ему на том месте городок поставить собою... и около того места лес по речкам и до вершины, и по озерам велети сечи, и пашни, росчистя велети пахати, и дпори ставити, и людей велети называть, и в том месте велети росолу искати, а где найдетца, и соль бы ему тут велети варити...»

Это голос царя Ивана Васильевича – мужа чудного рассуждения, в науке книжного научения довольного, в ярости удобь подвишного, по естеству жестокосердного, на пролитие крови дерзостного, неумолимого, прозванного в народе Грозным...

Иван слышал разговоры ученых монахов о сем царе – своем тезке. Дьявол и ангел жили в нем, пир правили. И вот в книге печатана его грамота, писанная дьяком...

Были тут грамоты сына Ивана Васильевича – Федора – постника, смирением обложенного. О мирском же, попечение за него имел боярин Борис Федорович Годунов. И о Годунове был наслышан Иван. В народе многое помнили и знали.

Прелюбопытно было читать грамоты на Сибирь уже повенчанного на царство Бориса Годунова – сладкоречивого, хитроумного, и властолюбия ненасытного... «...В лето 7108 года были царю Борису челом вогуличи с Большой Конди реки на остяцкого князца Ичигея Алачева. Тот князец со своими людьми приходил в вогульевские юрты, разорил да их, и животы все поимал, а жены и дети, люд и племя к себе взял в холопья. И живучи у Ичигея, они с работы, и с нужи, и с голоду, и с наготы и босоты вконец погибли и помирают чужною смертью. И нынче де князя Ичигея люди приходят на Конду и пустошат юрты. И они де вогуличи от убийства и от насильства живут бегаючи...»

Царь Борис прислал Березовскому воеводе гневную грамоту и строго наказывал сыскать накрепко того Ичигея. И чтоб впредь от Игичеева люди в Большую Конду воровски не ходили и вогулич не били, насильства им никоторого не чинили... А которые учнут впредь воровать, быть им от нас в великой опале, – грозился царь Борис.

Иван читал и будто видел челобитчиков – пограбленных, нищих вогуличей с Конды, дьяка Нечая Федорова, за крепкою коего писана была грамота, и самого царя Бориса, что простер свою длань на дальнюю реку Конду...

А далее в Миллеровской истории голос подали томские служилые люди – Богдан Терской с товарищи. В челобитной царю Михаилу Федоровичу они сказывали, как несли они царские службы зимние и летние, летом о две конь, и в проезжие станицы и зимние походы и дальние посылки на лыжах недель по десять. «И голод, и нужу всякую терпим, и з голоду, и с ознобу помираем на твоих царских службах... И нам, государь, холопам твоим з женушками и з детишками прокормиться нечем, твоего царского хлебново жалованья на год не доставляет. ...И в тех, государь, твоих царских службах мы, холопы твои, обнищали и одолжали великими долги, и в долгах, государь, на правеже живот свой мучим, а откупиться, государь, с правежу нечем...»

Кусок жизни доподлинной запечатлели страницы сии. Стоном стонал народ. Иван читал, и вместе с Богданом Терским, со товарищи нес царские службы зимние и летние, с дву конь, пробирался по таежным дорогам, топям, ходил в зимние походы – в дальние посылки на лыжах – недель по десять. Терпел вместе со служилыми людьми озноб, нужду, голод, лошадину с голоду ел. Обнищал, одолжал, на правеже живот свой мучил.

Дивна, удивительна была сила старой челобитной из столбцов архивы. Эти строки, как живые, дышали, вели разговор, стоном стонали, вопляли о нужде, голоде, тяготах людей. Дыхание минувших дней... Казалось, документы из архива сами творили историю.

Чем дальше читал Черепанов Миллерову книгу, тем больше крепло в нем ощущение, будто он совокупно с историописателем не просто читал готовые обсервации, а мыслил, рассуждал об исторических известиях вместе с ученым мужем...

Миллер полагал: зачин Сибирскому летописанию положили скаски старых Ермаковых казаков про Сибирское взятие, про Ермака и его polegших сотоварищей, записанные по велению первого Сибирского архиепископа Киприяна Старорусенкова в поминальный синодик, составленный по его же – Киприяна наказу³.

Каждую православную неделю в Соборной церкви Сифии Премудрости по Синодику поминали, кликали вечную память Ермаку Тимофееву сыну и его убиенным сотоварищам... Об этом Иван знал, да и сам не раз слышал, как в православную неделю поминали в церкви по Синодику Ермака и его polegших в брани казаков. Слышать то слышал, да не додумался. А вот немчин Миллер – наезжий человек уразумел: сие писание, или как его называли «Письменное известие» в казачьих сказках и Синодик – зачин всему Сибирскому летописанию. Записан со слов тех, кто очами своими видел, ушами своими слышал, тяготы похода на себе вынес – ермаковых казаков – сотоварищей Ермака. От сего первого писания о Сибирском взятии родились, пошли Сибирские летописи.

Иван приметил: Миллер не раз поминает в своей книге летописца-дьяка архиепископского двора, слогатого человека Савву Есипова, яко от корня историков Сибирских. Только ученый муж ложно полагал, что летописец Савва жил в одночасье с Ермаком, все видел своими очами. То суцая лжа. Не жил Савва Есипов в Ермакову пору, не видел Ермака. Очами своими видели

³ В 1621 г. была учреждена особая Сибирская Епархия, а в Тобольске открыта Сибирская епархиальная кафедра. В Тобольск прибыл первый Сибирский архиепископ Киприян Старорусенков, бывший архимандрит Спасо-Хутынского Новгородского монастыря, поставленный Сибирским архиепископом, самим партиархом Филаретом – отцом царя Михаила.

достоверные – соратники Ермаковы, а Савва только записал их сказы в свою летопись. Человек слогатый он, но не бывалые ведомец. И все-таки от корня историков сибирских...

О дьяке Софийского двора – Савве Есипове, или как его звали тоболяне – Осипове, слыхал от деда и древнего дедова дружка. Много повидал сей дьяк на своем веку. И в Речи Посполитой побывал, и на Малой Руси, и в Соловецком монастыре жывал, пока случай не забросил его за Камень – в Тобольск. Был он весел душой, балагур, изрядно бражничал, во хмелю был свиреп, злословен. Никого не щадил, самого архиепископа. Сказывали, преосвященный налагал на него эпитимьи, на цепь сажал в Софийское училище, однако держал при себе. Учен был человек, смыслом мудр и к писанию старателен... И про Ермаковых казаков рассказывал, тех, что остались еще живы в дедовы времена. Обретались они в монастыре, были ниши, сиры, убоги, кормились милостыней...

Особенно доверял Миллер писанию Семена Ремезова. «В ней многие приключения обстоятельнее перед прочими летописями списаны», – возвещал ученый муж и летопись сию называл особенной, драгоценным сокровищем и многие происшествия заимствовал из Ремезовой истории в свою книгу.

Сие было очень приятно читать Черепанову. Семена Ульяновича Ремезова он почитал своим учителем, хотя никогда не видел.

Канцелярист Шапран сказывал учителю Волынскому, а Волынский Ивану: просил Миллер академическую канцелярию разрешить напечатать Ремезову летопись приложением к своей истории, как документ особый. Да она канцелярия воспротивилась ему. Выставила свой резон: де в той летописи много лжей явственных, непристойных басен, от коих след оные очистить, особливо осмотрев...

А что станется с летописью, коли ее учнут чистить. Те сказки, предания – куски ее плоти, вырвать – по живому телу. Строганный верстовой столб вместо живого дерева останется. Кому потребно живое дерево, тому обрубленный столб без интереса...

А он – Иван – ищет живое дерево, живое слово... Как и в ту пору, когда он открыл для себя Ремезово писание, его охватила тревога, томленье по своему начатому и заброшенному писанию. Он даже не знал, начало ли то – короткие записи услышанных в ямских избах, на торговищах рассказов бывалых людей, ведомцев... Но это были заботы его сердца и ума.

Иван завидовал сему ученому мужу – чужеземцу Миллеру, его знаниям, настырности, трудолюбию. Ревновал его к родной земле. Душа зашла в ревности, горечи. Пришлый немец написал такую книгу про Сибирь! Едучая боль сжала, стеснила так, что и дышать трудно... Самому бы сотворить летопись Сибирскую... Не ямщицкое то дело, скажут иные. И впрямь мало учен, но буду

учиться, настырно учиться, буду следовать историописателю – профессору академии Миллеру и природному тоболяку, первому своему учителю Семену Ульяновичу Ремезову.

Писать про стародавние происшествия, про Ермакову дружину, Сибирское взятие и про нынешнего времени дела, на его, Ивана Черепанова, глазах произошедших...

Даже название легло на бумагу.

«Летопись Сибирская от вступления в поход атамана Ермака Тимофеева, которым сия страна покорена Российской державе и всех произошедших в сей стране древних и по нынешнее время бывших делах».

Написал и сердцу вроде стало легче, вольнее вздохнулось. Знал: теперь будет писать, доведет дело до конца...

...Историописатель Миллер, как солдат за командиром, шел за архивным документом. Иван Черепанов шел за Миллером, след в след, тоже как солдат за командиром, переписывал строка в строку знакомые, не раз читанные Миллеровы писания, но иной раз оглядывался, свое слово вставлял. Писал, видел, словно наяву, Ермака Тимофеева «в нуждах непоримого, к смерти бесстрашного».

<Иван Черепанов в первую (свою летописательскую) пору шел за Миллером, Симеоном Ремезовым, дьяком Савою Есиповым ему вслед тоже как солдат за командирами.

Переписывая строка в строку знакомые, не раз читанные Миллеровы, Ремезовы писания. Писал, но иной раз оглядывался, свое слово вставлял, видел словно наяву, Ермака Тимофеева, «в нуждах непокоримого, к смерти бесстрашного».

Будто встал на Иртышском крутоярье, повел крутым плечом, зашагал по берегу, знакомый, не раз виданный, человек... Плечист, осанист, черен бородою, прекудряв. Глаз внимательный, острый, далече видит. Были у него сила, спех, храбрость. Был он «человечен, зрачен и всякой мудрости доволен». Таким запомнился он сподвижникам, таким рисовал его Семен Ремезов, таким увиделся он и Ивану Черепанову.

А рядом удалые, к смерти бесстрашные атаманы: первый в Ермаковых думах и сече Иван Юрьевич Кольцо, Иван Гриза, Матвей Мещряков, Богдан Брезга и рядовые казаки Ермаковой дружины...>

Таким запомнился он сподвижникам, таким рисовал его Семен Ремезов. А профессор академии де сиянс Миллер не мог примириться с прошлым казачьего атамана. Иван прочитал глумливые миллеровы строки и тут же подумалось: «В народе сказ идет: черному люду, голытьбе, тем, кто жил в скудости, нужде Ермак помогал чем мог, не жалел ни хлеба, ни злата, коли были у него. Не зря нищоброды на торговище пели про то, как Ермак вызволил из-под плахи атамана

казачьей голытьбы Стеньку Разина. Песня не зря соединила сих мужей-работборцев, хотя жили они в разные поры. Народ – он всю правду знает. А правда пребывает вовеки... Хорошо написал Семен Ремезов: “В житии ничто же не стоятельно и ничто же не утвердительно, но все прилагательно: от утра до вечера день пременяет, горняя бо несуть долу, но дольняя – гору, лишь правда пребывает вовеки...”»

Иван с гордостью думал, что преславный Ермак, открыватель и покоритель Сибирской земли, был такого же простого, подлого сословия, как и он – ямщик Черепанов.

Люди сказывали: дед Ермака был посадским человеком, отец Тимофей извозом кормился, ямщикил. Ямская работа – она силу человеку дает, жизни учит...

Иван погрузился в трудное, суровое, удалое казачье житье. Вместе с Ермаковой дружиной шел на стругах по Чусовой, быстрой горной, скупой на воду Серебрянке. Помогал ставить запруды из парусов, чтобы ход был стругам, помогал тянуть волоком суда с реки на реку, с болью в сердце оставлял струги и весь груз взваливал на плечи на берегу мелководной Баранчи.

Иван видел спустя сто лет эти брошенные ермаковы струги, поросшие березой. Удивительное то было зрелище: деревья в судах.

<Помогал строить новые струги на таежных берегах Тагила. И на этих новых судах вместе с Ермаковой дружиной Иван переправлялся вниз по Тагилу в Туру, из Тура в Tobол, Иртыш (места были зело знакомые)>.

...И мнилось ему: вместе с дружиною он храбствовал в жаркой сече с войском хана Кучума под Чувашом, вошел в брошенную ханом Кучумом столицу – неприступное горное гнездо Искер – город Сибирь. Ходил в походы в верх Иртыша, переживал бурную, горозовую ночь в устье иртышского притока Вагая, оплакивал гибель Ермака Тимофеича и его казаков...

Ермаковы казаки... Иван Черепанов часто задумывался об их судьбах, какая сила привела их в тяжкий поход. *<Они были ему как родные братья.>* Болел сердцем: пошто имена стерло время?

В Есиповой Летописи, у Ремезова, в Миллеровой истории нет имен рядовых казаков...

И вспомнилось: имена тех рядовых казаков, положивших свои жизни с Ермаком, значатся в Православном Чине-Синодике, куда включались и «анафемы» – противники Православной церкви и «вечная память» тем, кто прославил ее.

<По велению первого архиепископа Сибирского Киприяна в храме Сифии Премудрости божия имена polegлых ермаковых казаков кличут в церкви в православную неделю.>

Иван <пошел в соборную ризницу, благо ризничный был дружен с братом Кузьмой, и > переписал в свою Летопись тридцать пять имен казаков, polegших с Ермаком. И каждое то имя было дорого, свято для него.

Внес в свою Летопись эти имена и на душе вроде светлее стало. Будто долг отдал, будто родных братьев назвал, память об их жизни воскресил.

Слово, обретенное, посеянное по белому бумажному полю, закрепленное на бумаге, закрепляло жизнь людей...

Текло, текло время. Уносило бытие людей, их думы, их чаяния. А белое поле бумажное имело силу продолжить жизнь человека, рассказать с его деяния и крепче цепи железной приковывало к себе Ивана Черепанова. Текло, текло время.

Новыми записями наполнилось поле Черепановского зошита. Все дальше уходила от него Ермаковская пора. И от Миллеровых, Ремезовых писаний он отходил, правда, с оглядкой, но отходил. Осмелело его перо. Начал записывать погодно то, что сам видел, помнил и то, что рассказывали знатцы, ведомцы о днях ушедших и нынешних...

А иной раз удавалось порыться и в архиве тобольской губернской канцелярии, когда его – ямского охотника, как грамотея, привлекали к переписи податного населения Тобольской губернии и сочинения ревизских сказок. Сочинял он ревизские «сказки», а с иных «сказок», указов, грамот списывал для будущей своей Летописи.

«Что есть История и что оной достоит признавать?» – спрашивает Иван Черепанов в предисловии к своей Летописи и сам отвечает на поставленный вопрос: «Ко истории надлежит все то, что во свете делалось и нынче случается и оное на письмо потом нам оставлять...»

Полковник Новицкий

В ризнице Успенского собора хранилось немало священных книг и неких писаний.

Старший брат Кузьма был выборным старостой Михайло-Архангельской церкви (чем премного гордился), вел дружбу с самим ризничным Успенского собора – отцом Варфонасием, был вхож в ризницу. Иной раз Кузьма приносил книги, писания домой почитать. Так, принес он писание некого Григория Новицкого.

Иван, конечно, припал к нему.

...Двадцать пять зошитов-тетрадей (Иван сразу перечитал) по четыре листа в каждой. Всего сто листов в сем писании. Бумага разная – видно, голландского и российского дела. На иных листах филигрань: гербовой щит с

коронай поверху. По бокам щита – львы... Чей герб – пока не дознался... Тетради сшиты, обернуты в картон с кожаным корешком. Рукотворная книга.

Иван листал страницы зошитов-тетрадей, всматривался в почерк, старался представить человека, водившего пером по этим тетрадным листам, писавшего сии скорбные строки... Называлась рукотворная книга пространно: «Краткое описание о народе остяцком в пределах полнощных царства Сибирского обретається с некоторым того же государства особеннейших вещей ведением, и наипаче о житии, обычаях и пребывании сего остяцкого народа тожде их прежнем злосчастии – кумирслужения и обращения в православную благочестивую христианскую веру»⁴.

Отец Варфонасий, охочий до разговору, рассказывал о сием историописателе и той поре, когда он жил. А пора была именитая, петровская, их величества императора Петра Алексеевича, после знаменитой же Полтавской виктории над шведами, над их каролусом – Карлом XII, величавшим себя непобедимым.

Тогда-то царь Петр поставил первого Сибирского губернатора – громкой славы персону – князя Матвея Петровича Гагарина, да полоняников-шведов в Тобольск направил. Может, не их величество самолично, а князь Гагарин расстарался для своей корысти. Понеже было среди полоняников немало умельцев искусников в разных ремеслах – ювелиров, часовщиков, ткачей, резчиков по дереву, кости, но больше всего по каменному строению.

Шведов прибыло в Тобольск с тысячу. А сдавалось, они заплонили весь город. Куда ни глянь – швед. На горе – на Троицком мысу – шведы строили, под горою – земляные работы вели – рыли канал. На подворьях, в избах разные мастерства завели – ткали обои в золотых и серебряных цветах, чеканили по серебру, меди, резали по дереву, кости дивные украшения для гагаринских палат. Все умельцы у князя были при деле...

О сем первом сибирском губернаторе князе Гагарине Иван, как и все тоболяки, был наслышан премного. Отец помнил, как люди обер-фискала

⁴ Иван Черепанов – первый из русских авторов использовал в своей «Сибирской летописи» - «Краткое описание о народе остяцком» Григория Новицкого, можно сказать, открыл ученому миру России это замечательное сочинение.

Известный русский историк Н.Н. Костомаров так отзывался о труде Новицкого «Живучи в Сибири он (Новицкий) оставил по себе замечательное сочинение о Сибири, отличающееся богатством сообщаемых сведений и наблюдательностью автора».

Все исследователи Сибири говорили о значительности сочинения Новицкого. По времени это первое специальное сочинение о народах манси и ханты и вообще истории этнографии Сибири.

«Краткое описание о народе Остяцком» датировано автором 1715 годом, а издано было в России лишь в 1884 году, то есть спустя 169 лет. Но в Западной Европе с ним познакомились гораздо раньше. Пленный шведский офицер Иоганн Мюллер, отбывавший ссылку в Тобольске, переписал почти полностью текст сочинения Новицкого, не назвав настоящего автора, напечатал в 1720 году в Берлине. Материалами «Краткого описания о народе Остяцком» пользовались и другие иностранные авторы. Но имя Новицкого оставалось неизвестным.

сказывали в городах Сибирской губернии, что он – Гагарин – плут и недобрый человек и в Сибири ему губернатором не быть. И еще шепотный ходил слух, будто замыслил князь в высокой гордыне своей отбить Сибирь от Руси, сробить ее царством самим по себе...

Отец Варфонасий будто прочитал думки Ивана, сказал:

– Ныне-то всем ведомо: князь Матвей Петрович закончил свое земное житие на виселице, поставленной по приказу царя Петра на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. А была пора: князь пребывал в силе, славе, в фаворе у царя.

Под началом Гагарина строились шлюзы, каналы меж Волгой и Доном. Семь лет трудился Гагарин на том поприще, сказывали, построил двадцать семь шлюзов. Царь был доволен князем, назначил его начальным человеком Сибирского приказа. Согласно царскому велению Гагарину надлежало именоваться генерал-президентом и Сибирских провинций судьей. Минул год и Сибирских провинций судия, по воле Петра, стал комендантом Москвы, а потом Сибирским губернатором.

В Сибирь первый губернатор прибыл с великими пышностями. За каменным поясом, в Верхотурье пересел со своей свитой с лошадей на струги, обшитые по бортам червчатыми сукнами и на сих пламенно алых судах плыли по Туре, Тоболу, по пути принимая депутации. В Тобольске с царскими роскошами обставил свои палаты, разъезжал на лошадях, подкованных серебром, в раззолоченной карете, пил, ел с золотой посуды. Закатывал знатные пиры, щедро раздавал награды угодившим ему приближенным, щедро обирал сибиряков. Хитил из государевой казны премного, легко расточал, любил карать и миловать, распорядиться жизнями людей. Но большого острого ума, изрядной учености был человек.

Иван слушал и прикидывал: знал иль не знал отец Варфонасий Гагарина, видал иль только по чужим спогадам сказывал? Был-то он в ту пору отроком. Сказывал же Варфонасий так, будто видел, знал. И ныне в его рассказе казненный царем вельможа гляделся по-иному.

Не только хитителем государевой казны, заворуем, разорителем сибирян был князь Матвей Гагарин. В Тобольске он оставил и иной след. Его радением стольный город Сибири был приукрашен новыми каменными строениями. При нем был достроен каменный город на горе – Кремлевская стена, губернаторский дом, каменные арки-ворота с рентереей поверху. При нем же был прорыт канал из Тобола в Иртыш для бережения от наводнений. Кажется, он жаждал, чтобы его не только боялись и подчинялись, как власть имущему, но чтобы им любовались, почитали... Кажется, он красовался, любил лицедействовать на своем губернаторском троне. Кажется, кабы не был знатной персоной, князем,

вельможей, стал бы великим лицедеем, комедиантом, имел он талант комедианта.

А каким ретельным хозяином был, как сумел использовать умение шведских полоняников! И когда в Тобольске появился изрядной учености ссыльный – Григорий Новицкий – и его приставил к делу...

В ночной тиши, склонившись над зошитам Новицкого, Иван вспоминал все, что слышал, узнал об этом человеке, его судьбе.

...Был Новицкий казачьим полковником из Малороссии, служил в войске гетмана Мазепы. Супруга его – Ирина состояла в близком родстве со знаменитым в гетманской Украине генеральным писарем Мазепы – Филиппом Орликом. Можно сказать, корнями повязан был с гетманом. А после Полтавской баталии не успел или не захотел покинуть родную землю, пойти блукать за Мазепой в чужие края, кажись, в Туретчину. Как там было дело, неведомо. А ведомо было только, что принес Новицкий повинную царю Петру и выслан в Сибирь. Так она, судьба обернулась, и бывший казачий полковник из Малороссии стал ссыльным поселенцем града Тобольска...

Полковник был учен в Киево-Могилянской коллегии, знал латынь. Его заметили губернатор и Сибирский митрополит Филофей Лещинский⁵. Прибывший ранее в Тобольск с Украины – ученый муж, тоже питомец Киево-Могилевской академии, бывший эконо Киевско-Печерской лавры, земляк бывшего полковника. Был митрополит ревностным распространителем православной веры среди полуночных инородцев – остяков и вогул.

Филофей приблизил к себе земляка, взял в свою духовную миссию.

Миссия, во главе с самим архиепископом, отправилась на полночь в низовья Иртыша, Оби, где обретались остяки и вогулы, пребывающие в слепоте идолослужения, коих святым отцам надлежало приводить к познанию и поклонению истинного бога – крестить.

Преосвященный Феофей действовал по цареву указу – уговором, ласкою и жесточью...

Новицкий писал, что проповедникам слова божия надлежало «крепкие нечестия столпы и основания их низринуть...»

⁵ Петр I издал в 1700 году указ, в котором повелевалось назначить для Сибири на должность митрополита «пастыря не только доброго благого непорочного жития, но и ученого, который сумел бы «пребывающих в слепоте идолослужения и прочих, закоснелых в неверии людей, приводить в служение и поклонение истинному богу».

Таким пастырем стал Филофей Лещинский (в схиме Федор) – бывший эконо Киевско-Печерской лавры, назначенный Сибирским митрополитом. О просвещенном Филофее Новицкий писал: «...На престол Сибирский митрополии его же, всероссийского императора повелением, Киево-Печерские чудотворные Лавры эконом избран, преосвященный Филовей, митрополит Сибирский, и егда первое нача в здешних сибирских пределах проповедать и умножать благочестие, искоренять зловерие их идолопоклонение».

А тому, кто принимал крещение без роптания, выдавали из царской казны кафтан белый, рубаху и хлеб по рассмотрению... Но роптали многие, роптали с бурей...

В Бурейновых юртах «возъярившийся народ, похитивши луки, стрелялы, копия, пищали начаша стреляти и трех проповедников смертью уязвили, а самого в проповеди первого в чрево ударили».

В Нахрачевых юртах, где стоял «иссеченный на дрова идол, начальствующий там державец – шаман Нахроч Евплаев, созвал множество предстоящего народа и все с яростию взираша на проповедника и рекли: “Ласкательством своим хотите отвратить нас от древния веры нашея и от древле почитаемого нами помощника, разорить, сокрушить. Но все трудитесь. Зде все главы наши положим, сего же сотворите вам не попустим. И бысть тут весь день и ночь молва и прения”. А главный шаман, державец идола – Нахроч Евплаев – злобообразный, черный, с горбом на персях и плечах, моления приносил в чистилище, як млад телец рыкая, ... безумное сие творяши моление».

Три года кряду казачий полковник с Украины вместе с архиепископским притчем нес слово божие, как он писал, в полночные пределы царства Сибирского – низовье Оби в остяцкие юрты. И за повелением княжеской светлости губернатора Сибири князя Матвея Петровича Гагарина сочинил сие «Краткое описание о народе Остяцком» в 1715 году.

В посвящении Новицким было сказано: «Тщанием сиятельнейшего князя Матфея Петровича Гагарина, губернатора царства Сибирского проповедью же трудолюбивого благочестия праведника и учителя преосвященного архиерея Федора Схимника⁶.

На второй странице рукописи помещено десятистишие в честь герба князей Гагариных.

Сиятельный князь – губернатор Сибири Гагарин и преосвященный праведник – архиепископ Филофей Лещинский рьяно радели о распространении христианской веры в полуночных пределах царства Сибирского.

Царь Петр I даже особым указом отметил ревностность архиепископа Филофея в обращении инородцев в православие и пожаловал грамотой.

Только иные из новообращенных в христианство продолжали тайно поклоняться, молиться своим идолам, приносить им жертвы, дары частые и немалые. «Сим частым жертв приношением идолопоклонники в премногую приидоша нищету и крайнее разорение, яко чад и жон своих продаваху заимодавцам своим», – писал Новицкий.

⁶ Филофей Лещинский пришел в монашескую схиму, в схиме поименован Федором.

Архиепископ учредил особую для полуночных пределов Сибирской губернии должность духовного надзирателя за крещенными – остяками, вогулами, как они исполняют христианские обряды.

Григорий Новицкий был определен в духовные надзиратели над новокрещенными остяками в Кондинскую волость.

И еще отец Варфонасий рассказал, как к Новицкому приехала из Киева супруга Ирина.

Иван не видел Киева, но по спогодам знакомых черкас⁷ представлял этот полуденный, со златоглавым Софийским собором, в зеленых кущах, вишневых садах великий город на холмах, над рекою Днепром. И из такого города, изнеженная полковничья жена – пани Ирина, отправилась с попутным обозом в Сибирь – в Тобольск, и из Тобольска дальше в полуночную Кондинскую волость к своему супругу.

Ирина! Иван уявлял, представлял ее то чернобровой, статной, кровь с молоком молодой, красавицей-богатыршей, то тоненькой, как былинка, невеличкой, бледнолицей, похожей на Анку, с такой же горячей душой, готовой босой идти по снегу, по пламени к своей вере, к своей любви или, как говорят украинцы – коханию.

Ирина! – Иван заморожено повторял сие незнакомое, нечастое в Сибири имя.

Она прибыла к супругу своему в лето 1717 года и в том же году Новицкий погиб. Встретились ли они, свиделись ли?

Его погубил шаман Нахрacha Евплаев – державец Нахричевских юрт – главный служитель идола. Был тот идол иссечен из дерева, со злообразным лицом, как и сам шаман злообразен, черн, имел горб на персях и плечах.

Так описал Григорий Новицкий идола и его шамана в последней главе своей рукотворной книги.

А через два года люди сего Нахрачи (он, вестимо, ведать не ведал о писании Новицкого) не только посадили нож в надзирателя, но и уволокли тело его в глухое таежное болото и потопили.

Ирине не осталось даже могилы, чтобы приникнуть к ней, выплакать горе горькое. Вот так же, как у него – Ивана после гибели Анки. Иван понимал, как тяжело было той неведомой, никогда неведанной женке Ирине.

Будто не осталось никакого следа от человека. Но остался труд его – «Краткое описание о народе остяцком...»

⁷ Черкасами в Сибири называли украинцев.

Полвека писание сие хранилось в ризнице Успенского собора. Так вот ныне тобольский ямщик Иван Черепанов сквозь годы разговаривал с казачьим полковником, ссыльным поселенцем Григорием Новицким...

...В «Предисловии ко читателю» Новицкий называет себя «странником бедствующим и пришельцем Сибирской страны».

И привело его в Сибирь «не желание любопытства ниже о всяких вещах искательство, но брани смущения междоусобные, времен злоключение...»

«Узриш, яко странник бедствующий и пришелец, его ж не желание любопытства ниже о всяких вещах искательство видения в, веде семо, но брани смущения междоусобные и времен злоключение предаша неволе; неволя ж, общее приютилище многих узников, жилище и узилище, царственную покщи Сибер, в ней же пребывание мое и самое состояние неволи яви творить...»

Удел его – Григория Новицкого – «узника сих полночных, мразных, мрачных от лютости морозов стран – скорбь, печаль, теснота, нищета, слезы...»

Со страниц старого писания протягивал руку Ивану кареглазый (почитай, все черкасы кареглазы), могучий, плечистый (а как же, казачий полковник!), не согбенный неволей, убогостью историописатель...

Он вел рассказ о гранях Сибирской страны, о полночных ее пределах, о недрах, кои производят самородный хрусталь, слюду чисту, а наипаче наполнены каменным магнитом, а от сего магнита сибиряне хитростно испущают железо. И каменное масло в сих недрах обретается, кое подобием есть растворительно в воде и в каком ином питье».

И еще таит земля сия в недрах своих кости – бивни – доброты и красоты единые с костями слоновыми. Зрачные, светлые, чистые, ветхостью нетленные. О сих костях, писал Новицкий, – «разумеют различно: иные глаголют, земля производит самородно от внутренностей своих, в себе, подобно, как производит соль, горный хрусталь, камень магнитный и иное. Однако, вместе с бивнями почастую находят ребра, черепа и иную кость зверя, что мамонтом прозывается».

Сие вызывает у Новицкого недоумение: «... Но от животного ли сие суть или от внутренности своих земля самородие производит... для различных и прекословных ведений, своим вниманием ничесоже не утверждаем».

Иван читал эти строки и вспоминал стародавние сказания о звере – мамонте, кои ходили по Сибири. Мол, оный зверь мамонт живет и ныне под землей, с места на место переходит, рост себе дорогу своими же рогами (якобы некоторыми снастями). Но наверх, на свет божий выйти не может, бо сухой, зрачный воздух наш убивает его. А там, где он ходит под землей, – наверху земля над ним поднимается с великими лесами, буграми и позади падает и остаются глубоки овраги.

Остяки и вогулы верят, что зверь Мамонт и поныне живет под землей. Ихние шаманы рекут, что в непогоду слышат рев оногo зверя. Они же толкуют: сие подземное чудовище поначалу своего жития похoже было на лoся преогромного, а к старости потеряло зубы, рога, ушло под землю (или под воду), там у него отросли рога, но не лосиные – ветвистые, а прямые – клыки.

Шаманы повелевали своей пастве приносить подземному зверю в жертву оленей, рыбу, меха, богатели себя.

Сие сказание былъем поросло. Ныне то ведомо: зверь мамонт был в давние-предавние времена и вымер. А бивни и иные кости от него остались в земле.

Сказывают, их превосходительство берг советник Татищев Василий Никитич, посланный еще царем Петром в Сибирь для изыскания рудных мест, размножения промыслов и устройства заводов, возымел желание подлинно дознаться о звере-мамонте, собрал нимаго мамонтовых костей и один бивень длиною в аршин с четвертью, поднес его величеству царю Петру, сказывают, и ноне хранится тот бивень в Кунсткамере в Санкт-Петербурге.

«Мало ли сказывают, не досуг все россказни вспоминать», – подосадовал сам на себя Иван, – и снова вернулся к рукотворной книге Новицкого, продолжил разговор с казачьим полковником из Малороссии – духовным надзирателем за остяками Кондинской волости.

А Новицкий повел рассказ ко истории принадлежащий, о татарских ханах в Сибири, их кровавых распрах, о Кучуме, о Сибирском взятии казачьей Ермаковой дружиной, о самом Ермаке, Тимофеевом сыне...

То все было писано по Есиповой летописи и читано-перечитано Иваном.

Видно и сам Новицкий ретельно читал-перечитывал и переписывал писание соборного дьяка Саввы Есипова...

Дале шло писание Новицкого «О житии, обыкновений гражданства» народа остяцкого, в полуночных пределах Тобольской губернии, в низовьях Иртыша, Оби.

Черепанов бывал в Самаровском яме (сказывали, сюда поселили ямских еще по указу царя Михаила Федоровича, и они прижились семьями).

Дивило неоглядное водяное раздолье Иртыша, Оби, слившихся в едином лоне и таежное буйство на берегах, хотя тоболяки привычны и к Иртышским разливам, и к таежным дебрям.

Остяков же, остяцких людей он видел и в Тобольске, и в низовьях Оби. Да только так, мимоходом, не приглядываясь.

А вот Григорий Новицкий явил миру в своем писании большую полуночную горькую страну – Кондию.

Прочитаешь, приглядишься и увидишь: «...Сию преславную великую реку Обь – питательницу остяцкого роду...». Воды ее богаты рыбою. Земли – стадами оленей, дражайшим зверем – соболем, черною лисою, белкой, бобром.

Но живут остяки в скудости, хотя работу работают трудную. Земледелия же не знают, «аще земля сему народу скудна подаянием». Работные остяки – те, что оленей водят, рыбачат, охотятся, творят себе одежду из кожи рыбы, нарицаемой нелим. «Зельная же скудость понуждает их от птиц – гусей, лебедей здирать кожу и составлять одеяния».

Женки ихние ткут из крапивы холст и пошивают от того холста рубашки и иное...

«...И зимнего времени лютость тягчайших мразов в налимьем претерпевают кажане, и в таковой нищетной одежде исходят от жилищ своих в дальние страны – пустые леса, промышляют зверя – соболей, дражайших черных лисиц, горностаю, белку, на которых вещех драгость всяк взирая, промысл и труды бедняков оных снискуемую их же, видя скудость, прилично сие помянуть им Овидия».

Узрев такую нищету и скудость, Новицкий вспоминает стихи древнеримского поэта Публия Овидия.

Семинарский учитель Яков Волынский рассказывал Ивану о сем стихотворце, сосланном римским императором на берега Понта Эвксинского-Черного моря...

Собирают пчелы сот; но от трудов ясти
Крупица им дается, иным же все части.
Ни себе сладость сию пчелы собирают.
Горесть трудов приемши, иных улаждают.

А далее уж не Публий Овидий, а Новицкий от себя добавляет:

Так и остяк бедный с премногими труды
Собирает драгость шуб, украшает людий,
Сам наг горкой нищеты вся поносит злости,
Весь скуден, една кожа, под кожею кости...

Скуден и одержим нищетою сей народ, но ясак – дань их – меха безмерной красоты и дражайшей цены, труды их и промысел, премногие богатства в казну царскую собирает» – с болью писал Григорий Новицкий.

Жаль объял сердце Ивана, когда он читал сии строки. Скудость, нищету народную видел он округ вдосталь. Но сии «пчелы» трудовые, собиравшие мед для царевой казны, больно, едуче жалили душу.

Полковник Новицкий – сам полунищий, согбенный неволею, был послан княжеской светлостью – губернатором Сибири и преосвященным архиепископом нести слово божие остяцкому народу.

Труден был путь духовного надзирателя в жестокой, суровой северной стране, среди непонятного для него, как ему казалось, дикого народа идолопоклонников. Но Новицкий сумел узреть и худое, и хорошее в сем северном народе.

«Прост и дивий⁸ народ вящие нравообычаем своим звероподобен (чуждается, избегает всякого обхождения с иными гражданами)», – писал Новицкий. Однако он же сумел разглядеть, увидеть, что звероподобный, дивий сей народ обладает «друголюбием, добре хранящим естества закон и многие на сем утверждаху добродетеля. Не слышится между ними крадеж, убийства и иных обид друг другу содевающих».

Видно было у ссыльного полковника Новицкого сердце зрячее, полное добрых чувств к людям. *<(Видно зорок, умен был глаз ссыльного полковника Новицкого, и сердце зрячее, полное добрых чувств к людям, какой бы нации они не были.)>*

Иван читал эти строки и думал о чуде, сотворенном рукописным словом. Более полвека минуло с той поры, как погиб человек, и тело его неведомо где сотлело в гиблых таежных болотах, а слово его живо и будет далее жить – в «Кратком описании о народе Остяцком...»

Абалакская божия мать *<(I)>*

Иван любил ходить на Абалакское крутогорье, в Никольскую церковь.

Белокаменный храм стоял на гребне горы, одетый в игольчатый плат из могучих вековых елей, пихт.

Высокий Иртышский берег тут круто спадал к реке. Отсюда открывалось водяное раздолье Иртыша, просторно разметалась пойма со своими озерами, старицами, лугами. Казалась она неоглядной.

Ширь такая, что дыхание захватывало. Родная земля. Сибирь. Отечество.

Глядишь и сердце гордостями полнится: твоя это земля и ты частица этой земли.

А Белокаменный храм на взгорье будто подтверждал: твое отечество, твоя земля...

Много стародавних преданий рассказывали в народе про Абалак. ...До прихода Ермака в Сибирь в Абалаке стоял малый татарский городок и название свое получил от сына хана Мара – Абылака.

⁸ Дикий, лесной

...При хане Кучуме тут была крепостца с трех сторон опоясанная земляным валом, рвом, с четвертой – крутой береговой Иртышский обрыв. В этой крепостце хан держал свою старшую жену Самбулу.

Под Абылаком, у Абылакского озера, морозной декабрьской ночью 1582 года Кучумов племянник и военачальник Маметкул напал со своими воинами на спящих казаков атамана Богдана Брязги и изрубил их.

В «Синодик» Иван читал: «Тое же зима Ермаковой дружине, без опасения им идущим к рыбной ловле под Абылак декабря в 5 день. И внезапно приидоша на них нечестивые воинством и побиша на том деле Окула, Ивана, Корчагу, Богдана Брязгу и с их дружиною.

...Ермак же о сем скорбися много зело, на гнев подвижася зело, взъярися сердцем велми и повеле дружине своей препоясатися оружием и шед на брань».

Ермак настиг Маметкула и в лютой сечи под Абалаком разбил его войско. Сам Маметкул бежал.

То стародавнее, прошлое...

Ныне Абалак славится своим храмом, его святынею – Чудотворной иконою божией матери.

...«И бысть явление в Тобольском уезде, в веси нарицаемом Абылак, от града Тобольска два десять поприщ».

Иван слышал сказание про чудеса Абалакской богоматери.

Все началось с того, что вдовой женке Марии было явление.

Явились ей во сне пресвятая богородица со святым же отцом Николаем чудотворцем. И повелела пресвятая богородица строить церковь во имя сего знамения. А та женка Мария была полонянка – бежала с верхнего Иртыша от калмацких людей.

О своем вещем сне Мария поведала духовному отцу – попу Иллариону и тот повез ее в архиерейский дом на расспрос. Сей же поп Илларион расписался за Марию в расспросных речах. Иные же люди шептали в народе, де он, поп Илларион, то явление богородицы сам нашептал вдовой женке Мирии.

Как бы то ни было, а было...

Доподлинно ведомо только, что просил написать икону богородицы для Абалакской церкви и деньги платил хворый торговый человек Тобольского города, именем Ефимий.

После того, как была написана икона богородицы, хворь ушла от того Ефимия, он оздоровел.

Таких чудес исцеления богородицей от недугов телесных было премного.

...Работный человек Никифор Ерлаков на недуги телесные не жаловался, да только случилась с ним беда, безвинного, его осудили, заковали в кандалы, заточили в узилище. Скованный в железо, Никифор помолился на ночь

богородице и заснул. Во сне к нему пришла богоматерь и сказала: «Иди!» Узы его ослабли, двери узилища открылись, и он ушел от своих стражей на вольную волю.

Как бы то оно ни было, а было...

...Иван, когда бывал в Абалаке, подолгу простаивал у чудотворной иконы.

Лицо у богоматери чуть скуластенькое, нос широковатый, чуть вздернутый, брови – не в струнку, светлые и глаза тоже светлые, строгие, строгие. Кажется, эти глаза в самую душу человека проникали. А у губ добрая улыбка затаилась. Вот-вот дрогнут уста и скажут свое вещее слово...

Чем-то она напоминала Ивану Аннушку, Анку. Глядеть было благостно и больно, очень больно... Столько лет прошло с того страшного дня на пожарище, но Анка не отпускала его, была всегда с ним...

Сказывали, писал сию икону чудотворной богоматери еще в прошлом столетии протодьякон Тобольского кафедрального собора отец Матвей.

Иван старался представить, уявить сего протодьякона – изографа. Каким он был, что чувствовал, когда творил лик богородицы? Может быть, и он любил женку с таким вот обличьем?

А вести о чудодейной иконе разлетелись по всей Сибири. Она имела силу не только избавлять людей от беды, недуга, но утихомиривать стихию.

В народе сказывали, а Иван записал те сказания, не по байке, а бывшее.

...В лето 1664-е над Тобольском разверзлась темная туча. Не дождь, а тяжелый водяной поток хлынул с небес на город.

«В городе Тобольске и во всех окрестных местах, Божиим попущением за грехи людские, бывшу дождю многу и необычну, яко бытии второму потопу от наводнения. Во отчаяньи надежда люди быть, – писал Иван Черепанов в своей летописи. – Преосвященный же архиепископ Корнилий, ища ко спасению помощи, и обрета неистощимую помощь пресвятой владычицы нашей богородицы и приснодевы Марии и посла чудотворный образ пресвятыя богородицы знамение, иже в селе Абылак, освященный собор, повеле оный образ с великой честью в город Тобольск принести. Что с немалым усердием всего гражданства тобольского воспринято было месяца июля в 8 день, на память великомученика Прокопия.

Приняв на руки оный пречистый образ божия матери, от священного собора, два священника в фелонях пошли по городу Тобольску. Села же Абылак священники и жители, провождающие с честными кресты до места от села, в двух верстах отстоящего, где после поставлена была от логу Мостового, и оттуда назад обратились; а освященный собор с пречистым образом Божия Матери ко граду идущие, молебное пение совершающее и народу многу паследущу.

Егда же приближася ко граду, тогда архиепископ Корнилий повелел благовестить на собор, сам же облачися во святительские одежды, со всем освященным собором и градоначальники и со множеством народа, вышли на сретение пречистого образа Божия Матери за Воскресенские ворота... и совершиша молитву ко пресвятой владычице и присна деве Марии, потом пошли во град и поставили той чудотворный и целебностный образ в Соборной церкви Софии Премудрости слова Божия, на уготованном месте, и повеле архиепископ начать святую литургию человеколюбия Божия.

Внезапу разогнася мгла, преста дождь, уставися благорастворенный воздух и бист ведро...

Сие увидели люди, с радостью воздано Богу благодарение, прославиша владычицу нашу Богородицу и присна деву Марию.

И тако устава Пресвященный Корнилий для воспоминания чудеси, но вся лета, той святой, чудотворный образ на просвещение града приносить и стояти в соборной церкви восьмого числа июля до двадцатого числа того же месяца, на память святого пророка Ильи. И паки со священным и с честными крести до места бывает провежден в таком же порядке, как встречен был».

...Перо роняло на белое бумажное поле букву за буквой, нанизывало, словно ожерелье, строку за строкой, а Ивану Черепанову виделся залитый водами родной город, многолюдный, многогласый крестный ход с чудотворной иконой присна девы Марии, похожей на Аннушку...

...Все рассказало перо, все описало. Не обмолвился лишь Иван Черепанов, что в духовной консистории хранилось секретное дело о Михайле Антипьеве – богохульнике. В этом деле был донос, сочиненный братом Ивана – Кузьмою Черепановым – тяглецом ямщицкой слобода, и старостой Михайло-Архангельской церкви. Доносил Кузьма Черепанов на нищего, восьмидесятилетнего старика Михайлу Антипьева, который хулил Абалацкую Божию Матерь в пору крестного хода. Говорил: «Ваша деревенская дурочка наряжена в золото и провожают ее многонародно».

По доносу же Кузьмы Леонтьева Черепанова в консистории Антипьева строжайше допрашивали и приговорили к суровому покаянию в веригах. Оказалось, евангельский текст: «Идолы, язык, серебро и золото дело рук человеческих» старик Антипьев относил также к иконам.

<Женка Лизавета (V)>

Когда Кузьма рассказал про сего Михайлу Антипьева, Ивану претило богохульство старика и вместе с тем было очень жаль его. Помимо воли вспомнилась женка Лизавета, что на нижнем торговище продавала пироги с

вязигой, голосисто выкрикала свой товар. <(Иван заметил на рыбном торговом рынке женщину (не заметить нельзя было), что торговала пирогами с вязигой, голосисто выкрикала свой товар.)>

Хороша собой была торговка: статная, белолицая, темноволосая, глаза горячие, на голове тяжелый венец косы, как корона. Пава, королевична! Звали Лизаветой.

«Ей бы не пирогами торговать, а в светлице княжеской красоваться», – подумалось тогда Ивану.

Лизавета сия не только пироги с вязигой хвалила, но и говорила неподобающие слова, отвратные святой церкви противности, злоумышление греховное проявляла.

О себе охотно рассказывала: она – дочка пермского пономаря, выучена грамоте. Купила в Перми на рынке книжицу, а в сей книжице сказано, чтоб иконам не кланяться и за святыню не почитать. Потому иконы – дело рук человеческих. А молитву Богу приносить надобно духом, истиною.

Креста Лизавета не носила, крестного знамени на себе не налагала, предание учителей церковных не слушала. Молилась не по уставу. Молитву говорила по-своему: «Господи, Иисусе Христе, сын божий, помилуй мя, грешную». И говорила при том: «Богу надо кланяться духом, истиною, а не телом. Золоту, серебру, дереву Господь не велит поклоняться».

Отца духовного Лизавета не имела, говорила: «Наш отец духовный – царь небесный, душа, мол, причащается словом божьим, а не хлебом и вином...».

Молва о женщине Лизавете шла по всему Тобольску. К ней тянуло людей, потому что она умела грамотно и учительна от Божественного писания.

Однажды скоро Лизавета с торгового рынка исчезла. Люди рассказывали: Отцы святые встревожились, призвали Лизавету к ответу. Убеждение не помогло: Лизавета стояла на своем. Ее бросили в монастырское училище, привели к пытке. Под кнутом Лизавета твердила: «Не преклонюсь иконе. Молюсь богу духом и истиною!..»

Из училища монастырского она так и не вышла...

Бывая на торговом рынке, Иван любовался красотой той Лизаветы, возмущался ее злым, отвратным святой церкви словом.

А когда забрали ее в монастырское училище, стало жаль, стало даже пусто в людном толчее торговом рынке. Ему виделся тяжелый черный венец косы, слышался горячий Лизаветин голос. Хотя убедить его тот голос не мог. Не было правды в тех словах красавицы Лизаветы.

С детства Иван впил в свою душу церковное благолепие... Многоголосый призывный голос колоколов. Полумрак храма под куполом с его высотой, шорохами, трепет свечей, мягкое сияние их, разлитое на иконах, воздух,

в котором, казалось, застыли вместе с запахом ладана слова молитв. Хотелось припасть к иконе, прикоснуться к пречистому лику, выплакать свое горе, поделиться своей радостью, если она пришла.

«...Отче наш, иже еси на небеси! Да светится имя твое, да придет царствие твое, яко на небесах, и на земле...» – жили в нем с детства. И то высокое, светлое, торжественное чувство, что охватывает во время богослужения.

Да светится имя твое...

Церковная служба, церковный лад, богослужение – это очищает, возвышает непередаваемым волнением души, укрепляет веру в бога, веру в свет любви к человеку. Без этого жизнь не в жизнь...

И в памяти всплыли слова моления:

«... Блажены хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие его...
Всем сердцем жду тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих...».

Степанида Свет Абрамовна <(II)>

Весна тревожила. <(По обочинам дороги, в палисадниках на березах набухали, лопались почки, насыщали воздух горьковатым, свежим беспокоящим душу запахом.)> Звенела, рвалась на волю из ледяных оков ясноглазая капель. Торопливым перебоем гомонились, перекликались птицы. На березах набухали почки, воздух был насыщен горьковатым, будоражащим душу струистым ароматом.

Иван ощущал приступы тоски. Весной особенно грустно быть одному. А тут еще брат Кузьма заботился, корил:

– Пора тебе, Иван, семью заводить. Погляди, сколько дев пригожих на выданье у нас на нижнем посаде. У Пармоновых две девки – кровь с молоком и достаток добрый в семье. У Шемякина Гришки – дочка Наталья, куда с добром, хороша, черноброва, грудаста. У Запрудных – Лизавета... – частил Кузьма, – приглядишься, пора сватов засылать.

– Пригляжу, пригляжу, – морщил лоб Иван.

И приглядел, да такую, что Кузьма только ахнул, глаза на лоб полезли. Надо же, приглядел дочку Абрашки – шорника, Степаниду, Степку. У него – у Абрашки – детей куча, мал-мала, мал-мала. Степанида – старшая, младших нянчит, стряпает... Тощая, хромоножка, лицо в конопатинах, да в летах, двадцатый годок пошел, почитай, перестарок, вековуха... Кто на такую невесту позарится? А вот Ивану – приглянулась. Приглядел: глаза у нее, у Степы – зеленоватые, зоряные, коса тяжелая, ниже пояса, как у Аннушки, даже конопатинки на щеках такие же...

Увидел ее в Сретенской церкви, в раннюю обедню – и покой потерял, завел разговор, знакомство, а потом и сватов заслал, хотя брат Кузьма и противился. Свадьбу справили, все честь-честью.

И стал Иван Леонтьев сын Черепанов семейным мужиком, избу ставил. А невеличка ростом, конопатенькая, хроменькая Степанида, Степушка, как ласково называл ее Иван, стала доброй женой, справной хозяйкой в новом доме, а потом и матерью. *<Родила двух сыновей.>*

Завела добрый порядок в горнице, украсила хоромы нарядом. Пошла наоконники из лазоревой зуфи с цветной оторочкой, суконные налавочки, тканый из льна с узорами подскатерник и скатерть на стол.

Гляди-ко, – дивился Иван, цветные тряпицы, устлавшие горницу, сделали ее уютнее, веселее.

К тому ж оказалось Степушка умелицей печь пироги – пряженые, рядовые, всякие там рыбнички, ягодники с брусникой, черемухой, груздями, кашами, не перечеть.

В короткий досужий час, Иван любил глядеть, как небольшие, совсем ребячьи, но ловкие руки жены замешивали, ладили тесто, потом начиняли рыбой, ягодой или иным, потом, спустя время, высаживали из темного жерла печи румяную улыбчивую выпечку. И каждая булка словно звала «отведай!», и каждая гляделась, как творенье старательных Степушкиных рук...

Но самое главное, самое важное было для Ивана, что Степанида почитала книжное научение, книги берегла, как святыню, хотя грамоте не была обучена. Но пришел час, и Степушка, стеснительно, по-девичьи рдея, попросила: «Поучи буквицам, может, одолею...»

Была она старательной, понятливой ученицей. Не сразу, конечно, по буковке, по точечке, но все же одолела. Поначалу литеры выучила, потом складывала слоги. И каждое живое слово, рождавшееся из маленьких черных буковок, казалось ей чудом. Чудо ширилось, росло, Степушка начала читать книгу «Историю о Российском матросе Василии Кариоцком и прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли», что хранилась в книжном сундуке Ивана.

Иван был доволен успехами своей ученицы. А Степанида относилась к письменным занятиям Ивана с благоговением, хотя отнимали они ночами у нее супруга.

Приспела пора и Степушка родила сыновей. Старшего, в память о Тобольском историописателе Семене Ульяновиче Ремезове, назвали Семеном, а младшего – по отцовой родне – Федором.

Всем была Ивану по душе Степанида, хотя статью не вышла. И сынов любил, по-отцовски холил, оберегал. А тоска о той, что пришла на заре жизни, не покидала. Аннушка не оставляла его, была всегда с ним...

Сыны росли не брикливые, работающие, до учения охочие. Старшему – Семену, полюбилась резьба по дереву. С малолетства руки тянулись к резцу, благо в доме был отцовский резец, да к тому же отцовское одобрение. А сын так наловчился вести узоры, что его – отрока соседи звали изукрасить наличники, карниз, избы, створки ворот. А подросток – доверяли в церкви вести хоромный наряд.

Младшего сына Федора Господь Бог одарил художническим даром. Еще отроком начал писать парсуны, а в лета вошел – лики святых. Сам преосвященный тобольский епископ Варлаам засвидетельствовал право Федора Черепанова писать лики святых угодников и бумагу на то выдал с печатью и подписью.

Иван гордился сыновьями.

* * *

В Тобольске пожар не в новинку. Огонь часто глодал деревянный город. Вот и вчера загорелась изба вдовицы Параскевы Крохиной. Хозяйки дома не было. Сначала возник косматый огонек с сыпучими колючими искрами у стены забора, нырнул внутрь избы. Потом пламя лисьими хвостами вырвалось с ключьями дыма из открытого огня. Из избы понесся детский плач.

Иван шел мимо крохинской избы, первым заметил лисий хвост огня, услышал детский плач и ринулся к избе, вышиб двери. Дым застилал свет, резал, слезил глаза, забивал дыхание. Иван пробился сквозь завесу гари, вздохнул раскрытым, как у рыбы, выброшенной на сушу, ртом, захлебнулся. Лохмотья сажи оседали на бороде. Кафтан стал серым от угарной пыли. Летящие искры попали на ткань, прожигали, жалили тело. Но Иван не чувствовал боли. Легкие пропитались дымом. Дышать было нечем, до боли стягивало кожу. Пепел набивался в рот, дым, кажется, выел глаза. Иван ничего не видел, кроме кровавых языков пламени, пожиривших избу.

Споткнулся о какой-то ящик, упал на колени, с трудом поднялся, ринулся в горницу, откуда доносился детский плач. Их было двое – детишек, они сидели на лавке, обнявшись и плакали.

Иван схватил детей – меньшого на руки, старшего за руку и вырвался на улицу. И в самое время. Над кровлей избы шипело, искрило, глухо ударило взрывом, крыша словно распалась и оттуда вылетел, как показалось Ивану, черно-красный кольчатый змей и перекинулся на соседние избы.

Навстречу Ивану бросилась плачущая мать спасенных детей. А кругом уже трещало дерево перекрытий других домов, брызгала огненная жижа.

По небу, как тяжелый темно-малиновый полог, растянулось кровавое зарево. В нем металась птицы и падали комочки огня на землю. Кричащий, обезумевший грей! Откуда только взялось их так много?!

Люди сбегались с ведерками, бадейками, выстраивались цепью от колодцев, реки, заливали бревенчатые стены домов. Вода шипела, превращалась в пар. А огненный разлив растекался по улице, не пощадил и храма. Занялась часть церкви, словно в ней зажгли тысячи свечей. Каменные стены раскалились добела и казались прозрачными.

В церкви вели ремонт, белили наружные стены, колокольни. Рабочих в эту пору не было – день воскресный. Надо было сбить леса. Иван перекинулся взглядом, словом с парнем, стоявшим рядом, они поняли друг друга и кинулись к лесам. За ними ринулись и другие мужики, начали раскатывать, ломать, выдергивать из стен костыли, державшие строительные подмости.

Громада лесов отделялась от колокольни, помешкала в воздухе и рухнула на землю. Люди бросились врассыпную.

К вечеру пожар был погашен.

Улицу, на которой стоял дом Черепановых, огонь не тронул.

Иван вернулся домой весь будто изглоданный. Одежда пригорела, оборвалась, лицо обожженное, в ссадинах, борода спечена.

Степанида встречала мужа слезами, причитаниями:

– Вам, Черепановым, больше всех надобно.

– Надобно, надобно, – подтвердил Иван. – Вот ежели беда в наши ворота придет, тогда поймешь, почувствуешь. Надобно...

Острова Макарийские

Многие ночи отдавал Иван своей летописи. Годы, события уводили в стародавнее... Они будто таились в острие пера и выплывали, выплывали на тетрадный лист, как добрые ямщицкие вожжи ведут коней, вели в дремучую даль жизни, в прошлое.

Годы, годы, события, события... Конечно, набегали они не сами собой, а после кропотливых больших трудов над архивой в губернской канцелярии, после разговоров-расспросов бывальцев, ведомцев. Но, когда Иван брал в руки перо, ему мнилось: строки набегают своей силой. Они таят его мысли, чувства, они владеют чудодейственной силой, оседая на бумаге...

Страница летописи. Аккуратно вычерченная чернилами рамка открывает каждую статью: «В лето от сотворения мира..., от Рождества Христова, от взятия Сибири, царствования на Руси царя...» Иван писал, и словно шел сквозь годы, царства... И в каждом царствовании люди, их труды, деяния...

...Мы уже упоминали: грамотеи-тоболяне были на примете у губернского начальства. Когда начиналась перепись податного населения, составление ревизских скасок, губернская канцелярия звала их на подмогу. На примете были и братья-грамотеи Черепановы. Ивану не раз приходилось составлять ревизские скаски, бывать в канцелярии. А оттуда до архивы рукой подать. Надо только умеючи договориться с архивохранителем и перед тобой раскроются тайны старых свитков.

...Вот на нижней полке архивы губернской канцелярии приютился список казачьего пятидесятника Володимира Атласова. В лето 1701 тот Атласов Володимир был проездом в Тобольске. Вез в Москву государю с Анадырской захребетной земли, с Камчатской скаску про тую землю и немалый ясак – черных соболей, бобровых, лисьих шкур и еще наисекретнейшего азианина с неведомых в ту давнюю пору, теплых островов – Апонских. Историописатель и чертешик Семен Ульянович Ремезов попросил воеводу князя Черкасского дозволить поглядеть, почитать скаски Володимира Атласова о Камчадальской земле. А те скаски Атласов вез в запечатанном Якутской печатью ящике.

Князь Черкасский поморщился, долго ходил из угла в угол своей палаты, потом решился, тряхнул головой: была не была! Государь – он любит, когда хозяйски дело творят. Позвали Атласова, воевода велел ему принести заветный ящик с Камчатскими скасками.

Сломали серебряную Якутскую печать с изображением орла, поймавшего соболя. Достали тетрадь, исписанную дьяком Якутского воеводы Дорофея Траурнихта и чертеж, тем дьяком рисованный со слов Володимира Атласова и его людей.

А князь Черкасский продиктовал подьячему отписку царю. Иван нашел копию этой отписки среди атласовских скасок и переписал: «...Бил челом тебе, великому государю, и нам, холопам твоим, в приказной палате Тобольский сын боярский Семен Ремезов, словесно говорил, что ему, Семену, скаска нужна с тамошних краях для того, что де по твоему, Великого государя указу дана ему, Семену, на Москве из твоей, Великого государя казны, из Сибирского приказу Александрийская бумага и велено на той бумаге написать чертеж всей Сибирской земли и чтоб ты, Великий государь, пожаловал его, Семена, велел по челобитью его о списке с тою скаски указа учинить, чтобы ему не осведомлясь подлинной в тех чертежах какой неправды не написать. И по твоему, Великого государя указу, челобитью его, Семенову, велели мы, холопи твой ящик, который послал из Якутии к тебе, Великому государю, с якутским пятидесятником, взять в приказную избу, осмотря, якуцкую печать снять, скаску списать, а тот список отдать ему – Семену для письма и свидетельства чертежей».

Всю ночь просидел Иван, разбирал списки – копии Атласовских скасок про Камчатскую землю. Подьячий из архивы губернской канцелярии на одну ноченьку-то дал поглядеть. Да еще пришлось подкинуть тому подьячему кое-чего...

Широко раздвинулись стены черепановской избы. Вслед за пятидесятником Атласовым Иван Черепанов шел из Анадырского острога в Анадырский захребетный край, собирал по пути вести о новой земле Камчатке – полуострове, связанном с большой землей.

Шли на оленях по каменистому долу. Здесь жили оленные мужики, о которых Атласов рассказывал в своих скасках: «Одежде они носят соболью и лисью, и оленью, а пушат-то платья собаками. А юрты у них земляные, а летние – на столбах вышиною от земли сажени по три, намощено досками и покрыто еловым корьем, а ходят в те юрты по лестницам... А питаются рыбой и зверьем, а едят рыбу сырую и мерзлую. А в зиму запасают сырую: кладут в ямы и засыпают землею и так рыба изнывает... А от тое рыбы исходит смрадный дух...

А ружья у них – луки усовые китовые, стрелы каменные и костяные, а железо у них не родится».

...На полдень тянулись поросшие лесом горы. Неумолчно гомонили, накатывали свои воды на скалистые берега реки.

18 июля отряд Атласова вышел к реке по имени Камчатка – Уйкоал, по-местному. Близ устья той реки, у высокой сопки Ключевой казаки поставили деревянный крест с надписью: «7205 год от сотворения мира, июля 18 дня поставил сей крест пятидесятник Володимир Атласов со товарищи».

Все дальше и дальше уходили в неведомые земли казаки.

...Возносили свои вершины в небеса, дышали сизым туманом, металы искры, грохотали каменными утробами огнедышащие горы. У подножия их струились теплые, солоноватые ручьи. «...А от устья идти вверх по Камчатке реке неделю, есть гора – подобна хлебному скирду – велика и гораздо высока, – рассказывала атласовская скаска, – а другая близ ее подобна сенному стогу и высока гораздо, из нее днем идет дым, а ночью искры и зарево».

Атласовские скаски первыми возвестили ученому миру о вулканах Камчатки.

Кишели невиданной казаками рыбой полноводные реки. Атласов рачительно, по-хозяйски выпрашивал у тамошних людей названия сих рыб, запоминал. Поначалу шла чавича, за ней – красная горбуша, кета, нырок...

Леса были богаты дорогим, непуганым еще зверем.

В заливе, куда несла свои воды река Камчатка, хозяйский глаз Атласова приметил нерпу, моржей, тюленей, морского бобра-колана.

Тук земной ждал пахаря. В скаске Атласова говорилось: «А в Камчатской и Курильской землях пахать можно, потому что места теплые и земли черные, мягкие...»

«Туда бы, – подумал Иван, читая Атласовские скаски, – наших пашенных людей, наших мужиков с сохой, лукошком – пашню поднять, семья бросить. Научили бы и тамошних камчатских мужиков хлеб растить, чтобы Русью земля стала».

О том и Володимир Атласов сказывал.

Черепанов читал Атласовские скаски и дивился. «Как много сумел разглядеть, увидеть в дальней, неведомой земле сей устюжский мужик, казачий пятидесятник Володимир Атласов. Поболе много ученого мужа».

Только о неизреченных тяготах и опасностях своего пути мало упоминал Атласов в своих скасках. Видно, запомнил.

Рассказал Атласов и о своем пленнике-азианине из страны **Нипон**, которого вез в Москву для подлинного о той земле уведомления.

Был сей азианин родом **из Японского** города Осака на острове Хондо, звали его Татакава Денбей, служил у японского купца приказчиком. Однажды хозяин отправил его с караваном судов в **город Иедо**. Везли те суда рис – сорочинское пшено, сорочинскую же водку – сакэ, камку, сахар мелкий, что мука, сандаловое дерево. Все это надлежало обменять в городе Иедо на шелка, серебро, золото.

Суда, подгоняемые ветром, шли ходко. Денбей подсчитывал, сколь прибылен будет обмен товарами, да только досчитать не пришлось. Налетел тайфун, разметал суда.

Двадцать восемь дней Денбей со спутниками носило по бурному морю. На двадцать девятый корабль выбросило на берег неведомой земли. Японцы попали в плен к курильским мужикам. От непривычной пищи – гнилой, изнывшей в земляных ямах рыбы, спутники Денбея заболели и умерли. Он один выжил, собирал в тайге сладкие коренья и тем питался. Через год его отнял у курильских людей русский казачий пятидесятник Володимир Атласов, увез в свой острожек, терпеливо учил говорить по-русски.

Из Анадыря Атласов отправился зимой в Якутск, взял с собой Денбея. Шли на лыжах. Но в пути японец «заскорбел ногами, потому что на лыжах ему ходить не в обычай», пришлось посадить его на сани.

Иван Черепанов не раз слышал про дивное царство на островах Тихого океана, там, где солнце рождается. Слухи про те острова, где не знают зимы, ходили по Сибири.

Не там ли обретается и остров Макарийский – первый под восходом солнца – обиталище райских птиц, как про то сказано в «книге, глаголемой

космография»? Не тому ли острову хотела Аннушка, когда звала уйти за небозем <(горизонт)>?

На полках архивы

Рядышком со скасками Володимира Атласова, на нижней полке архивы хранилась копия статейного списка посольства Федора Исаковича Байкова, посланного в лето 1654, по указу царя Алексея Михайловича в Китайское царство к Богдыхану Шицзу.

Посольство посылалось для «изъявления крепкой дружбы и любви, к Богдыхану-царю и про свое государево здоровье сказать, и ево, Богдыхана-царя здоровье видеть, и о иных, о великих и добрых делах, которые годны им обоим государям и их великим государствам, к покою и тишине и ко всякому добру...» и для государева торгового промысла.

Посол Федор Байков вез с собою сию любительскую цареву грамоту и любительные подарки – поминки для китайского царя-богдыхана Шицзу – сорок соболей, чернобурые лисы, добрые сукна, горностальные шубы.

А в наказной памяти послу повелевалось: не отдавать цареву любительную грамоту и царевы любительные поминки никому, кроме богдыхана Шицзу в руки, не вступать в переговоры с китайскими приказными чиновными людьми, не кланяться палате, порогу, не целовать ноги богдыхана...

Байковское посольство сопровождали служилые люди, среди них были тоболяки, тарчане, коим ходить в сопредельные страны было в обычай, в торговый караван тобольского купца Батура Елебабаева и иных торговых людей. Толмачем шел казак Петр Малинин, подъячим – Серега Кубасов.

Из Тобольска посольство отправилось в июне 1654 года. Поначалу плыли на стругах вверх Иртыша, затем шли левым берегом на верблюдах до верховий реки. Оттуда через монгольские улусы до рубежей Китайского царства.

Почти два года длился этот путь...

Иван Черепанов слышал про посольство Байкова в Китайское царство, в город Камбалык, читал в Миллеровом писании «О первых русских путешествиях в Китай», напечатанном в «Ежемесячном сочинении к пользе и увеселению служащих», цитации из Байковского статейного списка.

И вот теперь перед ним копия того самого статейного списка-подорожника государева посла в Китайское царство Федора Исаковича Байкова.

Иван так и впился в густо нанизанные строки, писанные подъячим, может тем самым Серегой Кубасовым, что ходил с посольством в Китай.

...Был Федор Исакович Байков не из думных чинов, бояр, а роду незнатного, из мелкопоместных великолукских служилых людей. Отец его Исак Байков начал свою службу в Тороповце стрелецким головою. Дослужился до воеводства. Был воеводой и на Сибири – в Таре.

Сын его Федор тоже сумел дослужиться до воеводства в Валуйках, Мангазее. Приметили его и в посольском приказе и поставили в голове посольства в Китайское царство.

Молва шла: Федор Исакович был неграмотен, сам о себе сказал: «грамоте не умею», но глаз имел острый, памятливым, много видел, примечал.

Иван читал «Подорожник» Байковского посольства и ему казалось: Федор Исакович словно вел его на своих стругах по Иртышу мимо Ермаковой перекопи, устья Вагая, побывал в Тарском городе, что «стоит от реки Иртыша в полуверсте, а под городом, под Тарою течет речка небольшая, имя ей Аркарка».

Миновали пустынное устье реки Оми, где стояли лишь тарского города служилые люди для рыбной ловли.

Все выше и выше по Иртышу подымались байковские суда.

Где рождалась эта могучая, обильная водой река? – любопытствовал Байков.

Иртыш «вверх пошел, в россыпь мелкими речками, а про то подлинно не ведомо, из каких мест пошел», – отвечали ему местные люди.

Байковский «Подорожник» открывал Черепанову неизвестные земли...

...У Белых Вод Байковское посольство сгрузилось со стругов, пошло берегом к улусам дружественного Руси Аблай Тайши. Аблай прислал за посольством сорок верблюдов.

Вокруг бескрайне расстилалась степь, и такая, что родила хлеба, растила топольники, березу, черемушник, тальник по берегам речек, и совсем пустая. «Камень, степь голая, только лес небольшой, называют его саксаул. Растет невысоко, а дерево тяжело, и на огне горит, что дуб топко». А вдали на небоземе высятся горы, со снеговыми шапками вершин. В погожие, солнечные дни они залиты серебряным сиянием, в непогоду – грозно синеют. «А на том камени лежат снега велики, а калмыки сказывают, никогда де те снега не сходят», – рассказывал Байков.

А далее на восход караван с посольством остановился у пашенных бухарцев тайши Аблая.

«Избы у тех пашенных бухарцев глиняные, а родится у них пшеница и ячмень, и просо, и горох. И скота всякого много... ..А промеж пашен течет речка невелика. Течет та речка из камени, устьем пала в Иртыш с правой стороны. И мельницы на той речке поставлены, а мелют на них весною».

Первым китайским городом на пути Байковского посольства был Кокотан.

Иван прочитал в «Статейном списке» такое описание этого города. «Город Кокотан глиняной, башни кирпичные, кирпич жженой, проезжие башни велики, по двою ворота в башне, в проезде в тех башнях по 16 сажень; ворота дубовые, окованы железом. Проезжих башен шесть. А огненного бою, пушек, пищалей не видали. А кумырниц в городе и за городом много. Кумырницы кирпичные, кирпич жженой, верхи деланы по-русски, скаты деланы по обе стороны, крыты черепицею муравленою.

...А ряд в том городе велик: лавки каменные, деланы по-русски... а позади лавок поделаны дворы... А в лавках товары: камка и бязи, всякие цветы их китайские, и шолку много.

А пашни у них по-русски. Хлеб родится, пшеница, и просо, и ячмень, и горох, и овес, и лен, и конопля. А лес всякой: дубняк, березняк, сосняк, кедровник и липняк, и ельник. А снегу нет.

Стоит тот город в низком месте, в долу, дол великий, а около его горы каменные. А речка под тем городом невелика, течет на запад...»

<Почти> два года длился тяжкий путь по рекам, горам и долам, степям Средней Азии.

3 марта 1656 года посольство было у стен китайской столицы Пекина-Камбалыка. И тут начались несогласия, тяжба с чиновниками – приказными людьми Китайского посольского приказа – Лифаньюань.

Иван с волнением читал, как русский посол отказался преклонить колени перед кумирней и пить чай, вареный с маслом и коровьим молоком.

А дальше больше пошло.

Приказные – чиновные багдыхановы люди сказали, что надобно отдать им в руки государеву любительную грамоту, и государевы любительные поминки, а они де сами, поднесут своему царю-богдыхану Шицзу.

Но Байков сказал: «Прислан де я от нашего великого государя к вашему богдыхану-царю, а не к вам, приказным людям».

К тому же русский посол дерзнул отказаться выполнить «чин» (обряд) «коутоу» – припадать на колени, кланяться палате, порогу, целовать ноги богдыхана.

Четыре месяца длились переговоры с Байковым.

Чиновные китайские люди из Лифаньюаня грозились: «Богдыхан наш де велит тебя казнить, что ты его указа не слушаешь». А Федор Исакович им в ответ: «Хотя де ваш царь велит меня по суставам разнять, а царя вашего очей не видел, к вам – приказным людям – в приказ не поеду и государеву любительную грамоту не отдам».

Разгневанный китайский царь-богдыхан Шицзу повелел Байкову покинуть Пекин и царскому величеству Руси никакой чести не учинил.

Так ни с чем отбыло русское посольство с китайской земли. Для государева и торгового дела было оно неудачливым, а в науке оставило добрый след.

Хотя Байковскому посольству отвели отдельный двор и за пределы того двора не пускали («взаперти были, что в тюрьме», – рассказывал Федор Исакович подъячему), но острый байковский глаз сумел разглядеть многое.

Иван читал в «Статейном списке» рассказ Федора Исаковича о Камбалыке и дивился: китайский стольный город виделся со страниц «Статейного Списка», как наяву.

«...А хоромы в Камбалыке все каменные, деланы просто, крыты черепицей муравленою... А царев двор делан велик, хоромы высокие, деланы затейливо, крашены красками разными, крыты черепицею муравленою, верхи золочены золотом. А город околь царева двора выкрашен красками разными, а у того царева двора сделаны пятеро вороты. Каменные великие, всегда бывают затворены и во всех тех воротах стоят сторожа беспрестанные...

...А около того царева дворца сделан пруд, и вместо берегов закладены по обе стороны стены каменные, камень дичь белой и серой. И на хоромах, и на платье, и на судах деланы все змеи. А меж дворов и хором в Китайском царстве все сады. А бани в Китайском царстве каменные. А среди Китайского царства близ царева дворца гора кругла, невысока, а по той горе лес саженой. А в том лесу живут звери, маралы и аркары, и козы степные, а иных зверей, кроме тех, сказывают, у китайцев нет. А сколь тое горы кругом стена кирпичная, кирпич жженой. Да в городе Камбалыке озери небольшие, а в них рыба – карасики небольшие, а чешуя у них красная, и лазоревая, и зеленая...»

Хозяйский глаз Байкова приметил, что в Китайском городе «улицы проезжие высланы камень-дичь серой, а по обе стороны улицы канавы, борозды великие проведены в речку и озера. Грязи на улицах не бывает».

И о людях, живших в сием городе рассказал посол:

«Люди в Китайском царстве китайского роду, мужеск пол и женск дороден и чист. А у женского полу ноги малы, что ребячьи. А сказывают про то, что де их нарощно замаривают. А платья носит женск пол коротко, с прорехами, а рукава широкие, что у летников... А мужеск пол платье носит долгое, с пуговицами, и застегают под пазухою. А платье носят мужеск пол и женск смиренное, а цветного платья, кроме царева двора и уванов⁹, не носят. А на головах носят зимой шапки низенькие, что старские, только на шапках кисти шолковые красные велики, а летом носят шляпки маленькие же, плетены из камыша, а кисти на них такие же. А мужеск пол волосов на головах не держат, только на верх головы оставляют хохлы, а заплетают в косы. ...А вера у китайцев: молятся

⁹ Уваны – знатные люди, бояре

болванам, а болваны деланы глиняные, и выкрашены красками разными и золотом сусальным, и каменья, и жемчуг прикладывают, и свечи перед них ставит восковые и сальные, а молятся ночью. А колокола медные и железные, что наши русские... А люди в Китайском царстве... едят всякий гад, лягуши и черпахи, и собак едят, и в рядах собачье мясо продают...»

Почерк у Байковского подъячего Сереги Кубасова был мудреный, закорючка на закорючке, Иван терпеливо разбирал его писание, и хоть досадовал, все же видел дородных китайских мужиков в долгих платьях, с тонкими косицами, женщин с малыми ребячьими ногами, старался представить, как они живут, поклоняются своим богам.

А Байков вел свой рассказ далее. Подметил, какие растут тут плоды, овощи.

«А овощу всякого тут много, яблок, и груш, и вишен, и слив, и дынь, и арбузов, и винограду, и огурцов, и иные овощи и неведомы. А лук и чеснок, редька и морковь поспевают на Великое заговенье, а вишни и огруцы поспевают на Георгиев день и ранее; а яблоки, груши, сливы поспевают на Петров день и ранее, виноград поспевают на Семенов день. А лук, и чеснок, и редька, и морковь, и хрен во весь год свежие... А пряных зелий в Китайском царстве – перцу, и гвоздики, и корицы, и мушкатных орехов, и имбирю, и бадьяну, и чаю – много. А чай родится, сказывают китайцы и мунгальцы, на дереве, а всякие пряные зелья, сказывают, родится тут. А хлеб родится, пшеница и ячменя пшено, и просо, и овес, и горох, дважды годом, а ржи не видали. А дожди бывают великие, и громы, и молнии».

И цены на торговищах камбалыцких на те овощи, плоды и иные товары узнал, запомнил Байков: «...а корицы купить – батман по два злотника, сахару леденцу купят по три злотника... А мушкатных орехов купят батман по восемь злотников... А бархатов травчатых и гладких купят аршин по лану...»

Черепанов читал строку за строкой Байковский статейный список и будто сам побывал в стольном граде – Камбалыке, походил по улицам, торговищам, познакомился с китайцами мужеска и женского пола.

И сомнения взяли: вряд ли сидел русский посол в отведенном посольству дворе взаперти, как в тюрьме, хотя и сказал про то. Видно из сией тюрьмы Федор Исакович выходил в город, вояжировал по городу, побывал на торговищах, глядел, запоминал...

Да, для государева и торгового дела было сие посольство неудачливым.

Но Байковский «Статьный список» «Подорожник» оставил добрый, долгий след в науке. Описание путешествия в Китайскую страну, записанное подъячим, со слов не знающего грамоты Федора Исаковича Байкова, было переведено на немецкий, французский, голландский и иные иноземные языки.

Ученый муж Витзен использовал Байковские записи в своей знаменитой книге о Татарии.

Всех дивил острый, зоркий, памятливым глаз <неграмотного>русского посла.

Дивился и Иван Черепанов: как мог человек, да еще такой, что грамоте не знал, столько разглядеть, запомнить, рассказать про страну, в коей впервые пребывал?..

С волнением и даже горделивостью за соотечественника, он записал в своей летописи о деяниях сего неудачливого посла и зоркого памятливого путешественника.

<Два года длилось сие нелегкое (тяжкое) путешествие байковского посольства по рекам, степям, горам Средней Азии. А потом долгие, мучительные переговоры с чиновными людьми из Китайского посольского приказа – Лифаньянь. Русский посол не захотел преклонить колени, целовать стопы Богдыхана, и разгневанный китайский монарх повелел Байкову покинуть Камбалык.

Так ни с чем отбыло русское посольство из столичного града Китая. Для государства и торгового дела было неудачливым.

Дивил он и Ивана Черепанова. Как мог человек, да еще такой, что грамоты не знал, столько разглядеть, запомнить, рассказать про страну, в коей побывал...>

Каменных дел мастер <(VIII)>

Кузьма был старше Ивана на двенадцать лет и опекал его по-отцовски <(по-отечески)>, передал ему не только ямщицкое учение и любовь к книгам, писанию, но и умение в каменном строении.

В стародавние времена говорка была: на Руси каждый мужик – плотник и почитай, каждый умеет поставить избу, а иные – и храм божий.

Так-то оно было и в семье Черепановых.

Сначала Кузьма избу поставил, да такую, что людям на любованье и завидки. На высоком подклете, обшита тесом в елочку. Жилая горница о двенадцати венцах и окна высокие, не в примет соседним избам. Наличники в кружевном уборе пропиленной резьбы, на воротах «солнышки» глухой резьбы.

Жили Черепановы в приходе старой Богоявленской церкви, что стояла близ моста через Курдимку у подошвы Троицкого мыса.

В ту пору сию старую церковь начали перестраивать, поднимали второй ярус, возводили новую колокольню. На глазах преобразилась Богоявленская из

низкой, одноэтажной в двухярусную, завершенную восьмириком, прикрытым большой луковицей. Любо-дорого было глядеть...

Кузьма *<повадился на стройку,>* завел знакомство с уставщиком каменного строения, *<подмастерьем>* мастером Корнелием Михайловым *<сыном Переволокой,>* чернявым, громогласным, богатырской стати мужиком, охочим до горилки. Когда выпивал, а бывало сие частенько, любил приговаривать: «На том свити чи дадут, чи ни дадут, выпьем, куме, краще тут». *<Приехал он>* Родом он с Киевщины и прозывали его тоболяне, как и всех с Украины – «Черкашениным». Дело свое знал добре, руки имел умелые, голову – светлую. Был он человеком Знаменского монастыря. Многое там строил, но поспевал брать подряды и на стороне. На строении Богоявленской церкви работал по договору с прихожанами. В «Подрядном письме» и Кузьма Черепанов поставил свою подпись.

У Кузьмы с Корнелием Михайловым *<Михайлой Переволокой>* завязалась дружба. Мастер стал частым гостем в семье Черепановых, а Кузьма частенько наведывался на стройку, досконально выпрашивал, учился у своего дружка.

Вместе со старшим братом повадился ходить на строение Богоявленной *<Богоявленской>* церкви Иван. Он еще не видал, как возводится каменные здания.

Камень – дело великое. Деревянный дом – до первого пожара, каменный – на вековечные... *<на вековечные>*

Кузьму и Ивана с малолетства влекли рисование, резьба узоров по дереву. Возьмешь, бывало, в руки доску, она молчит, она мертвая для тебя... Пройдешь по ней резцом, вырежешь, что душа подскажет, глаз видит: листья, цветы, птицу в полете и сотворится чудо, доска оживет, заговорит с тобой...

Отец – тяглец Ямской слободы Леонтий Федоров Черепанов называл то пустой забавой, де для дельного мужика-ямщика такое негоже. Сколько тычков, подзатыльников получали брательники от отца за рисование угольком, ковыряние ножом, резцом в неположенном месте! Бывало, и плетью учивал.

Да видно отцовская наука не пошла Кузьме и Ивану. А вот забавы малолетства те пригодились.

Корнелий *<Переволока>* взял братьев в научение, задавал *<вычерчивать своды, колонны>* составлять разметные росписи на строения, учил творить *<(делать)>* замесы, проверять правильность каменной кладки отвесом, уровнем, учил по весу, звону кирпича, когда один о другой ударяют, узнавать, годен ли он в деле. Учил многослойной побелке. *<На Руси побелка – многослойная. В известковое молоко добавляли коровье. И белый цвет отражал, будто струил солнечный свет. Глаз не оторвать!>*

Многому учились братья. Большая это наука – каменные строения, большая, завлекательная. *<Так мало по малу Черепановы постигали тайны зодчества.>*

У Ивана появилось новое увлечение.

...В свободный от ямщины час сидел теперь Иван *<не над летописью, а>* над разметной росписью, чертежом, прикидывал, какие кокошники (а они в каменном строении, как и в деревянном разные) поставить, колонки витые и рустованные, стрельчатые арочки...

Иван набрасывал на бумаге рисунки, иные рвал. То утежеляет, то удлиняет без надобности.

Приходил Кузьма, глядел на склоненную голову Ивана.

– Давай потолкуем: пустить или не пустить по этому поясу макули – треугольные выступы. Не уширят ли они шею купола? И опять же какие кокошники ставить? Полукруглые или с подвышениями? А не тяжеленько ли будет?

И снова разорванный лист чертежа...

Шло время... И уже о братьях-ямщиках Черепановых плыл по Тобольску слух, слава, как об умельцах в каменном строении храмов, резьбе иконостасов.

<Когда тоболяки задумали ставить на Большой Архангельской улице храм во имя Михаила Архангела, позвали братьев Черепановых. Они и абрис, разметную роспись будущей церкви составили и за строением наблюдали и иконостас резали.>

Тоболяне задумали ставить на Большой Архангельской улице церковь. Сказывают, поначалу позвали на строение храма Кузьму Черепанова, потом Кузьма взял на подмогу меньшого брата Ивана.

...Церковь сия с зимним и летним храмами. Железные кровли куполов в накладных металлических украшениях, слуховые окна обрамлены декоративным орнаментом. Но особенно дивили тоболян – «всходы» – лестница на второй этаж, не внутренняя, как обычно, а наружная, на аркадах, с открытой галереей. Эти «всходы» придавали церкви особую торжественность. *<Таких, до сего не было в Тобольске.>*

На второй этаж человек попадал в затененный ярус колокольни, из которого выходил в трапезную, в затем в залитый светом высокий летний храм под куполом со световым фонарем. *<Радовал резной иконостас, вызолоченный листовым золотом,>* Радовала церковная ограда: на высоком цоколе, меж полуколоннами кованное, тончайшей красоты, металлическое узорочье, составленное из заглавных букв имени патрона церкви – М.А. – Михаила Архангела.

<Этот храм стоит и поныне в нижнем Тобольске, стоит и светит людям и может рассказать что строили его тобольские умельцы – ямщики братья Иван и Кузьма Черепановы...> <(конец в рукописи – прим. ред.)>

А когда закончили строение храма, Иван с сыном подрядились резать иконостас. Вел резьбу и гладь. Тябла иконостаса были изукрашены резным узором, будто увешаны нитями жемчуга, фигурными кокошниками, жгутниками, колонками, фантастичными травами, цветами, измышленными резчиками. Но среди неведомых трав можно было разглядеть ветку кедра, лепесток иван-чая, ромашки... Казалось здесь нет ни одной прямой линии, все волнуется, струится, исчезла неподвижность дерева.

На царских вратах широко раскинули крылья птицы радости – алконасты – души праведников и ангелы, вызолоченные по гульфарбу красным листовым золотом.

Прихожане были довольны хоромным убором своей церкви...

Вечерами, в редкие досужие часы, Иван любил слушать звоны колоколов церкви Михаила Архангела – Архангельской, кою помогал ставить и расписывать ее иконостас.

...По началу заговаривал самый большой колокол, его прозвали Громом. Басовитый, важный, как именитый вельможа, казалось он поглощал все все звуки на земле, топил в своем тяжелом, тревожном гуле. И вдруг, как темную грозовую тучу пререзает солнечный луч, в тяжелый гул врываются светлым ручейком подголоски – малые колокола. Ручей ширится, растекается ликующей серебряной рекой звуков, топит топит глухой рокот грома. Кажется, стая дивных, священных птиц – Сиринов распластала над храмом свои широкие крылья подает свой ликующий, озаренный солнцем голос.

Звонарь Кондратьич говорил: колокола льют из меди, но чтобы они звучали по-разному в медь добавляют растворы серебра, золота, бронзы, чугуна, стали. Серебро придает голосу колокола звонкость, с золотом – звучание резче, чугун, бронза рожают глухие, зовущие звуки. В вечернюю пору, как и к заутренне, все кругом полно пением колоколов, оно волнами наплывает на храм, на город половодьем чудесных звуков. И, кажется, от этих заливатых, струйчатых голосов просторнее, вольнее дышет грудь, и хочется сотворить что-то доброе, большее... Вечерний звон...

Милости его преподобия Порфирия

Иван, его старший брат, вся семья Черепановых были глубоко верующие, набожные люди, священнослужителей почитали. <(Семья Черепановых глубоко

верующая, набожная. Иван с детства, с молоком матери впитал священный трепет перед богом и его заместителями на земле – священнослужителями.)>

Но с его преподобием архимандритом Порфирием – настоятелем мужского Знаменского монастыря вышел особый случай.

И на страницы Черепановской летописи легли гневные строки о его преподобии.

...Стараниями сего преподобия <(святого отца)>, на монастырских крестьян, кроме пятиного хлеба накладывали тяжкие «сделки» – дровами, сеном, лесом, круглым тесом, лыками, и прочими потребностями. Монастырь стал всем изобилен, а приписанные крестьяне от такой тягости пришли в полное изнеможение, скудость, всеконечное разорение и отказались от монастырских «сделок». Они выбрали из лучших своих людей челобитчиков и подали жалобу в губернскую канцелярию на архимандрита «в отягощении и разорении» их. В челобитной просили, чтобы «указом было повелено оному игумену от нее быть свободну, понеже ним с оным игуменом жить никак невозможно...»

Но чиновники – приказные служители губернской канцелярии были подкуплены. Его преподобие изобильно довольствовало их от монастыря и солодом на пиво, и дровами, лесом на строение, лошадьми на выезд и прочим иным без всяких недостатков.

«Бедные крестьяне, – писал Иван Черепанов, – попали не так, как курята в лисьи когти, но так, как преступники в святые вериги». В угождение его преподобию, подкупленные канцелярские служители и судьи причли челобитную к бунту и показали сослать всех на каторгу, ежели сие угодно будет архимандриту Порфирию».

С горькой иронией Иван замечал в своей летописи: «Но его преподобие, как по христианской любви к ближнему, исходатайствовал им милость – главных челобитчиков за их крайнюю предерзость, своевольство подвергли жесточайшему наказанию без всякого извинения – стугали кнутом до смерти, вырывали ноздри, угоняли на каторгу.

Остальных живущих в Вагайской заимке пороли батожем, плетями и взяли подписку о послушании.

Болью, горечью отдают колкие, едучие строки Черепановской летописи: «И по таком выигрыше господин архимандрит имел радость видеть в страх приведенный народ, ему уж весьма покорный...»

<В Маслянской слободе. (VI.)

Не только в кабаке, но и в (ямских) продымленных, пропахших потом, кожами, сивушиным угаром, ямы, слетались вести со всех ближних и дальних

мест – сибирских городов, весей, каторжных острогов, царских дворцов Москвы, Санкт-Петербурга...

Много толков в последнее время было о царице Лизавете – дочери царя Петра I – Великого.

Поначалу разговор в народе шел: взошла на престол дочь Петрова и полегчанье придет на Руси великое. Да надея осталась надеей.

*Що правда немчинов разных со дворца царского выперли. То добре! Великие там кровопивца вроде Бирона, Остермана, Миниха и прочия пришельцы от семи ветров покатались, покатались иные до нашей Сибири докатились. То добро! Много она кровушки народной испили. Да только полегченья жизни от новой царицы Елизаветы так и не пришло. Высоким персонам оно дадено, а народ, как от иноземных бар страдание принимал, так и ныне от своих – российских господ всеконечное разорение терпит. Как палкой, батогом правили недоимки, так и ныне правят. Подушные, оброчные повинности, великие и малые подати. Несть числа им. А как же: кто ж царицу и двор кормить будет?!
Как было так и осталось...*

Как было так и осталось...

Иван прислушивался к этим толкам, вникал сердцем.

Новая царица-то Лизка – она, рекут люди, о государевых делах мало печется да и смыслит в них немного. Вот до плясок великая мастерица, всех перепляшет. Первая, говорят, танцорша на Руси. У ей, говорят, сорок тысяч платьев. Одни платья перемерять сколько часу надо, целой жизни не хватит. А полюбовники ейные, по-господски фаворитами зовутся, сии блудны – кажный себе имение тянет, богатится. Сказывают одним сиим фаворитам царица Лизка раздала сто тысяч крепостных людей, а может и поболее. Народ – он все знает.

– Веселая у нас императрица Лизка, и видно сердцем добрая, – сказал гривастый, мослатый ямщик – сосед Ивана, – смертные приговоры не подписывает. Говорят, в народе: дала обет смертью не казнить. Люди помирают ноне своею смертью, под батогамы, палками, кнутом. Как было так оно и осталось. А что заводами ранее дружок Бирона – немец Шемберг владел, а ныне Демидов да тяготы те же остались. Стоном стонал народ от нужды, утесненный. Вон в Исетской провинции, Маслянской слободе, мой шурык расповедал, мужики миром поднялись супротив Демидова: Не пойдём к Демидову и все тут.>

...И может его высокопреподобие в церкви пети: «Мучения твоя, господи, плетьми у меня в обители пострадали...» – записал Иван в своей летописи, и в памяти всплыло: третьего дня сосед Федул Карнаухов рассказывал за вечерю в ямской, как поднялись мужики в Маслянской слободе. В слободу приехал демидовский приказчик и объявил, что ныне масляницы приписаны к

демидовскому заводу. Что тут поднялось!!! Мужики миром возроптали: «Не пойдём к Демидову!» И все тут! А как же, припишут к заводу и дышать человеку нечем, до пашни руки не дойдут. Завод, он отнимет и лето, и зиму, день и ночь. Стонут демидовские работные... *<Лют хозяин, что пес цепной, нет не пес, а волк бешенный. Лют, хитер, хватка железная.>*

На другой день прибыл сам управляющий с воинской командой. *<(Хозяин вместе с приказчиком выслал в слободу воинскую команду.)>*

Поначалу мужики стали на колени и сказали: «Хоть головы рубите, к Демидову не пойдём».

В ответ Демидовский приказчик приказал всех пороть. Солдаты хватили мужиков, привязывали к столбу, спускали штаны и секли кнутом. Перепороли мужиков, начали хватать баб, бесстыдно заголяли подола.

Мужики не выдержали, кинулись на обидчиков с дубьем. У иных заблестели лезвия топоров.

В слободу прибыла еще одна воинская команда.

Зачинщиков нещадно секли кнутом, ковали в кандалы, вырезали ноздри, угоняли на каторгу.

Иван слушал рассказ соседа, прикрыв глаза. Знобко ежился, хотя в ямской душа жарынь. Слушал, и сердце болью наливалось.

Далече отошла чадная жаркая ямская, шумное застолье. Он видел убогие, курные избы. *<В каждой жили нищета, горе.>* Криком кричали они, стоном стонали. Сердцем он понимал тех мужиков, что поднялись с кольями, топорами на своих утеснителей.

В ту ночь в заветной тетради Ивана появилась запись о восстании крестьян в Маслянской слободе.

Новый губернатор Сибири

Ивана тянуло в Москву. Не в столичный Санк-Петербург, а именно в Москву... Поглядеть белокаменный Кремль, его башни, храмы, торговица, походить по Московским улицам, закоулкам, подышать московским воздухом. Сердце Руси! Иной раз так тянуло, за душу брало, хоть бросай все дела (а дел было вдосталь) и беги, езжай в первопрестольную, белокаменную.

Кузьма успокаивал брата, шутковал:

– Погляди, у нас в Тобольске, почитай, как и в Москве, есть и свой Кремль, и Спасская башня при часах, есть и свои Бутырки, Кокуй, Арбат, только не улицы, а кабаки. Чем не гоже! Не зря в народе молвится: людей повидать, в кабаках побывать. Человека хлеб живит, а вино – крепит. Аз есмь хмель, высокая голова, болий всех плодов земных.

<Не случайно родилась поговорка: Славен град Тобольск своими храмами, славен кабаками, питейными домами.>

Еще дед *<Егорий>* рассказывал, а ему прадед поведал: первый кружечный двор был открыт в Тобольске при царе Михаиле Федоровиче, и так пришлось по душе тоболякам, что иные служилые и всякие жилецкие люди учили в кабаке пить беспрестанно, выбросив службы и промыслы. Кабак закрыли, но в городе завелись тайные корчмы. Пропойц жестоко наказывали, секли плетями, кнутом, сажали на цепь, рвали ноздри. Да только толку было мало. Тогда снова открыли государевы питейные дома, кабаки. Пусть хоть прибыль в государеву казну течет...

Тобольские кабаки славились на всю Сибирь.

Там, где в город врывается Московский торговый тракт, манил и будто подстерегал тоболян и наезжих людей большой питейный дом «Отряси ноги». А подале услаждали жизнь питух «Подкопай», «Скородум», «Веселый», «Малотравка». На берегу Курдюмки, у Панина бугра, шумствовал «Кокуй».

В чадных, душных кабацких горницах упивались вином, дымили табашным зельем, пьяно смеялись, плакали, матерились, по частую жестоко дрались, разговаривали разговоры служилые, торговые, работные, гулящие люди.

Питейный дом, кабак манил не только чарой, но и тем, что здесь можно было душу словом отвести, потолковать, поспорить, услышать разные вести со всех концов земли.

Тут не только упивались вином, тут, кто шепотно, кто в голос, говорил, расспрашивал, что деется на Сибири, на Руси, на всем белом свете.

Кузьма Черепанов по часту любил заглядывать в кабак «Отряси ноги», что стоит у тракта Московского. И брата своего меньшого – Ивана – Ивашку водил. К делу ямщицкому приучал на козлах, а тут, в кабаке – к жизни.

– Сие – наши «Тобольские Ведомости», – говорил наставительно Кузьма Ивану. В «Санкт-Петербургских Ведомостях» того не вычитаешь, что поведают тебе шепотно хожалые люди, знатцы. Тут все новины знают первыми.

Далеко от Тобольска до Петербургских царских дворцов, одначе тоболяки знали, что там деется. И хоть опасались, край опасались «слова-дела», пытошной тайной канцелярии с ее дыбой, кнутом, а шло в народе злое шептание.

Дымно, изьяно *<(пьяно)>* шумствовал, куролесил кабак, а шептание велось трезвое, гневливое.

Еще не так давно, на памяти старожил, тут разговоры разговаривали:

– У государыни де Анны Ивановны в голове реденько засеяно, живет блудно, потворенно. В государевых делах мало смылит. А все дела решают за нее немцы: министр Остерман, фельдмаршал Миних, полюбивник царицын

немец же Эрнешка Бирон-конюх... Вместе со своими дружкойм бароном Шембергом присосался к нашим горнорудным заводам и сосет, сосет прибыли. Царица под немца легла и опять же Русь под немца подвела...

Тоболяне все знали...

<Высокий, зверовато поросший волосом ямской Прокопий Никитов проподнялся над столом, оглядел кабацкий народ, склонился к соседу – Кузьме Черепанову и в ухо зашептал:

– Сказывают, в палате, где министры заседают – кабинетом зовется, кровать с пуховиками. А на тех пуховиках возлежат ее императорское величество Анна Ивановна. Министры де заседают, а она позевывает да посапывает дурра, делами не печалится. За нее, мол, решат, подумают. Полюбовник ейный немчик из Курляндии – Эрнешна Бирон – конюх – с лошадыми лучше, чем с людьюми разговаривает, до человека русского лют. Вместе со своим другом бароном Шембергом присосался к нашим горнорудным заводам и грабит, грабит прибыли. А кабинет-министр Остерман яко гиена хитер, коварен. Царица-дура под немца легла, и опять же Русь под немца подвели... Свои баре куда с добром шкуру с народа сдирают, а ныне русскому человеку от утеснителей, поборов вздохнуть немочно... Да ты и сам знаешь... Иноземцы, немцы, яко змеи ядовитые вникли в Русь, гонят ее к погибели...>

Да, дымно, пьяно шумствовал кабак, а шептание шло трезвое, гневливое, западало в душу: слушай, внимай, слушай, внимай, думай. О своей боли вопляем. Крайнее Руси разорение пришло, печаль в народе...

– И де взяли на нашу голову сию бабу? – в один голос спросили за столом.

– Произведена на Руси, – сказал высокий, зверовато поросший волосом всезнающий ямской Прокопий Никитов, – приплод царя Ивана Алексеича. Дщерь его. Выдали ее замуж за герцога Курлядского, тот помер, а она завела себе полюбownika Бирона. Сидела б себе там в Митаве до скончания века. Да нет же, то все наши верховники – князья окаянные Долгорукие, Голицыны и иные. Привезли ее из Курлядской – Курвинской провинции, посадили на престол – возжаждали сами Русью править, а бабу держать в своих руках на престоле. Да нет же, немец осилил...

А по кружалам, от чары к чаре промеж людей, по всему Тобольску от подворья и подворью шли слухи, шептанья, шли вести...

Иван был в ту пору юнцом – отроком, но помнил разговоры разговаривали в отцовском доме, у брата, на торговище – шепотком и в голос про казни лютые в столице.

Четвертого сентября 1740 года из Санкт-Петербурга привезли в Тобольск пытанного дыбою, битого кнутом, закованного в железы бывшего обер-

прокурора Сената генерал-криго-комиссара и вице-президента Адмиралтейской коллегии Федора Ивановича Соймонова.

Иные говорили, у него ноздри выдраны, а иные – только спина от шеи до копчика драна. Кнут выдрал куски мяса, худо заживает – не молод человек.

Тобольки немало повидали в своем граде опальных ссыльных высоких особ. На памяти стариков, провозили в крытых наглухо кожею возках бывшего генерал-фельдмаршала Меньшикова Александра Данилыча с семейством, с дочкой Марьей – бывшей царевой невестой, а через три лета, по той же дороге в тот же Березов семейство князей Долгоруковых, опять же с дочкой – царевой невестой Катькой¹⁰.

Все на памяти, не привыкать-стать! Но с Соймоновым был особый случай. Те вельможи за свои корысти, свои интересы в опалу попали, а Соймонов за Русь сердцем изболел, в кандалы закован.

...Федора Ивановича Соймонова драли кнутом, в железа ковали по делу кабинет-министра Артемия Волынского. О сем деле премного было толков в народе.

Ведомец, тот же ямской Прокопий Никитов *<шепотно>* рассказывал братьям Черепановым, вернее, Кузьме, Ивана считал мальцом, но тот слушал со вниманием, вникал в слова Прокопия Никитова, думал.

А Прокопий рассказывал:

– ...Кабинет-министр Волынский со товарищи, сиречь по иноземному конфиндентами, подняли голос против иноземного – немецкого засилья при

¹⁰ После смерти Екатерины I императором был провозглашен внук Петра I – двенадцатилетний Петр II (сын казненного царевича Алексея). Меньшиков, стоявший тогда у власти, задумал женить малолетнего императора на своей дочери Марии.

Но против Меньшикова возник заговор влиятельной группировки аристократов во главе с членами Верховного Совета, князьями Долгорукими и Голицыными.

В сентябре 1724 года Меньшиков был арестован, сослан в Березово вместе со всей семьей, в том числе царской невестой Марией.

При дворе большое влияние приобрел Долгоруков. Подобно Меньшикову он решил закрепить свою власть брачным союзом – женить того же малолетнего императора Петра II на своей дочери Екатерине. Уже был назначен день свадьбы. Но Петр II заболел оспой и умер. Члены Верховного Совета при императоре решили возвести на престол Анну Ивановну – дочь брата Петра I – немощного Ивана Алексеевича, в свое время выданную замуж за курляндского герцога, но вскоре овдовевшую. Двадцать лет Анна провела среди курляндского дворянства.

Для будущей императрицы верховники сочинили «Кондиции», ограничивавшие самодержавие, но не в интересах всего дворянства, а в пользу его верхушки, заседавшей в Верховном Совете (князья Долгоруковы, Голицыны и другие).

Гвардейская дворянская среда была возмущена «Кондициями», поддержали Анну, она порвала эти «Кондиции» и стала самодержавной императрицей. Бывших «верховников» подвергли жестоким пыткам, затем казнили – отрубили головы, а семьи их выслали в Березов. Так в Тобольске мимоходом появился крытый возок со второй бывшей царевой невестой – Катькой...

<Малообразованная, ленивая новая императрица Анна не проявляла интереса к государственным делам, но безудержно тратила средства казны на различные увеселения. В ее царствование небывалых размеров достигло влияние иностранцев. Тон при царском дворе задавал невежественный фаворит Анны – курляндский конюх Бирон.>

царском дворе, сочинили «Генеральное сочинение о поправлении внутренних дел». Написано де сие для царицы, для Анны Ивановны, по ее указу.

Но допреж Артемий Волынский читал сие сочинение своим сотоварищам – конфидентам, с коими в фамилиарной дружбе состоял. И те конфиденты давали ему советы, как лучше поправление внутренних дел в державе провести, говорили поносительные слова про Бирона, Остермана, <Миниха,> саму императрицу, обличали неподобства многих царедворцев.

Сказывают, Волынский про саму императрицу говорил: «Государыня де у нас дурра, и революции от ней никакой не добьешься. И ныне у нас Бирон что хочет, то и делает».

Ямскому Прокопию Никитову верные люди говорили, а он рассказывал в кружале Кузьме Черепанову, будто сам своими глазами видел, как в далеком Санкт-Петербурге, на Сытном рынке, близ Петропавловской крепости поставили амвон из пятидесяти бревен. И на сем амвоне творили казни. После исповеди и приобщения святых тайн бывшему кабинет-министру Артемию Волынскому вырезали язык, отсекали правую руку, а потом голову. И сие по императорскому указу «с милосердием». Поначалу Волынского приговорили посадить на кол живым. По тому же указу «с милосердием» сотоварищам-конфидентам Волынского – архитектору Еропкину и инженерных дел советнику берг-коллегии Хрущову отсекали головы.

Бывшего обер-прокурора Федора Соймонова нещадно секли кнутом, по учинению экзекуции заковали в железа и отправили в Сибирь – в Охоцкий острог, на вечные работы в солеварни.

Тот же Прокопий Никитов дознался и нашептал братьям Черепановым, что колодника Соймонова вез из Санкт-Петербурга до Тобольска лейб-гвардии Семеновского полка капрал Бражников и три караульных солдата.

Сему Бражникову из Тайной канцелярии было предписано – содержать одного колодника строжайше, под надлежащим караулом и никого к нему не допускать, и писем писать ни к кому не давать, и смотреть накрепко, чтобы он над собою повреждения какого не учинил, тако ж из-за караула не мог учинить себе утечки.

Два с лишком месяца пробыл Бражников в пути и осенью 1740 года «с благополучием» доставил одного колодника в Тобольск. Тут его принял под расписку, при указе, секретарь Сибирской канцелярии Соколов и не тотчас отправил в Якутск под караулом с сержантом Тобольского гарнизона Иваном Тараториным да с тремя же караульными солдатами.

Быстро, в самой крайней скорости, отправили Соймонова в Якутск, а потом в Охоцк на солеварни, а тоболянам все же стало ведомо, что губернатор Плещеев наказал Якутскому воеводе содержать бывшего обер-прокурора наистрожайше,

под крепким присмотром. И чтобы кроме работ в солеварне, до никаких других дел Соймонов не был, отнюдь, допущен и никакого пристойного сообщения и рассуждения ни с кем ни имел, писем не писал. А на пропитание в Охоцке определили давать Соймонову денег 2 копейки на день, муки – по две четверти на месяц, да крупы, соли по плепорции.

...Прокопий Никитов замолк. И молчание его было тяжелым, злым. Потом будто вспомнил, зашептал:

– ...Сказывали, тот Соймонов – книгочей, учен человек до наук, принадлежащих мореплаванию. Сочинил книгу мореходных хитростей¹¹. Да только на солеварне в Охоцке ему сия ученость без надобности была.

Прокопий Никитов неожиданно ткнул пальцем в грудь старшего Черепанова и в упор спросил:

– Ты, Кузьма, у нас книгочей, часом не слыхал про такую книгу?

– Что до мореплавания, я не доброхот...

– Это зря. Мы – ямские – тоже плователи, не морем, так землей. Землеплователи. Тройка – твой корабль, почтовый тракт – море. Плыви, примечай, думай...

Ивану пришлось по душе слова Никитова.

Всю ночь Иван Черепанов думал о сем случае, а было ему в ту пору шестнадцать годков. В мыслях провожал он Федора Соймонова в дальнюю далечень... Пылила сентябрьская дорога, жарко горели сентябрьским багрянцем леса, надсадно дышали притомленные кони, уносили закованного в железа вице-президента Адмиралтейства, ученого книгочея, сочинителя книг в край земли – Охоцкий острог – на соляные варницы...

Минуло с той поры семнадцать годков.

21 сентября 1757 года в Тобольск прибыл новый губернатор – тайный советник Федор Иванович Соймонов. О том во всенародное известие был объявлен указ ее императорского величества Елизаветы Петровны.

Новый правитель Сибири прибыл не из столиц России – Санкт-Петербурга или Москвы, а из далекой дали – окраины Российской империи – из Нерчинска... Прибыл без шума, без пышного поезда, сопровождали его писарь, трое солдат и сын – прапорщик Афанасий Соймонов.

Был новый губернатор в преклонных годах, изрядно сед. Годы, ветры, солнце, тяготы жизни наложили на его лице свои отметины, иссекли морщинами. Но статью был еще строен, крепок.

...Быстро несли добрые кони нового губернатора в стольный град Сибири – достолавный Тобольск. Но быстрее тех добрых коней губернаторских мчалась

¹¹ «Экстракт штурманских искусств».

на сказочном скакуне, а может на крылах иль ковре-самолете, кто знает, на чем она мчит – людская молва... Да, людская молва обогнала добрых губернаторских коней и принесла в стольный град Сибири дивий сказ. В сказе сем народ по-своему переиначил, построил, сочинил судьбу битого кнутом колодника Федора Соймонова – будущего губернатора Сибири.

На Нижнем торговище Иван Черепанов услышал от ведомца сказ. В сказе том Соймонов вместе с простым черным людом долгие годы нес тяготы каторги, и ноздрю ему рвал палач, как простому мужику.

После смерти императрицы-тиранши Анны Ивановны диссидентам Волынского «вина была отпущена» и они возвращены из ссылки¹². Послали в Сибирь и за Соймоновым бравого капрала Капорского полка Тимофея Васильева.

...Долго ли, коротко, как в сказке сказывается, ездил бравый капрал по сибирским острожкам, крепостям, да нигде колодника Соймонова Федора сыскать не мог. Сгинул в сибирских дебрях нехоженных – и все тут! Сгинул! Мало ли народу в Сибири загнуло. Добрался наконец гонец до самого края света – до Охочка, до Охочких каторжных солеварен. Зима стояла крутая. Мороз лютовал, прожигал до костей.

Заглянул офицер в поварню, сел за стол, пригорюнился. Подошла к нему стряпуха и участливо спросила:

– Чего, твоя бродь, закручинился, пригорюнился?

Пожаловался капрал на свою судьбу. Не может де выполнить царев наказ, найти колодника Соймонова, отдать ему цареву милостивую грамоту с почетом.

В закуте той поварни то ли дремали, то ли грелись после каторжных работ колодники. Только молвил сове слово капрал, зазвенели, застонали цепи кандалные, поднялся с пола седой старик. Рубаха на нем солью пропитана, коробом стоит, на щеке соляная слеза застыла.

– Кого ищет та царева грамота? Повтори-ка, служивый, – прохрипел он.

– Бывшего обер-прокурора, генерал-кригс-комиссара Соймонова Федора... А чего тебе, варнак, надобно? Может, слыхал про такого?

– Слыхал, слыхал, – сказал колодник.

Капрал как схватил его за грудки, как затрясет, как закричит: «Говори, говори не тотчас, варначья твоя душа. Где слыхал, от кого слыхал?! Говори, не то жизнь из тебя твою варначью вытрясу! Говори!

– Чего же, и скажу. Сказать можно. Я вот и есть оный Федор Соймонов, бывший обер-прокурор, генерал-кригс-комиссар, а ныне варнак Федька Беспрозванный. Фамилию-то мою утеряли...

¹² При правительнице Анне Леопольдовне.

Не поверил поначалу капрал, начал дознаваться, а дознавшись, возблагодарил бога за то, что кончились его скитания и царев наказ будет выполнен...

Новый губернатор ехал еще где-то на перегоне меж Нерчинском и Иркутском, а на Тобольских торговищах, в тобольских кабаках рассказывали, слушали, передавали из уст в уста историю варнака Федьки Соймонова. Да тут еще добавляли: новый де губернатор не токмо кнутом бит, на Сытном рынке, на амвоне палач ему калеными щипцами ноздрю выдрал. Да лекарь сибирский добрый (где же ему, такому доброму не обрестаться, как в Сибири) разгноил драную соймоновскую ноздрю, зашил, заростил так, что и следа не осталось. Только тот, кто знает, может высмотреть рубец...

И еще сказывали люди такое: бравый капрал вручил Соймонову цареву грамоту, да Соймонов не возжелал возвернуться в столицы, к царскому дворцу, а возжелал жить в Сибири, в Нерчинске городе... И жил, и со своими сынами плавал по Амуру, Аргуни, Иногде, Хилке, разведывал и описывал новые землицы... Так в народе сказывали...

А было?

Всероссийского Отечества всенижайший патриот

Семинарский учитель Яков Волынский – добрый давний знакомец семьи Черепановых рассказал, как оно содеялось в жизни, а не в сказке. Все было: и кандальная цепь, и Охоцкий острог, и соляные каторжные варницы.

Только не затерялся в сибирской дали соймоновский след. За такими именитыми каторжанами начальство глаз да глаз имело. И посланный из тайной канцелярии в Охоцк капрал Тимофей Васильев с указом о помиловании, сразу нашел Соймонова. И не отказался помилованный вернуться в отчие места, а сразу же с капралом отправился в обратный путь. Пока капрал Тимофей Васильев довез указ о помиловании до Охоцка, в далекой столице свершился еще один дворцовый переворот. На царский престол взошла дочь Петрова – Елизавета.

В родовую деревню Соймоновых – Волосово, что на Серпуховской дороге, Соймонов со стражем прибыли в 1742 году, по санному еще пути. Но снега уже курили весенним туманом, набухали влагой стволы берез, а в полдень, под мартовским солнцем, точила светлая капель. Земля дышала весной.

В Волосово Федора Ивановича с нетерпением ожидали верная супруга Дарья Ивановна и сыновья. Это ее – Дарьи Ивановны стараниями, прошениями бывший генерал-кригс-комиссар был освобожден и возвращено ему родовое поместье.

<Вскоре в Московском кремле, пред Успенским собором, при собравшемся народе было прочитано вслух объявление по публикации и непорицанию Федора Ивановича Соймонова тем наказанием и ссылкой. И тут же Соймонов был знаменем прикрыт и отдана ему шпага с эфесом и на ножнах с наконечником серебряным без крючка.>

И хоть по указу с прочетом оную вину Соймонову отпустили, да видно, не сполна. В том же указе говорилось: от военной и статской службы его отставить и ни к каким делам не определять. Видно, остался у кое-кого зуб на бывшего обер-прокурора.

Почти одиннадцать лет прожил Соймонов в своей тихой родовой деревне Волосово «не у дела» и назвал эти годы «скучными».

Но в «скучные» свои годы Федор Иванович взял в руки перо историописателя. Он вознамеривался из пространной Российской истории выбрать «случаи» и написать краткий экстракт. Назывался сей краткий экстракт пространно: «Сокращенное описание о приращениях Всероссийской империи по разным достопамятным случаям, а паче в царствование государя императора Петра Великого и како внешне цветущее и во всем свете славное состояние приведена».

В предисловии к «Краткому описанию» Соймонов подписал: «Благосклонного читателя всепокорнейший слуга, Всероссийского Отечества всенижайший патриот Федор Соймонов».

Когда семинарский учитель рассказывал Черепановым о сем кратком Соймоновском экстракте, он дважды повторил соймоновское определение: «Всероссийского Отечества всенижайший патриот». Чуешь, как он называл себя?!».

Иван мысленно, вслед за учителем повторил: «Всероссийского Отечества всенижайший патриот...». Ему пришло по душе, взволновала сия Соймоновская подпись, и вся история Соймонова.

Нежданно-негаданно в тихую подмосковную деревеньку Волосово пришла Соймонову весть от давнего флотского друга Метлева.

Метлев получил губернаторство в Сибири и звал друга в Сибирские страны. Готовилось некое важное предприятие – новая экспедиция, коей надлежало продолжить труды знаменитой Беринговой экспедиции по изысканию и изучению новых земель, народов Сибири и описанию их.

...Было в ту пору Соймонову за шестьдесят лет. Возраст преклонный, требовавший отдохновения от трудов. Но Федор Иванович сразу и, надо полагать, с радостью, принял предложение друга и начал сборы в дальнюю

дорогу, в Нерчинск¹³. Зачислялся он экипажмейстером Нерчинской экспедиции. Бывшему генерал-кригс-комиссару адмиралтейства в присвоении звания морского капитана было тогда отказано. Видно, продолжал покусывать старый злой зуб.

Вместе с Соймоновым в сибирскую далечень, в экспедицию ехал старший сын штык-юнкер Михаил. А спустя некоторое время в Нерчинск же, по просьбе отца, был направлен младший сын Афанасий. Служил он сержантом архитектории в команде обер-архитектора Растрелли.

Ради «такой дальней посылки» младшего Соймонова из сержантов произвели в прапорщики. Был он искусен в черчении планов, карт.

...Вот таким случаем и очутился снова бывший генерал-кригс-комиссар с сыновьями в Сибири.

...В легенде, в сказе народном, конечно, вышло красивее: сам возжелал после соляной Охотской каторги остаться в Сибири навечно... Сам возжелал. В жизни содеялось по-иному.

Но правда в том: своей волей, горением своего сердца уехал старый Соймонов из тихой родовой подмосковной деревеньки от домашнего уюта в суровую сибирскую далечень, в полную тягот, бурь, многотрудную жизнь «по обысканию неизвестных мест и народов в такой отдаленности». Правда народного сказания о Соймонове в том, что вместе с геодезистами, землемерами, прибранными для экспедиции, Федор Иванович разведал реки Селенгу, Хилку, Иногда, Онон, Нерчь, Шилку, Аргунь – «каковы они глубиной – форватером, берегами; есть ли земли к хлебородию склонные, леса к строению годные, мочно ли оплавлять те леса по рекам».

Шли водою и сухопутьем – по берегу, разведывали, записывали, и карты всем тем рекам сочинили и описи к ним. И перестали те земли быть неизвестными.

Вместе со старшим сыном Михаилом составил Федор Иванович атлас Нерчинских земель.

...И еще для «пробы» на порожних, и хлебородию склонных землях, стараниями Соймонова сеяли в зиму рожь, а по весне коноплю, горох, гречиху.

И еще открыл Соймонов в Нерчинске навигацкую школу. И, несмотря на крайнюю занятость трудными делами экспедиций, Федор Иванович обучал в сей школе отроков навигацкой мудрости и иным наукам. А для нерчинских казачьих детей устроил обучение разным мастерствам «к впредь надобному бытию».

...Добрый след оставил по себе Соймонов на Нерчинской земле.

И люди тот след оценили, «в память накрепко взяли». И полетел во все концы Сибири дивий сказ-легенда про бывшего генерал-кригс-комиссара

¹³ Нерчинск был отправным пунктом экспедиции. Там располагалась ее штаб-квартира. По городу и экспедицию называли Нерчинской.

Федьку-каторжника с драной ноздрей, возжелавшего навечно остаться в Сибири, полюбившего сибирскую землю...

...Тоболяки, да и не только они, вся Сибирь сторожко приглядывалась к новому губернатору.

Далеченько от губернаторского дворца до ямщицкого двора Черепановых. Про то здесь чутко прислушивались к тому, что деется на горе в губернаторских палатах, к вестям из губернской канцелярии.

Иван, да не только Иван, все Черепановы, все тоболяки благодарственно принимали эти вести.

По всему Московско-Сибирскому тракту рассказывали про дворянина Мельникова из города Кузнецка. Сей дворянин не отдал ямщику по подорожной сорок алтын за проезд, ругал его непристойно, матерно, руку на него поднял. Такое на тракте частенько случалось и никого не дивило. Такая уж она, ямщицкая доля. Барин изгаляется, а ямщик знай терпи, помалкивай. Да только на сей раз венец делу был иной.

По приказу губернатора оный дворянин Мельников был посажен на цепь.

Гудом гудел Сибирский тракт. Иван услышал про сие еще на перегоне из Тюмени. Только распряг лошадей, толкнул дверь ямской, а навстречу из дымного, духмяного туманца грохнул смех. Чернобородый ямщик, размахивая над столом ложкой, рассказывал:

– Чепь-то, почитай, самый длиннющий на съезжей. А ихнее дворянское благородие без привычки прыгает, дергается, мозолится. Ночь просидел, к утру не вытерпел, выложил ямским не сорок алтын, а сорок рублей... Вот он как обернулся, губернаторский приказ.

Издавна слышно было на торговищах, в кабаках, в избах говорил народ о лакомствах управителей, отяготительных и народу разорительных, о лихоимстве, алчной корысти судейских.

С прибытием Соймонова из губернской канцелярии шли дивные вести. Новый губернатор открыл большую войну лихоимцам, казнокрадам, разорителям народа. Быстрокрылой птицей облетела Сибирь весть: Тарского воеводу Кульнева, который вместе с женой и тещей – сам третий – взятки брал, губернатор отдал под суд.

А советник губернской канцелярии Соколов, тот самый, что двадцать лет назад принял под расписку колодника Соймонова, уличен в разных махинациях в соляных поставках, лихоимстве. И новый губернатор, приказал тому советнику впредь у дел не быть.

Много говорили в народе о проделках коллежского ассесора Крылова Петра Никифоровича. Сей Крылов – следователь по винокуренным делам завел бесконечное следствие, запутал в него много людей, через пытки вымогал у

людей деньги, грабил их. По предписанию губернатора Соймонова Крылов был арестован, отправлен в Петербург, наказан кнутом, сослан на каторгу.

Новины шли за новинами. Не обминули они и ямщиков. Новый губернатор затеял устроить тракт через Барабу. Начали ставить ямы, почтовые станки, заселять притрактовую степь, переводить ямщиков из Демьянского, Самаровского, Тарского ямов, да еще зачисляли в ямские охотники приписных крестьян, освободив их на первые три года от податей, повинностей.

Добро то или худо время покажет...

Иван жадно ловил сии вести, радовался, гордился деяниями нового губернатора. Словно не Соймонов, а он сам – простой тобольский ямщик, творил сие. Жаждал хоть словом перемолвиться с Соймоновым, да не надеялся, далеко от губернаторского дворца до ямщицкого двора Черепанова. Далек...

Но вот содеялось нежданно-негаданно.

...Служка из губернской канцелярии пришел кликать Ивана. Такое час от часа бывало. Грамотеев-тоболян звали в канцелярию на подмогу, вести перепись податного населения, сочинять ревизские сказки, ведомости.

...Иван только принялся за дело, в палату вошел сам губернатор Федор Иванович Соймонов – волосы – в седине, лицо в морщинах, а держится браво, по-молодому, военная выправка.

Поздоровался и спросил в упор:

– Ты Иван Леонтьев Черепанов?

Иван вскочил, вытянулся по струнке.

– Садись, садись, – успокоил его Соймонов. – Молва идет, летопись творишь Сибирскую. Историописатель... То добро...

Ивана в жар бросило. Покраснел, как девица. Его еще никто не называл историописателем...

– Как ведешь записи?

– Погодно. От сотворения мира, Рождества Христова, царствование наших монархов, взятие Сибири Ермаком...

– ...Я сам в былое время составлял краткий экстракт о приращениях Всероссийской империи по разным достопамятным случаям, а паче в царствование государя-императора Петра Великого...

И пошел, пошел разговор... Историописатель говорил с историописателем...

Разумеется, вспомнили о Миллере.

Для Черепанова Миллерово «Описание Сибирского царства» было примером, образцом, с коего он брал уроки историописания.

Для Соймонова Миллер был другом сердечным, с ним он вел оживленную переписку, на страницах издаваемого Миллером «Сочинений и переводов к

пользе и увеселению служащих» печатал свою знаменитую статью «Древняя пословица – Сибирь – золотое дно».

Иван читал эту статью, и она пришлась ему по душе.

...Некий вышедший в отставку военный человек вспомнил древнюю пословицу «Сибирь – золотое дно», возжаждал обогатиться в сием дне. И написал другу, проживающему в Сибири. Друг ответил жаждущему сибирских богатств: обогащаются в Сибири начальные особы, кои в погоне за наживой творят разные злочинства, воровства. И рассказал о таких чиновных особах – лихоимцах, казнокрадах, грабящих народ.

Истинные богатства Сибири – в недрах земли, лесах, водах, в изобилии дикого зверя, рыбы.

Соймонов щедро раскрыл сие изобилие перед читателями.

Иван читал и дивился, Соймоновское писание будто вторило его – Черепанова мыслям, думам о родной земле...

Батюшка Денис <(IX)>

Листали книгу времени годы, приносили новины, как и всей Руси, так и Тобольску...

В 1763 году Федор Иванович Соймонов вышел в отставку и уехал из Тобольска. На смену ему прибыл новый губернатор генерал-майор Денис Иванович Чичерин.

Начиналось «Екатерининское время». На царский трон взошла императрица Екатерина II (1762 г.)

В народе, на тобольских торговищах, в кабаках уже шли толки: новая русская царица Екатерина вторая, немка и природное ее имя София-Августа, вывезена из немецкого города Штеттина взамуж за наследника-царевича Петра. В православии нарекли ее Екатериной Алексеевной.

Когда умерла царица Лизавета, наследник стал императором Петром III, да недолго было его императорство. Супружница его захватила царев престол силой гвардии, загубила своего мужа. Знатцы сказывали: удушили его царицыны фавориты.

Так, иль не так было, а уж верно то было: новое царствование принесло народу новые тяжкие подати, повинности, всеконечное разорение. Екатерина II издала указ о дозволении помещикам, по своей воле, ссылать «за продерзостное состояние», без суда крестьян, работных людей в Сибирь, на каторгу. И еще был указ не утруждать императрицу «недельными челобитными». Жалобщиков стегали плетьюми, рвали ноздри. <(клеймили)>

Толковали: новая императрица – баба умственная, ученая, ума-палата, политику с иноземными государствами ведет разумную. Министры, генералы у нее по струнке ходят, толковали: новая императрица заявляла, что хочет «все устраивать ко благу всех вообще и всякого особо», но простому народу сие благо пока не доходило...

И еще сказывали: новый тобольский губернатор Чичерин – в молодости гвардейский офицер – кутила, а ныне бравый, видный собой, файный мужчина в большом фаворе у новой царицы. Она ему генеральский чин дала, орденом святой Анны первой степени наградила. Народ – он все знает...

Первые дни своего губернаторства в Тобольске отметил великим пиром, под гром пушек, бой барабанов.

Тоболяки дивились пышностью пира, многолюдству гостей, множеству явств, питий.

В тобольских кабаках знали, какие блюда-перемена подают к губернскому столу. Там все знали.

Чичеринские пиры следовали один за другим и уж вошли в Сибири в поговорку. Звенели серебро и хрусталь посуды, играли оркестры, гремели пушки. Батюшка Денис (так повелел он сам себя называть) любил пировать при пушечной стрельбе.

Да вот беда – не задались отношения меж губернатором и митрополитом Павлом Конюскевичем.

Весь Тобольск, да что там Тобольк, вся Сибирь ведала о неладах меж светским и духовным властителями. Когда один говорил – черное, другой – белое, стрижено – брито...

Стоило подать благовест на колокольне храма Софии Премудрости, и губернатор приказывал дать залп из пушек.

Церковные службы шли не только под звон колоколов, но и уханье орудий.

На масляной батюшка Денис приказал своим слугам переодеться в монашеские рясы и для посрамления владыки пойти в кабаки, непристойные дома к блудным женкам. В народе пошел слух о непристойности святых отцов и самого митрополита.

Разгневанный митрополит повелел своим иконописцам нарисовать на задней стене Ильинской церкви картину страшного суда Божьего. В огненной гиене, среди грешников, на самом видном месте был нарисован бравый генерал в полной форме, в котором тоболяки узнавали своего губернатора...

Так и жили в злых несогласиях. Гремели пушки, звонили колокола, черное – белое, стрижено – брито...

Но батюшка Денис не только устраивал пышные пиры и враждовал с духовным пастырем. Он правил губернией, иной раз с жесточью, но рачительно

<(был рачительным хозяином)>, хозяйственно, покровительствовал развитию торговли, промыслов, ремесел, основал геодезическую школу, исходатайствовал открытие в Тобольске банковской конторы.

Бедой Тобольска, как и иных городов, были пожары.

После очередного большого пожара строительство домов в Тобольске начали вести по проектируемому регулярному плану, утвержденному в столице. Губернатор взял под свою высокую, твердую руку градостроение. За нарушения взыскивал крепко. Если какой дом, усадьба выходили из ранжиру, были поставлены «не так», Чичерин, не тотчас повелевал «разломать до подошвы», а геодезиста, смотревшего за строением, сажал на гаупвахту «на хлеб и воду».

С особым вниманием губернатор относился к каменному строению, и хотя враждовал с владыкой, к возведению храмов приглядывался. Дошли до него и запомнились имена мастеров каменного строения – ямских тяглецов братьев Черепановых. Видно, со своего губернаторского высока видел он многое...

Когда в дальней степной крепости на берегу реки Оми вздумали ставить первое каменное строение – храм, и командир сибирского корпуса генерал-поручик Иван Иванович Шпрингер попросил прислать доброго мастера каменного строения, губернатор Чичерин назвал тобольского ямщика Ивана Черепанова. <конец главы в рукописи – прим. ред.)>

...Степанида собрала супруга в дорогу. А дорога предстояла дальняя, в степные непривычные места.

Тракт Сибирский дальний.

...Ехали по Сибирскому казенному тракту, через Аевский волок, Тару. По этому тракту возили почту, мчали государевы курьеры, гнали партии колодников, ссыльных.

На окраинах почтовых селений по тракту стояли казармы, обнесенные высоченным тыном со сторожевыми вышками – этапы и полуэтапы. Тут останавливались на ночевки партии колодников.

По пути под Тарой обогнали такую партию. Впереди шли каторжные в тяжелых железах – кандалах. Тупой кандальный звон разносился далеко.

За ними – ссыльные поселенцы, без ножных кандалов, но прикованные по рукам к цепи. Сзади женщины, также скованные по рукам к цепи. В хвосте обоз с женами, детьми, следующими за мужьями.

И плыла над колонной «Милосердная».

...Милосердные наши батюшки,
Не забудьте нас, невольников,
Заключенных Христа ради...

Мы сидим во неволюшке –
Во неволюшке, в тюрьмах каменных,
За решетками, за железными,
За дверями за дубовыми,
За замками за висячими.
Распростилися мы с отцом, с матерью,
Со всем родом своим, племенным...»

С болью смотрел Иван на скованных железами людей, слушал эту песню. Она звучала, как стон. Будто стонала сама земля, стонало все в ее груди.

Щемило сердце. Целый день преследовала Ивана «Милосердная», хотя не раз слышал он ее и в Тобольске, и на ямщицких своих перегонах.

...В Таре что-то не задалось с лошадьми и остановились подольше. Иван пошел в город.

Тара раскинулась на взгорье-увале, чуть отступившем от Иртыша.

...Было раннее утро. Низкое побережье было еще в тени, а взгорье лежало уже в полосе света.

Иван глядел на город и вспоминал все, что слышал, читал о Таре.

Бывать тут не приходилось, но в архиве Губернской канцелярии видел опись дозорщика Василия Тыркова, царевы приказы, доношения воевод, челобитные служилых людей.

...Город сей был поставлен в лето 7012 от сотворения мира¹⁴ – тут – на тогдашнем порубежье, на южном краю русской Сибири, для того, чтобы вконец истеснить хана Кучума. Так и в царевой грамоте наказывалось первому тарскому воеводе князю Андрею Елецкому: Кучума царя истеснить, пашню завести, соль устроить.

Тарским ратникам не раз доводилось ходить в дальние походы, воевать с Кучумовыми лучниками, что грабили, жгли порубежные русские селения.

А когда с далеких Китайских пределов в Прииртышские степи вторгались немирные кочевники-джунгары, тарчанам пришлось защищать не только порубежные волости, но и отражать осаду воинственных пришельцев у самых стен города.

У софийского книгохранителя Иван читал старинную повесть об осаде Тары.

...Джунгарский тайша привел к стенам Тары своих воинов, одетых в кольчатые железные панцыри и сказал тарским гражданам: «разорите град свой, мы хотим зде кочевать». Но тарские граждане разорять свой город не захотели и, когда на землю спустилась ночная тьма, вышли из стен крепости и напали на

¹⁴ 1594 г. по летоисчислению от Рождества Христова, введенному в 1700 г. Петром I.

вражеский стан «яко соколы, ударившиеся на многие журавлиные стаи». Всю ночь длилась жаркая сеча. Закончилась она тем, что джунгарский тайша со своими воинами в железных, кольчатых панцырях «со срамом поидоши».

Так сказано в той стародавней повести.

Все это было здесь, у крепостных стен: осады, сраженья... Пожалуй, ни у одного города на Иртыше нет такой бурной военной истории.

...Иван шел по тихим, нешироким тарским улицам. Рубленные пятистенники, избы со связью на подклетьях, крестовые дома не отличались от тобольских. Мало тут было дымовых труб над крышами изб, почти все с волоковыми оконцами. Красили город, подымали ввысь храмы, как и избы, деревянные. Иван насчитал по колокольням пять церквей.

Шумело торговище. Шумствовали, галдели питейные дома. Перед уездной канцелярией стояли козлы. К козлам привязан человек. Палач хлестал кнутом по обнаженной спине, правил недоимку. Все, как в иных городах, где побывал Черепанов. Все, а сказки свои...

Иван знал, что тарчан в Сибири прозывают «коловичами». И сейчас вспомнились указы, доношения, промемории тех давних лет кои хранились в архиве. Они вводили во времена царя Петра I. Тара в ту пору стала «гнездом раскола». Сюда, в глухие таежные места стекались раскольники из крестьян, казаков. Раскольничьи скиты были раскиданы в глухоманях тарского урмана.

В петровское время возросло непомерно бремя тягот, податей, повинностей. С крестьян, казаков кроме подушного, брали налоги с домового места, с дыма, бань, рыбных ловель и иные. На старообрядцев по цареву указу наложили двойной оклад.

«Обложили податями-повинностями – не вздохнуть», – печаловались, гневались люди.

Казаков к тому же замучили службы в отъезд в Омскую, Железинскую и другие крепости, хотя служили они «с пашни», хлебного жалования не получали.

Народ волновался. Многие уходили семьями в тайные таежные скиты, иные самосжигались. Иван записал в свою летопись немало о таких самосожжениях. Собирались иной раз целой деревней в ските, в моленной, поджигались и с пением молитв очищались в огне, погибали... Писал, а перед глазами была Аннушка, как ушла она в огонь. Аннушка. Столько лет прошло, а сердце кровью обливалось...

По весне 1722 года пришел новый Петровский указ о престолонаследии, о том, что правящий император может своею волею назначить наследника и велит народу ему присягать. А наследник тот безымянный. Пошли слухи о наследнике-антихристе, имени коего даже вымолвить нельзя. Грех великий присягать антихристу. Толковали и о том, что сам государь, их императорское Величество

Петр I не русского корня – швед или немец, был подкинут в младенчестве царице Наталье Кирилловне. Потому столько зла народу чинит.

Эти слухи подогревались новыми тяжкими податями, повинностями, вливались в общий котел народного гнева.

Когда в Тару дошла весть о предстоящей присяге безымянному царскому наследнику, поднялось шумство, казаки, горожане, крестьяне собрались на сход у дома командира Тарского казачьего гарнизона полковника Ивана Немчинова. Он тоже был старой веры. На том сходе порешили сочинить «отпорное письмо» царю, в коем тарчане отказывались от присяги безымянному наследнику. Письмо сочинили и подписали.

Так тарчане «учинились воле-уставу его императорского величества противны и ко присяге не пошли, отказали с подписанием рук своих».

В Тару был послан из Тобольска карательный отряд под командою полковника Батасова.

Полковник Немчинов с казаками заперлись в доме и объявили, что к присяге безымянного не пойдут, а в случае принуждения взорвут себя. Каратели пошли на приступ. Верный своему слову Иван Немчинов взорвал дом. Каратели сумели вытащить из огня живыми, но обожженными почти всех казаков, начали допрашивать, пытаться. Немчинов умер под пыткой. В страх другим тело полковника разрубили и растыкали по кольям. А в Тару прибыл из Тобольска еще один отряд под началом самого вице-губернатора Петрова-Славова. Каратели прочесывали тайгу, разоряли деревни, скиты. Главным заговорщикам рубили головы, сажали на кол.

Старожилы помнили: по дороге, что вели в Тару, стояли колы со вздетыми на них телами тарчан-продерзателей. Потом на этой дороге поставили большие деревянные кресты «в надпоминание казней тут свершившихся». С той поры тарчан в Сибири прозвали «коловачами».

Так оно было...

Иван стоял у старого рубленного пятистенника, выславшего на улицу три оконца, убранных затейливой вязью наличников.

Стены избы от старости потемнели, ссутулились, высокие ворота покосились.

Ивану подумалось: может, в таком же доме жил полковник Немчинов. Тут собирались его казаки, гремел взрыв, бушевало пламя. Из пламени солдаты вытаскивали людей на муки пыток.

...И тихой тенью пришла к нему Аннушка, положила руку на плечо, сказала: «Запиши в летопись свою про сие страдание. Запиши... Пусть люди узнают...».

Крепость в устье Оми <(X)>

...Выше Тары берег вздымался волной увала. Река изгибалась дугой. К югу сосна поредела. Ее теснила береза, осинник, тальник. Елани стали просторнее, открывали широкие дали. Нет, пожалуй, это были не елани, а большие луговины в купах берез, тальников.

Ивану еще не доводилось видеть столько земли, свободной от тайги. Дивил, захватывал необъятный глазу простор, безкрай. Казалось, и небо тут выше, и солнце ярче. Земля сливалась с небом непривычно далеко, черта небозема. Где он, край степной земли?

Разрезая глазами правый берег, пала в Иртыш своим устьем Омь река. На берегах ее стояла Омская крепость...

О крепости сей Иван был много наслышан, да и читал в Миллеровом писании. История ее тоже уводила в Петровские времена, когда Сибирью правил же сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин.

Он то прислушался к рассказам некоего бухаретянина Нефоса о золотом песке в дальнем городе Эркети (Яркенде) и, не мешкая, доложил царю Петру. Золотишко крайне нужно было государевой казне. Войны со шведами, турками изрядно истожили ее. Да еще сказывали: царя Петра прельщал не только золотой песок, но проводывание новых земель в крайней дали страны, торговых путей в Индию, Китай, строение новых городов по Иртышу-реке.

И вот по именному указу его императорского величества в Тобольск прибыл лейб-гвардии Преображенского полка подполковник Иван Дмитриевич Бухольц. Вместе с ним команда офицеров, солдат, инженер-капитан из пленных шведов Каландер.

В Тобольске еще живы были старожилы, помнившие те времена.

Иван с вниманием прислушивался к сим рассказам.

Отец вспоминал, как по городу заходило непривычное, тревожное слово «экспедиция». В сию экспедицию набирали людей и в самом Тобольске, и в Тюмени, Таре, окрестных селах. С каждых двадцати дворов – по рекруту. Да не только казаки и солдаты требовались в той экспедиции, а художества знающие мастеровые – слесари, кузнецы, плотники, особливо рудознатцы.

Помнил батя и самого лейб-подполковника Ивана Дмитриевича Бухольца. Рослый такой, отменной гвардейской выправки офицер, ходил по Тобольску, вглядывался, с людьми заговаривал, торговица, кабаков не чурался. Сказывали: птенец гнезда Петрова. У царя Петра еще в потешном войске служил, потом с ним же со шведами сражался под Нарвой, Петербургом – крепостью Ниешанц, где ноне поставился стольный град Руси – Санкт-Петербург, участвовал в знаменитой Полтавской битве...

А ныне царь Петр послал птенца своего гнезда в наши сибирские страны, новые земли проведывать. А как же! Сибирь – ею Русь полнится!

... Помнил старый Черепанов, да не только он один, многие старики – тоболяне помнили, как провожали эту самую Бухольцеву экспедицию.

...Отслужили молебн. Все чин чином. И Бухольцева флотилия тронулась в верх Иртыша. Тридцать два дощаника, двадцать семь многовесельных лодок. Такой великой флотилии на Иртыше не видывали в наших краях.

Иван старался представить водяную дорогу Бухольцевой экспедиции. Подниматься вверх Иртыша было тяжело, как и ныне. Выпадала погода, шли под парусами, веслами, и больше тянули суда по бечевнику.

Бухольц, видно, видел чертеж Ремезова, читал ремезовскую надпись подле устья реки Оми: «Пристойно быть городу, край степи Калмыцкая». Старики сказывали, ходил подполковник домой к Семену Ульяновичу. Видеть-то видел, а устье Оми прошли не задерживаясь, поднялись выше, видно, торопились, осень подгоняла. По Иртышу уже поплыла шарошь, сало...

Отряд Бухольцев высадился на берег у Ямыш-озера и начали ставить крепостцу близ Иртыша – на речке Преснухе, чтоб зазимовать тут, а по весне тронуться в путь к неведомой, далекой Эркети.

Только достроили крепостцу, как пожаловали незваные «гости». Поначалу это были разведчики, посланные джунгарским контайшей Цеван-Рабданом. А потом пожаловал сам Цеван-Рабдан со своим войском, многолюдством тысяч в десять.

И бились с ними люди Бухольца, и от крепости отбили. Но джунгары не ушли, а осадили крепость, отняли все пути-дороги. Всю зиму длилась осада. В крепостце начался голод, тяжкие болезни – чума, сибирская язва. Каждый день хоронили людей. Крепость на Преснухе превращалась в кладбище. Но осажденные не сдавали. Ждали обещанных князем Гагариным подкрепления, провианта. А <(Но)> помощи не было... Позже говорили, посылали из Тобольска на подмогу отряд, да он сгинул без следа, видно попал в полон джунгарам.

Иван слушал рассказы тобольских старожилов, читал приказы, доношения в архиве и будто видел эту крепостцу на берегу неведомой Преснухи, окруженную земляным валом, рвом, жилые землянки, кладбище со свежими могилами, наверное, без крестов, лесу то окрест в тех местах нету; измотанных голодом, хворью людей. Лейб-гвардии подполковник, наверное, потерял свой бравый вид.

Только по весне 1716 года, когда вскрылся лед на Иртыше, Бухольцев отряд вырвался из осады и поплыл на дощаниках вниз по Иртышу. Сказывали, из 2862 человек в живых осталось семьсот.

В пустынном устье Оми суда бросили якоря.

Может быть, подполковник Бухольц вспомнил надпись на ремезовом чертеже: «Пристойт быть городу». Может быть...

Здесь-то, в Омском устье люди Бухольца заложили новую крепость. Сие сделалось по весне 1716 года. Вначале поставили два редута. Один на стрелке Оми, другой – на крутом левом ее берегу.

Так начала жить новая крепость в устье Оми. С ее насыпных валов, сторожевых башен далеко окрест просматривалась степь.

Князь Гагарин спешно, на сей раз спешно, послал подкрепление из Тобольска, Тары.

<Так начинала жить новая крепость в устье Оми... С насыпных валов, сторожевых башен далеко окрест просматривалась степь.>

Подполковник Бухольц сдал командование майору Вельямину-Зернову, а сам отбыл в Тобольск, затем, по именному государеву указу – в Санкт-Петербург – в правительствующий сенат – отчитываться¹⁵.

Хотя неудачливым сибирским аргонавтам (как насмешливо называли иные историки участников Бухольцева похода) не удалось достичь Эркеты и найти там «Золотое руно», но они проложили путь к иному руно, к верхнему Прииртышью, к несметным богатствам Алтая.

В своей летописи Иван Черепанов записал:

«Избра место на юном берегу реки Оми, около 50 сажен от ее устья... Ниской земляной вал в фигуре правильного пятиугольника, обнесен палисадом с пятью таких же болверков¹⁶ на углах и со рвом, около которого поставлены были рогатки. Сие крепостное строение еще до зимы приведено в полное состояние и назвали его по его положению Омской крепостью...».

Воскресенский собор

<Омская крепость (XI), В Санкт-Петербурге (XII, XIII)>

Иван Черепанов приехал в Омскую крепость в 1769 году.

¹⁵ В 1719 году подполковник лейб-гвардии Бухольц Иван Дмитриевич отчитывался о своей неудавшейся экспедиции перед сенатом. В ответах правительствующему сенату он рассказал о том, как снаряжалась экспедиция в Тобольске, о трудном пути до Ямыша, о бое с джунгарами, о странных событиях в крепости на Преснухе близ озера Ямышева – осаде, голоде, болезнях, гибели многих людей, о том, как крепостца превращалась в кладбище... Сенат оправдал Бухольца и подполковник продолжал свою офицерскую службу. В 1724 году по приказу Петра I Бухольц был направлен снова в Сибирь – командиром пехотного полка. Этот полк назывался якутским, он стоял в Соленгинске – в ту пору важной пограничной крепости, через которую проходила торговля с Китаем.

Бухольц прослужил комендантом этой крепости, генеральным управителем Пограничного управления 16 лет. В отставку вышел в чине генерал-майора.

¹⁶ Бастионов.

За пять с лишним десятилетий своей жизни, хотя срок для истории очень малый, строения сией крепости порядком состарились, обветшали. Палисад подгнил, во многих местах обвалился (был построен из сырого березового леса). Деревянная церковь во имя Сергия Радонежского, поставленная посреди площади еще в первые годы жизни крепости, тоже пришла в ветхость, захирели и дома вокруг.

Зато на правом берегу, на мысу, при слиянии Оми с Иртышом росла новая Омская крепость. Строили ее по последнему слову военной инженерной техники, по системе известного французского фортификатора маршала Вобана. Генерал-поручик Иван Иванович Шпрингер докладывал, что Омская крепость «середина Иртышской и Новой линии, здесь все дороги в центр сошлись с линией из Тары, Тобольска, Абатской слободы¹⁷. По этой причине генерал признал Омскую крепость «главным местом, где должно всегда находиться главному тем линиям командиру, в рассуждении того оную крепость увеличить».

А «главным тем линиям командиром» был он сам – Иван Иванович Шпрингер. Это его бдением и стараниями было начато строительство новой Омской крепости на правом берегу Оми. Строили бастионы, полубастионы, казармы, цейхгаузы, кордегарию, провиантские магазины, пороховые погреба, комендантский, офицерские дома и иное. Но пока все из дерева. Даже крепостные ворота Омские, Тарские, Тобольские, Иртышские были поначалу деревянные. Строительный лес заготавливали далеченько, в Семипалатинском, Долонском борах и сплавляли по Иртышу.

Первым каменным строением тут должен был стать Воскресенский собор <(храм)>. Его еще не заложили, а наименование дали – во имя Воскресения Христова.

Черепанову предстояло возводить этот храм.

...Иван прибыл в Омскую крепость ранним утром. На плацу шел развод войск. Под залихватые голоса флейт, барабанную дробь, как заведенные, маршировали солдаты. Сдвигались и расходились шеренги, раздавались резкие, отрывистые, как карканье ворон, команды. Офицеры выхватывали из ножен палаши, салютовали генералу, ждущему вдоль фронта. Прогарцевали на вороных казаки. Войска шли. Медь звенела...

Генерал встретил тобольского ямщика приветно, расспросил, что и где он строил, как научился каменному строению.

¹⁷ Эта крепость на стыке Иртыша и Оми служила воротами в верхнее Прииртышье. Вслед за ней шагнула вверх по Иртышу Семипалатинская, Ямышевская, Усть-Каменогорская крепости. Они охраняли юго-восточные границы Западной Сибири и рудного Алтая.

В Омской крепости замыкалась также Ново-Ишимская линия укреплений, прозванная в народе Горькой. Эта линия начиналась у реки Тобол и прикрывала юго-западную полосу русских поселений.

Крепость на Оми стала центром всех укрепленных линий Западной Сибири.

Был Иван Иванович невелик ростом, плотен, тяжеловат на вид, да и в летах, а ходил по-молодому быстро и, казалось, поспевал везде: и у себя в штабе, и в казарму, кордегарию заглянет, и среди работных людей на строении крепости побывает, и потолкует с молодыми инженерными офицерами, коих привечал к себе.

Иван Иванович Шпрингер не только строил новую крепость, но и заводил в ней новые порядки. Генерал так называемого Екатерининского времени <(века)> просвещенного абсолютизма, он стремился, как и другие Екатерининские генералы, «полировать дворянское сословие».

Таким полированием офицерской молодежи и занялся Шпрингер на дальней сибирской окраине страны. В новой крепости кроме комендантской канцелярии, штаба, генералитетского дома было построено необычное учреждение – чертежная – такой и в стольном Тобольске не было.

Здесь верховодили офицеры по инженерной части. Здесь сочинялись планы, прожекты строения крепостей Прииртышья. Военная инженерия пользовалась особым расположением генерала.

Для «полирования» молодых офицеров при той же чертежной был учрежден от генерала «Оперный дом» – так называли длинную узкую пристройку – зал с возвышением – подмостками.

На этих подмостках силами офицеров и их жен ставились, под смотрением и водительством капитана Ивана Андреева, любительские опера: «Разнощик», «Лиза», «Мельник-колдун, обманщик и сват» и иные.

Ивану Черепанову, хотя был он подлого сословия, довелось побывать на представлении оперы «Мельник-колдун, обманщик и сват».

Представление не понравилось. Уж очень не в натуре были и мельник, и иные лица сего комедийного действия...

Познакомился Иван и со своим тезкой – инженерным капитаном Иваном Андреевым. Его благородие был охочим до слова, разговорчивым, улыбчивым человеком. Поведал Ивану, что замыслил Домовую летопись и уже начал записывать обо всем, что деется вокруг и особо – с ним самим...

Капитан Андреев так разговорился и расчувствовался вниманием Черепанова, что дал ему почитать свое писание, не все, а то, что касалось его пребывания в Омской крепости – одну маленькую <(тоненькую)> тетрадку.

– У меня, когда завершу свое писание, таких тетрадок наберется с десятков, а то и поболее, – пояснил он.

Главной персоной сей «домовой летописи» был он сам – инженерный капитан Иван Андреев.

«...В зимнее время, – читал Черепанов, – находился в Омской крепости у сочинения планов и наложением на оных прожектов. Ибо к весне поехал с

планами и прожеками от генерал-поручика Шпрингера в Петербург инженер-прапорщик Зеленый».

«...К Рождественской неделе, – читал далее Иван, – учрежден был в чертежной, для полирования молодых людей Оперный дом, где чинились представления разных трагедий и комедий под смотрением и под водительством моим... Причем, на расходы со зрителей собиралось довольно денег и употреблялись на разные платья, уборы...»

И далее: «...К продолжению веселостей недели масляной ...в четверток у Делонца подполковника, в школе наверху – бал и ужин, и опера «Лиза», в субботу тут же – опера «Разнощик», бал и ужин, в прощенный день: вольное собрание по билетам, маскарад, бал и ужин на общественный кошт...»

«Ничего живут офицеры сией крепости. Нескучно живут, однако не всем так живется тут, – подумал Иван Черепанов, читая Андреевскую “Домовую летопись”».

И вспомнились согбенные, закованные в кандалы, клейменные колодники на земляных работах в крепости, в кирпичном сарае, недавно поставленном на берегу Иртыша, замуштрованные солдаты. *<(пахари на своих делянках)>*

Летописи, они разные бывают...

Новый каменный собор во имя спасительного воскресения Христа, в просторечии, ВОСКРЕСЕНСКИЙ, порешили ставить на полуночной стороне, вблизи Иртыша. В храме сем назначалось три престола: во имя Сергия Радонежского, второй – главный – во имя спасительного воскресения Христа, и третий – во имя святой великомученицы Екатерины.

<На плане крепости, составленном инженерным капитаном Малмом, алтарь будущего храма был обращен на полдень, а по церковным правилам полагалось – на восход.> В плане будущего храма алтарь был обращен на север, а не на восток, как того требовали церковные каноны. Иван Черепанов заметил сию промашку. *<Иван выправил эту промашку.>* И генерал Шпрингер, вникавший во все дела строения, проникся к архитектору-ямщику большим уважением.

Этот храм был не первым церковным строением для Ивана Черепанова, но волновал по-особому.

Волновал непривычный степной простор, широкое лоно Иртыша почти рядом со стройкой, неоглядная даль – безкрай за рекой.

В такой безкрай – за небо звала его Аннушка...

Собор тут будет виден далеко, далеко со степи и с реки.

Иван уже представлял, как тянется храм в небо, к солнцу своими куполами. Степной воздух обтекает его волнами и собор будто плывет по степному раздолью, кажется, живет, дышит, звучит колоколами, литургиями,

песнопениями, исповедальнями... Сюда на исповеди люди принесут свои заботы, радости, горести, свои грехи, свои надежды, собор будет звучать их голосами, хранить их тайны...

Ивану хотелось уложить в абрис будущего храма свои помыслы. Он работал, как всегда, одержимо, даже в ночи, при светце.

Настала пора закладки храма.

День выдался серенький, пасмурный, скудный солнцем. Облака низко плыли над степью, крепостью, грозились разразиться дождем.

Народу на плацу собралось премногу. Иван доле подивился, откуда столько в Омской крепости.

Шурша тяжелым парадным парчовым облачением, протоирей начал молебен.

Позвякивало кадило, растекался дымом ладан. Певчие пропели «Славу».

Генерал Шпрингер взмахнул белым платком. Заливисто запели трубы, ухнули барабаны. В перебор звонили колокола Сергея Радонежского.

Генералу поднесли каменщицкий фартук. Он натянул его поверх парадного мундира, взял с серебряного блюда кирпич, опустил в гнездо будущей стены храма.

На валу гроыхнула пушка, орудийный залп сотряс крепость.

Второй, третий кирпичи положили помощники генерала.

Пришел черед мастера каменных дел Ивана Черепанова. И хотя при закладке храма был он не впервой, волновался, будто не кирпич, а весь каменный собор держал в руке.

Снова грянули пушки, зазвонили за Омью колокола Сергея Радонежского. Будущий храм был заложен...

И словно в ответ пушечным залпом и зову колоколов ветер разорвал бурую, тяжелую тучу, в прорыв заструилась июльская синь, солнце, праздничность...

Начались подготовительные работы. На берегу Иртыша поставили еще один кирпичный сарай. Колодники выполняли тут свой каторжный «урок» – лепили, обжигали кирпич для будущего храма. На плацу землекопы рыли рвы, били сваи под фундамент...

А вскоре из Тобольска прибыл в Омскую крепость гонец с письмом к генерал-поручику Ивану Ивановичу Шпрингеру.

Староста тобольских ямщиков Иван Борисович всепокорнейшее просил их высокопревосходительство генерал-поручика Шпрингера «из его природного ко всем милосердия сделать отеческую милость, уволить ямщика Ивана Леонтьева сына Черепанова для посылки его в Санкт-Петербург по делам общества тобольских ямщиков, ибо кроме него послать другого совершенно некого».

Взамен ямской староста предлагал прислать в Омскую крепость родного брата Ивана – Кузьму Леонтьева Черепанова, столь же в каменном строении знающего.

Генерал Шпрингер внял просьбе тобольских ямщиков, проявил отеческую милость и отпустил на время из Омской крепости Ивана Черепанова, тем более эту просьбу поддержал сам губернатор Денис Иванович Чичерин...

12 августа 1770 года тобольский ямщик Иван Леонтьев Черепанов дал подписку в военно-походную канцелярию генерал-поручика Ивана Ивановича Шпрингера о том, что он «обязуется к 1 мая 1771 года неотменно прибыть в Омскую крепость для постройки храма».

...В Санкт-Петербург Иван добрался на исходе сентября. Справив дела в ямской управе, он выкроил час походить по городу. Ему хотелось хоть издали поглядеть на Академию наук – де сиянс, где трудился историописатель Миллер, побывать в кунсткамере.

...Иван шел по Аничкову мосту, ставленому на дубовых сваях, через речку Фонтанку. Хоть час выдался ранний, тут было шумно. На тройке проскакал курьер. Разукрашенную, похожую на дорогой ларец карету несли белогривые кони, и кучер кричал: «Пади!».

Прошла артель мужиков с котомками на плечах. Это трудами таких, как они, строена на гнилых болотах новая столица.

В народе говорили: на костях мужицких ставлена. Вспомнилась Ивану горькая поговорка, слышанная на Тобольском торговище: «С одной стороны горе, с другой – горе, с третьей – мох, а с четвертой – ох! Вот тебе и Питер».

И еще говорили: «в нашем Питере сколь воды, столь и слез...»

За Аничковым мостом начиналась Невская першпектива.

Далеко, далеко, похожая на огромную золотую стрелу, будто взлетела над городом, осенила его Адмиралтейская игла.

Иван шел и всматривался в высокие каменные палаты-дворцы в два-три жилья, с торжественными колоннадами, парадными подъездами, оберегаемыми свирепыми каменными львами, фигурными чугунными оградами, пышные и скромные храмы, длинные плети бурых деревянных заборов, убогие хибарки вразброс на пустырях. Все тут было... Но по очертаниям першпективы чувствовалось: среди болот, пустырей подымается большой, красивый город...

Задумчиво разглядывал Иван Строгановский дворец, что на пересечении Невской першпективы и набережной Мойки.

Строгановы, они, как-никак земляки, уральцы, соседствуют с Сибирью. Много с сией фамилии рассказов ходило еще с Ермаковой поры...

Парные колонны на рустованных постаментах, дивная лепнина, кованые железные решетки с затейливым узорочьем и головами львов – все привлекало глаз.

Иван пытался разгадать, в чем тайна сего строения – такого легкого и в то же время массивного в своих пропорциях, торжественного...

Вспомнилось, семинарский учитель Яков Волынский рассказывал: сей дворец строил Варфоломей Растрелли. Он приехал шестнадцатилетним отроком со своим отцом скульптором Карлом Растрелли из Италии. Архитектором стал у нас – на Руси и всю свою жизнь трудился, как он сам говорил, для славы всероссийской.

Приковала к себе Ивана небольшая церковь Рождества Богородицы. Может одна она такая на весь Санкт-Петербург, в древнем русском уборе. Звонница с шатровым верхом, а над самой церковью – главы-луковицы. Звонница *<(прижата к храму)>* в одной связи с храмом, слились с ним и будто подымает его своей шатровой шапкой ввысь. Вот так и в Омском соборе звонница будет слита с храмом. И шатровый верх подымет *<(поставить)>*. Стены сией Питерской церкви *<(А стена оной церкви)>* – от подложия до верховного фонаря – белый камень. Глядишь, и взору становится неприятно, будто белое полотнище кто-то спустил, ни косицы, ни пояска. Нет, тут нужно перебить выступом, пилястрой.

Внутри храма стояли лики святых, изваянные из камня. Лики глядели в упор, казалось с укором за все содеянные и не содеянные грехи. Иван не мог отвести от них глаз, будто перенесся в иной мир, где жили эти дивные, суровые изваяния... *<(Разобрана в 1815 году, когда расчищали площадь для Казанского собора).>*

На Невской же перспективе увидел Иван книгопродавочную палатку и прилип к ней. Тут лежали на столе «Эзоповы басни», «Похождения Телемака сына Улисова» – по одному рублю пятнадцать копеек за книгу, «Троянская история, книга Марка Аврелия» – по рублю, «Истинная политика с Катионовыми стихами» – по тридцать пять копеек...

Почти все это было знакомо.

Иван выбрал и купил «Ежемесячное сочинение к пользе и увеселению служащее», редактируемое самим Миллером.

...С Финского залива дул ветер. Он пронизывал весь город. Было сыро, неприятно. С полудня зажгли сальные фонари и от их тусклого, немощного света все кругом навевало тоску. Нева, казалось, растяла в дымке. Внезапно ветер изменил направление, пелена тумана зарозовела, зазолотилась. И вдруг, словно брызнуло солнце. Город ожил...

Иван побывал в гавани. Она пестрела от трепавших в воздухе морских флагов на кораблях разных стран. Занятно было поглядеть на иноземные корабли, что отстаивались тут. Сеть мачт напознала на небо. Корабли стояли тесно, красивые, стройные. Ивану они казались похожими на стаю диковинных птиц.

Около кабаков, непристойных домой толкались матросы – норвежцы, датчане, шведы, немцы, англичане. Пьяные ходили по улицам, орали песни.

На стрелке Васильевского острова Черепанов увидел здание Академии наук, о которой столько наслышано. Белокаменное, о трех ярусах, нижний ярус облицован гранитом. Иван сразу заметил: над окнами нет наличников. Гладь стены оживляют только карнизы. Торжественно смотрелась величавая колонада портика у главного входа. Храм науки!! <(...Библиотека Академии наук и Кунсткамера размещались на стрелке Васильевского острова. На берегу Невы стояло высокое, в три жила каменное здание, разделенное башней. Каждый ярус башни обегал балкон с точеной деревянной балюстрадой.)>

А рядом тоже белокаменный, тоже трехярусный дом с высокой башней.

Око каменных дел мастера сразу углядело: неглубокие круглые ниши под окнами. Плоские «лопатки» членят стену. Каждый ярус башни обегает балкон с точеной деревянной балюстрадой.

Досужий, охочий до разговору человек в поношенном камзоле, пояснил Ивану: башня делит сей дом на две половины. В одной разместилась знаменитая академическая библиотека, в другой – еще более знаменитая Петровская Кунсткамера. В башне – армиллярная сфера.

Он же рассказал предание: в Петровскую пору, когда на Васильевском острове прорубили только первые просеки, на этом месте, где стоит дом, росли две старые сосны. Ветви их затейно сплелись, как руки. Царь Петр долго глядел на сие диво, потом повелел построить здесь Кунсткамеру, а «диковинный раритет» – обрубки сосен-сестер поместить в музей.

Иван стоял у подъезда в академическую библиотеку, где, может быть и сейчас трудился Миллер, но зайти не решился.

Ну что скажет господину ученому он – простой сибирский ямщик и почитатель миллеровских писаний? Что? А ведь было что сказать, о чем потолковать...

Раскрылись тяжелые входные двери, вышли двое – один высокий, плечистый, другой помельче. Может быть один из них и был Герардом Миллером? Может быть...

Иван тяжело вздохнул и решил пойти в Кунсткамеру. Туда попасть было просто. Купи билет – и проходи.

Сколько здесь было собрано диковин?! У входа стояли чучела, скелеты зверей, птиц. Были тут и человечесьи скелеты – великана и карлика. С потолка свисали высушенные рыбы, змеи. На полках, за стеклянными дверцами шкафов в сосудах покоились заспиртованные в винном духе рыбы, жабы, ящерицы и монстры – уроды человека.

Были тут выставлены диковинные растения, минералы.

Такого Иван не видывал. Само естество жизни глядело со стеклянных витрин.

Дольше всего Иван пробыл в зале, называемом Петровским, хотя вся Кунсткамера была затеей царя Петра I.

В этом зале хранились вещи покойного царя, собранные после его смерти. Висел тут суконный мундир Преображенского полка, замшевый колет, пробитая пулей на войне треугольная шляпа...

В углу стояла знаменитая Петровская дубинка с набалдашником из слоновой кости. Многие еще помнили, как гуливала она по сановным спинам.

Сказывали: советник академии библиотекарь Шумахер не раз советовал убрать сию мебель, чтоб глаза не колола. А колола глаза-таки многим именитым особам...

В том же зале, в глубоком кресле сидел, отлитый из воска слепок их императорского величества царя Петра I, облаченный в лазоревое, шитое серебром платье с голубым же орденом Андрея Первозванного на груди, с коротким кортиком.

Толковали, при жизни царь не любил такие лазоревые одеяния, а теперь смотритель кунсткамеры волен был облачать царский слепок по своему усмотрению. Восковая персона царя стала вещью или, как по-ученому говорили, экспонатом.

Лицо царя Петра дивило, волновало, даже пугало своей жизненностью. Большие глаза были широко раскрыты, губы плотно сомкнуты, застыли в гневе. Казалось, вот-вот подымется царь с кресла, распрямится во весь свой богатырский рост, возьмет дубинку и начнет вершить свой суд...

Толковали люди: в сей зал царедворцы заглядывать не любили. Тут почти всегда было безлюдно.

Тот же разговорчивый старый чиновник рассказал Ивану, что сию фигуру царя Петра изваял скульптор Карл Растрелли – отец знаменитого архитектора Варфоломея Растрелли. Лицо Петра было вылеплено с алебастровой маски, снятой с покойного.

Иван вглядывался в обличье царя, старался представить его живым, старался представить, какой могла бы быть встреча с ним? Чего он жаждал, сей царь с дубинкой, плотничьим инструментом, мастеровой Питер, всевластный

император? Рождения новой Руси! И шел к ней сквозь жесточь, кровь, слезы людские... А иначе же можно было?

...В этом путешествии по незнакомому Санкт-Петербургу с Иваном неразлучно была Аннушка – простоволосая, в темном сарафане, похожая на девчущку-подростка, такая, кокой он видел ее в последний раз, перед вечным расставанием. Они вместе стояли у подъездов каменных палат-дворцов, любовались колоннадами, дивной лепниной, затейливыми узорами литых чугунных решеток.

Вместе прикипели к невеликой церкви Рождества Богородицы, ее строгой красе, древне-русскому убору.

Вместе они листали книги в книгопродавочной палатке на Невской перспективе, вместе ходили по залам Кунсткамеры, дивились жизненной силе восковой скульптуры Петра...

После Петербургского вояжа Омская крепость встретила Ивана Черепанова приветно.

...Шел последний майский снег. Припорошил, принарядил ветхую церковь Сергия Радонежского на левобережье Оми, новые строения на правом берегу. Снежинки под солнцем таяли, стекали веселыми, улыбочатыми струями. И благостно было на сердце: вернулся к делу, которое звало...

Кузьма Леонтьич, не мешкая, сдал стройку брату и отбыл в Тобольск. А Иван, не мешкая же, взялся за работу.

Каменщики возводили южную стену храма.

Почти целый день Иван проводил на стройке. Чуть прокричит зоревой кочет, он выходит на плац.

Вкруг будущего храма еще громоздились груды кирпичей, сваленные бревна. Визжали пилы, грохотал молот, вспышки горна озаряли людей синим бегучим светом.

Дремотно плескал Иртыш. К берегу причаливали баржи с песком, камнем. Плотовщики хрипло покрикивали: «Тяни, тяни веселей, чальни кольцо!».

Гомонила стройка. И гомон ее вселял в душу силу, огневое желание работать, работать...

...У бочонков с замесом Иван остановился, заговорил с мастером:

– Как дела, Игнат Федорыч?

Засучив рукава по локоть, он опустил руку в замес, словно в тесто:

– Жидковато! Видно, след прибавить алебастру.

Мастер кинул в бочку пару лопат алебастра, попробовал на язык замес. Иван тоже лизнул с пальца. Клеевитость добрал. Каменщику, что повару, без пробы нельзя.

На лесах Иван придирчиво следил за кладкой, чтобы шла чисто, ровно. Иной раз сам брал в руки мастерок, показывал, как вести кладку. Швы шли у него как по нитке.

Время от времени наведывался на стройку генерал-поручик Иван Иванович Шпрингер – коротконогий, тяжеловатый, но подвижный, многовидящий, въедливо выспрашивал, толковал с мастером, каменщиками.

Приходил адъютант генерала – инженерный капитан – говорливый Иван Андреев. Этот не выспрашивал, как дела на стройке, не любопытствовал, а больше сам рассказывал о предстоящих веселостях в оперном доме, о будущем спектакле – трагедии господина Сумарокова «Синав и Трувор», что готовится под смотрением и водительством его – капитана Ивана Андреева, о работе в Чертежной у сочинения планов и наложения на оные прожектов и о многом ином, что волновало господ офицеров, их супруг, что было не интересно Ивану Черепанову.

Иван слушал Андреева в полуха, поглощенный своей работой.

Ему виделись очертания храма в степи, он примеривал его к местности.

Мечталось: собор должен пленять строгостью и ясностью архитектуры. Пышный декор, лепнина не должны поглощать главное назначение церкви – дома божия, где люди единятся с богом, приобщаются, познают его...

Сейчас храм казался Ивану похожим на человека с гордо поднятой головой, широко развернутыми плечами.

На солнце стены блистали белизной, будто сами источали, струили лучи...

Все, как мечталось... Сердцу было радостно и грустно. Радостно, что завершён труд, грустно, что пришла пора расставания со своим творением. Отныне ему жить своей, самостоятельной жизнью...

...Подал голос большой колокол, обронил на храм, на крепость, на реку тяжелые густые звуки. Потом, как это было и в других церквях, пробилась светлые искристые голоса малых колоколов. И снова рождалось ощущение, будто стая священных птиц-сиринов закружила над храмом, крепостью, звала за собой...

Иван прикрыл глаза, погрузился в волны, звуков, в вечерний звон. И он снова, как в былом, его окликали голоса минувшего, виделось прошлое родного края, приходили и уходили люди, их дела. Шелестели, звали страницы летописи... вечерний звон...

Но Иван хотел, чтобы стены храма не были, как голое полотнище, на котором негде глазу задержаться. Да, стены храма, его колокольню надо декорировать рустованными пилястрами, сии понижут тело здания, сделают его стройнее.

...Ночами, при хлипком свете свечи, Черепанов просиживал над чертежом, повторно сверял расчеты, промеривал пилястры, русты...

Было тихо, тихо. Только слышалось, как перекликаются в ночи часовые в крепости. Колебалось пламя догорающей свечи. Это она – Анка неслышными шагами вошла в комнату, стала за спиной, положила руку на плечо, потом двуперстно – по-старообрядски перекрестила. Она, как всегда, была с ним в трудную пору.

...Текло, текло время... Поднялся собор с трехъярусной звонницей. Пришла пора белить здание.

На Руси побелка храмов издавна была многослойной. В известковое молоко добавляли коровье. И белый цвет приобретал особый тон. Так многослойно, известковое молоко с коровьим, белили стены Воскресенского собора.

Храм главенствовал в крепости. Шатровый верх его звонницы был виден далеко, далеко в степи, с реки. Казалось, все улицы, вся природа тянулись под сень храма.

...Иван глядел на это свое детище. Почти все было, как он замыслил, вымечтал.

...Два яруса высоких арочных окон, меж ними пояса пилястр, изрезанных рустом. Обитые белой жостью, серебристые – пять луковичных глав увенчали кровлю, подняли в небо свои золоченые кресты. Трехъярусная колокольня в одной связи с соборным зданием, как бы выросла в его тело, горделиво вскинула свой шатровый верх с луковкой на высоком барабане. Кажется, она, устремленная в высь, вот-вот взлетит.

<Сейчас храм казался Ивану похожим на человека с гордо поднятой головой, широко развернутыми плечами.

На солнце стены блестели белизной, будто сами источали, струили лучи...

Все, как мечталось... Было радостно и грустно. Радостно, что завершен труд, грустно, что пришла пора расстаться со своим творением. Отныне ему жить своей, самостоятельной жизнью...>

Ученый муж *<Ученый путешественник >* Питер-Иоган Фальк

...И снова Тобольск. Родной дом, Степанида, сыновья, почтовый тракт. Иван соскучился за семьей, за ямской работой... Так уж содеялось у него, что душу отдает и летописи, и каменному строению, и ямщине. Ко всему сердцем прикипел. Тоболяки говорили: яростен в труде...

По Тобольску пошла весть: приехал ученый муж, академик из Санкт-Петербургской Академии де сиянс Питер-Иоган Фальк.

В губернской канцелярии уже дознались, что сей ученый муж на Русь прибыл из Швеции, сын шведского пастора, окончил курс наук в Упсальском университете, рекомендован знаменитым шведским ученым Карлом Линеем в Санкт-Петербург лейб-медику Крюзу. И тот определил его надзирателем ботанического сада Академии.

В Сибирь Иоган-Питер Фальк прибыл с ученой экспедицией.

Минул день-другой и академик припожаловал к Черепановым. Привел его служитель из губернской канцелярии. Сам управитель просил принять ученого гостя с любезностью. С виду хлипкий такой, невеликого росточку человек, в седом парике с косицей, в непривычных для тоболяков окулярах. Изъяснялся по-русски трудно, переворачивал, переиначивал иные слова, но понять можно было.

Поначалу зашел к Кузьме Леонтьевичу, долго выспрашивал, дивился, как это ямщик-возница выучился строить храм, ведь надо изучить математические науки, механику, долго рассматривал книги из библиотеки Кузьмы, цокал языком и повторял: «Однако, это есть очень странно! Какоф молодец!»

Потом канцелярский служка повел ученого гостя к Ивану, попросил показать «Сибирскую летопись».

Питер-Иоган Фальк листал Летопись, приглядывался к страницам, будто принохивался, и снова повторял: «Однако, это есть очень странно! Какоф молодец! У нас возница, что есть ямщик, не пишет хронограф – по-вашему летописание, не строит храм. Это есть колоссаль! Но в древнем Риме говорили: Nil admirart¹⁸. Муза истории Клио – дочь богини памяти Мнемосины посетила вас. Это есть колоссаль! Я буду писать про ваши дела в своих записках путешествия¹⁹.

Профессор задумчиво листал летопись, расспрашивал о хане Кучуме, Ермаке, казаках, первом сибирском архиерее Киприяне, расспрашивал так, будто Иван видел, знал их, любопытствовал, как он – ямщик научился строить храмы, хвалил икону божией матери, писанную сыном Федором, с удовольствием ел

¹⁸ Ничему не надо удивляться (лат.)

¹⁹ В «Записках путешествия» академика Питера Фалька, напечатанных в «Полном собрании ученых путешествий по России» (Т.6, СПб, 1824, с.397, пер. с нем.) есть такие строки: «В Тобольске познакомился с ученым ямщицким семейством. Ямщик Косьма Черепанов – зажиточный и ученый человек, приобретающий познания в науке собственным домыслом, и особенно искусный резчик и зодчий, имеет хорошие сведения по математике, механике и по всем иным частям. Есть у него библиотека, состоящая из 400 книг. Брат его Илья (Иван) Черепанов сочинил Сибирскую Хронологию в свободное от ямщины время. Сын его самоучкой сделался хорошим живописцем. Он пишет портреты на масле, весьма схожие с подлинными...»

...Имеются сведения, что высокая грамотность Ивана Черепанова позволила тобольскому начальнику неоднократно привлекать его к переписям населения и другим работам, требующим образования.

Ученое путешествие Фалька длилось 6 лет. Описание его сделано «со строгим вниманием к порученным им предметам».

В 1774 году, в Казани, в припадке ипохондрии Фальк окончил жизнь самоубийством. Научные материалы, оставшиеся после Фалька, были собраны и опубликованы на немецком языке академиками Георги и Лаксманом.

пельмени, пироги, шаньги, испеченные Степушкой, называл ее «либер фрау», говорил «колоссаль!».

Расстались они друзьями.

Тобольск полнился слухами

...Тобольск полнился слухами: на Яике поднялись казаки. Одни толковали: ведет их сам царь Петр III, спасшийся от злокозней своей супружницы Катьки. Другие говорили: не царь он, а казак Емеля Иванович Пугачев, с той самой Зимовейской станицы на Дону, где родился Стенька Разин. А третьи твердили: «Царь иль казак – нам все равно, лишь бы быть в добре».

Иван Черепанов слушал эти толки и думал: «Хорошо бы Пугачев из казаков вышел, как Степан Разин. У них корень один...»

Говорили: Пугачев жалует народ древним крестом, молитвою, вольностью, пашенными землями, лесными, сенокосными угодьями, рыбными ловлями, соляными озерами, освобождает от всех податей, отягощений, рекрутских наборов...

За Пугачевым шел черный люд. Поднялись работные люди с уральских заводов, крестьяне Поволжья, Дона, башкиры, татары, мордва, чуваша, поднялась Сибирь.

Тоболяки знали: из Омской крепости, под командой генерала Декалонга, на пугачевцев двинули войска пограничных сибирских линий. Туда же губернатор Чичерин послал губернскую и две резервные роты под началом секунд-майора Заева. Что ни день, в город приходили вести, кои радовали простой черный люд и тревожили, мешали спокойно спать тобольской знати. Поднялись крестьяне Туринского, Ялуторского, Тюменского уездов. Сама Тюмень в крайней опасности.

Стало известно: поп Царева Городища – Курганской слободы Лаврентий Антонов склонял крестьян Утяцкой, Иновской, Курганской слобод к бунтовству.

Губернатор Чичерин всенародно сказал: «Крестьяне тех слобод сущие злодеи, которых давно по десять раз должно было повесить».

В Тобольске было беспокойно, введен комендантский час, дабы по прибытию одиннадцати часов никто из домов своих не отлучался. Всем жителям, под расписку, было объявлено о строжайшем запрещении без ведома полиции ставить на постой приезжих. Купец Григорий Масаилов принял без полиции некоего приезжего и был посажен на цепь на три дня.

В самом Тобольске был схвачен беглый ссыльный казак – малороссиянин Василий Гноенко. Он подговаривал тоболян к бунтовству. Вместе с ним подговор вели ссыльные солдаты Федор Сорокин, Данила Долотов.

Все подговорщики были взяты под арест, и батюшка Денис определил учинить им наказание: водить на цепи по городу и на каждом перекрестке сечь кнутом, вырвать обои ноздри, сослать навечно на каторжные работы в Нерчинск, а по пути – в каждом городе стегать нещадно батогами «в науку народу».

Около Сретенской церкви Иван видел, как стегали на козлах Василия Гноенко. Кнут сдирал клочья кожи, мяса, спина превратилась в кровавое месиво. Но наказуемый молчал. И от этого палач стегал злее, рьянее.

Иван смотрел и каждый палаческий удар кнута отдавался в сердце, жег, тяжело ранил, хотелось крикнуть: «Да не молчи ты, Василь Гноенко, рви путы!» А как порвешь, коли они железные! Стоял и молчал, как все вокруг, будто всех опутали в железа... Его пронизало тягостное чувство вины перед этим незнакомым человеком, перед Василием Гноенко. Перед всеми, кто поднялся против угнетателей народа. Мнилось, будто он отвернулся от родной земли, от тех бед, какие она несла. Иван очень остро ощущал это чувство виновности перед людьми. Летописи в эту грустную пору он уже не вел. Только спустя годы вернулся к ней, чтобы написать послесловие – прощание.

...По осени в Тобольск стали приходиться новые вести²⁰.

Прощание <(XV)>

Последняя страница, строка, слово... Иван Черепанов прощается со своим Летописанием, словно с добрым другом расстается. Он думал о тех, кто будет читать его Летопись. О Читателях. Ведь не для того, чтобы схоронить в сундуке под замком с таким трудом написаны эти строки... Не для того...

И как всегда в такие полуночные часы раздумья пришла Аннушка, легким дыханием коснулась пламени догорающей свечи, положила руку на плечо и сказала: «Не для сундука писаны эти твои строки, для людей. И надобно, чтобы они вышли в люди, явили свет помыслов своих».

– Я подарю свою Летопись библиотеке духовной семинарии. Там сии строки найдут читателей, – ответил он Аннушке. – Будущих пастырей духовных должно заинтересовать историей. <Семинарский учитель Яков Волынский – друг

²⁰ Против пугачевцев были брошены почти все войска империи, как при большой войне с иноземным государством, спешно заключен мир с Турцией и отозваны дивизии с турецкого фронта. Шли кровопролитные бои. Пугачев начал отступать. Теперь в Тобольске под барабанный бой оглашались «во всенародное известие», где и какие победы над пугачевцами одержали дивизии генерала Михельсона.

Услышали тоболяки для кого горькую, страшную, для кого любезную весть: Пугачев схвачен, доставлен в Москву, казнен на Болотной площади...

Губернатор Чичерин – батюшка Денис повелел в каждой слободе, селении, где являли непокорство, бунтовство, поставить виселицу, колесо для колесования, глаголь для повешения за ребро... Началась жестокая расправа...

семьи нашей, поможет в сем, хотя изрядно уже дряхл...> Я подарю... Летописи найдется место на полке Семинарской библиотеки.

Но родилось и больно жалило чувство вины перед будущим читателем. Надо беспрерывно написать послесловие и в этом послесловии повиниться, рассказать о своих огрехах в Летописи.

«...Есть неисправности многие, да и такие ошибки, что можно и слепому ощутя узнать, – винулся Иван Черепанов в своем послесловии, – ...произошли такие погрешности от такого случая, которого я прежде рассмотреть не домыслил²¹.

«О настоящем поправлении сего моего труда меня случаи мои не допустили...» Он рассказывает об этих причинах – «случаях».

«...По надписи моей, доброжелательный читатель, можешь ясно видеть и справедливо рассудить, что я не на жаловании содержусь или каких-то вотчин доходах получаемых, или от купечества получаемых, через чужое старательство каких прибытках, но находясь в подлости²², должен исправлять положенное для государственной пользы у содержания обществом тягла. Также, по судьбам всемогущего Бога обязан содержать немалую свою семью и делом рук своих питать ее...»

Иван гордился своей нелегкой ямщицкой работой, своими рабочими руками, своим простонародным сословием.

Послесловие Черепанов закончил такими словами:

«...Итак, видя мое состояние, благорассудливый человек в погрешностях моих беспрекословно может простить. А критики мне лицо стыдливой краски задать не могут, потому что я наперед уже признался и в том еще признаюсь, что не по своей должности за такое дело взялся, при том ни словесных наук, ни первого основания к правописанию не только не учил, ниже мало что от кого толкования видел.

<В этих бесхитросных, полных достоинства и искренних словах, обращенных Иваном Черепановым к будущему доброжелательному читателю, затаенная гордость человека из простого народа, чувствующего силу, умелость своих рабочих рук, гордость своей нелегкой ямщицкой работой.>

А впрочем, и о том еще с благодарным духом буду радоваться, кто о поправлении сей Летописи примет на себя труд...»

²¹ Ошибка Ивана Черепанова состояла в том, что он годы от сотворения мира, независимо от месяца, переводил на годы от Рождества Христова вычитанием 5508. В рамках одного года Черепанов также не всегда соблюдал хронологию. Но взяться за исправление своей Летописи он уже не мог.

²² Подлым называлось простонародное сословие.

... Иван оторвался от рукописи, поднялся, расправил плечи, как это делают после трудной работы, раскрыл дверь, шагнул на крыльцо. Рядом с ним встала Аннушка...

Город раскидал свои тихие, уснувшие в этот час улицы под горою и на Троицком взгорье. Тихо, тихо было навкруг, только собачий брех резал покой. И тьма кромешная, ни огонька, ни зги. Но и во тьме Иван видел все, что хотел видеть – от гребня Троицкого мыса, зубчатой Кремлевской стены, куполов Софии до бревенчатых изб, каменных церквей нижнего города, широкой водяной дороги Иртыша... Все, чем наполнилась его душа, чему он отдает свою жизнь. Родная земля...

...Почему пишут летописи? Что влечет человека к сему нелегкому, хлопотному делу, заставляет корпеть над бумажным листком, искать, доискиваться, мучиться, своею волею взваливать на свои плечи такую трудную ношу – мучительство, что иной раз грызет и денно, и ночью. Что принуждает уйти в далекую, прошлую жизнь, жить жизнью давно ушедших людей? Что? Наверное, это любовь к родной земле, боль за нее, любовь к людям, деяния коих ушли в века, но остались в памяти народной.

Только любовь всевластна в том.

Глава первая

Городу стало тяжело.

Тяжело и опасно видеть разрывы немецких снарядов на улицах и в домах; горько сидеть в подвалах и ждать, когда кончится налет; трудно недосыпать, недоедать...

Но того тяжелей расставаться с родными местами!

С каким сердцем, как покинешь эти старинные парки, раскинутые вокруг институтов и школ, парки, где на коре дубов деда и прадеды твои вырезали инициалы дружбы и любви? Как забудешь веселые стадионы, шумные фабрики, сосредоточенные заводы? Как уйти с улиц, где особняки «ампир» выстроились в ряд, подобно их колоннам? Как оставить пустыми театры или широкий цирк в стиле «модерн», где по фронтону лилии и наяды переплелись так странно? Как оставить врагу эти кирпичные церкви, разрисованные знаменитыми изографами еще во времена царя Алексея Михайловича? Как забыть эту колокольню, например, которую по примеру Пизы, в 1637 г. торговые гости велели выстроить несколько вбок, наклоненно?.. Как забыть и покинуть все, что было так мило в детстве и необычайно мило сейчас?..

– Остановят немца или не остановят?

– Погибнет город или уцелеет?

– Сумеем мы помочь Красной Армии или опустим руки?..

Люди, рангом повыше, спрашивали друг друга, что думает по этому поводу Обком партии, Исполком или знаменитый строитель СХМ и Проспекта Ильича директор Рамаданов? Люди, рангом пониже, спрашивали, что думают и знают инженеры СМХ, самого осведомленного завода в городе? Ведь видно же, люди мучаются! А если мучаются, то знают. Вы взгляните на инженера Короткова. Красивый, спокойный молодой человек, ранее только и думавший о своем благополучии, а как изменился! Люди, рангом обыкновенным, те спрашивали у рабочих СМХ. Все вопросы эти строились по-разному, но смысл их был одинаков и приблизительно таков: «Вот вы создали гигантский завод – СМХ, – который, говорят, теперь, вместо сельскохозяйственных машин, намерен выпускать пушки. Вот вы застроили всю окраину города огромными зданиями. Вашими руками выложен Проспект Ильича, многоэтажный Дворец Культуры. Вы поставили на одном из выступов его громадную, вылитую из меди, статую Ленина. Так неужели же вы не ответите нам: остановят немца или не остановят?»

Задавали такие вопросы и стахановцу завода Матвею Кавалеву.

Глава вторая

Случилось так, что певица Полина Вольская, почти пятнадцать лет не бывавшая в своем родном городе, приехала в него летом 1941 года, когда немцы и русские бились не более как в ста километрах от той Базарной площади, в одном из домиков которой она родилась.

Отец Полины, инженер-электрик А. Смирнов, увез свою дочь из родных мест, когда она оканчивала пятый класс школы. Они переехали в Германию: отец работал в торгпредстве, приобретая оборудование для электростанций. Полина, обнаружив способность к языкам, училась в немецкой школе. Вскоре отец заболел туберкулезом. Они направились в Баварию для лечения в санатории. Когда отец немного поправился, они переселились в Ашау, баварский город на границе Австрии. Полина опять стала ходить в школу. Они жили в предместье. Баварский говор еще сохранился здесь. Отец подсмеивался, что Полина скоро превратится в баварку.

Однажды отец почувствовал себя выздоровевшим. Они стали торопиться на родину. Но в родной город Р. они не поехали, а направились в Москву. Инженер вез туда книги, написанные в Ашау. Москва встретила его дождями – и консультациями. Сначала он консультировал по какому-то строительству, а дальше уже к нему стали приезжать врачи и консультировать его состояние. Высокий седой старик с черными бровями – Полина помнила его так отчетливо – выйдя в коридор гостиницы, сказал басом: «Правильно, что приехал. Зачем русскому человеку умирать у немцев». Когда они, проводив профессора, вернулись в номер, сестра, дежурившая у постели больного, закрывала его неподвижные, но все еще ласковые глаза.

После смерти Андрея Григорьевича переехали к родственникам, тоже электрикам, в Замоскворечье. Мать поступила на кондитерскую фабрику помощником директора по снабжению. Полина, учась в музыкальной школе, уже подумывала о заработке: мать часто хворала. Чаще всего горе открывает таланты. На восемнадцатом году своей жизни Полина окончила консерваторию и стала выступать на концертах. Ей предсказывали: нельзя такой молодой петь! Голос, как бритва, и – попробуй-ка, расколи полено! Однако голос ее не оскудевал, а, наоборот, ширился, крепчал, и через три года ее имя делало сборы, пластинки, напетые ею, раскупались нарасхват, ее пригласили в кино на большую роль какого-то заранее знаменитого фильма – но глаза ее не выносили света «юпитеров», и она отказалась, после пробы, не очень-то грустя о пленочной славе.

В тот же год она вышла замуж. Муж ее был известный оперный тенор, набалованный гонорарами и поклонницами. Они поселились в большом доме артистов в Брюсовском переулке. Замужество оказалось неудачным. Сначала

мужу не понравилась теща, затем голос Полины, а там он влюбился в художницу – реставраторшу картин. Полина посмеялась, что ему еще рано реставрировать свое лицо, и без особой злобы подписала заявление о разводе. Но плакать она поплакала, и настолько сильно, что слезы даже отразились на ее голосе: пришлось пропустить пять концертов и месяца два ходить на ингаляцию. Все это дало ей повод думать, что она непригодна к замужеству... да и действительно, сны ее были спокойны, глаза ее холодно глядели на мужчин, и в квартире жили только женщины: мать, аккомпаниаторша, домработница и она, Полина.

Родной город! С каким восторгом Полина выбежала на откос, по которому был расположен городской сад, наполненный сердитыми дубами, похожими на запорожцев. Полина, смеясь, смотрела на их тяжелые вершины. С откоса они напоминали шары перекасти-поле, когда на них блестит утреннее солнце. Но стоило сделать вниз два-три поворота по песчаной аллее, как дубы плотно окружали Полину, и ей делалось жутко и радостно, словно в детстве, когда она убегала от отца по аллее и пряталась где-нибудь за дубом, до колен утопив ноги в желтых шуршащих листьях, щекочущих ее голые икры.

А река? Едва только она выходила к ней, как река делалась ей такой близкой и привычной, что и отойти от нее было невозможно. Она вспоминала, как с отцом и матерью каталась на лодке, как поднимались и падали весла, поскрипывали уключины, и город отдалялся, голубел... и отец, баском, заводил: «Среди долины ровные...»

Она посетила одноэтажный деревянный домишко на Базарной площади, и каждая щель в нем, каждая гнилая тесина, казалось, радостно улыбались ей. Она нашла извозчика. Лошадь – несомненно, та, которая катала ее в детстве – была впряжена в длинную-длинную, сырую, несмотря на жаркое лето, колымагу, украшенную по бокам двумя большими фонарями. На этом странном экипаже она проехала по многим улицам города, и все время ее наполняло такое ощущение, которое, наверное, испытывают верхушки трав и деревьев, колеблемые ветром. И отсутствовало то чувство, о котором говорят многие, возвращавшиеся из столицы в свой провинциальный город: родные улицы им кажутся маленькими, дома – крошечными, а люди – пустыми. Нет! Полина была потрясена этим городом, как в детстве, когда впервые без провожатых она шла в город к подруге. Она попыталась найти эту подругу. Увы! Годы раскидали всех в разные стороны. Не было ни подруг, ни родственников, ни знакомых.

Одна-одинешенька бродила Полина по городу. И, словно стремясь подчеркнуть это одиночество, в небе проносились самолеты, и несколько раз в день были сирены воздушной тревоги. Полина не чувствовала одиночества. Из пяти назначенных концертов состоялось уже четыре, и хотя они назначались, из-за воздушных тревог, днем, посетителей было так же много, как и вечером.

Кроме этих концертов для так называемой «кассовой» публики, Полина пела у красноармейцев, в клубе и в Доме Красной Армии, на заводах и у студентов. Где-то падали бомбы, но ни одной не упало там, где пела она. И она была уверена, что и не сможет упасть, такое огромное удивительное чувство уверенности и силы наполняли ее. Со стороны глядя на нее, нельзя было и подумать, что вся она наполнена крепкой и мощной силой, такая она была хрупкая, беленькая, нежная, с большими голубыми глазами.

В день перед последним концертом она особенно много ходила и ездила по городу. В одиннадцать часов утра, после завтрака, она пела у студентов какого-то трудно произносимого института. Концерт прервала воздушная тревога. Она ушла, вместе со студентами, в подвал. Где-то неподалеку упало две бомбы. Дом задрожал. Девушки-студентки окружили ее плотной стеной, словно спасая от осколков бомбы.

– А может быть, мы споем?

И, не ожидая ответа, Полина запела широким грудным голосом знаменитую «Песню о хорьке».

Хор девушек и молодых людей вторил ей.

От студентов Полина опять пошла в городской сад, к реке, затем отнесла на могилу деда, живописца и владельца мастерской вывесок, букет хризантем и нехотя вернулась в гостиницу. Ей все же надо отдохнуть! В шесть часов выступать во Дворце культуры на Проспекте Ильича, перед рабочими СХМ.

Материалы:

Из переписки С.П. Залыгина

24 ноября в Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского, Тарская централизованная библиотечная система организовали и провели Первые областные Пантелеймоновские чтения, посвященные 130-летию со дня рождения Б.Г. Пантелеймонова.

Цель чтений – привлечение внимания к фактам биографии, творческому и научному наследию нашего соотечественника, земляка – писателя Б.Г. Пантелеймонова (1888, с. Муромцево, Тобольская губерния / Омская область – 1950, Париж), творчество которого способствует приобщению подрастающего поколения к лучшим традициям отечественной литературы.

Тексты собрания сочинений Б.Г. Пантелеймонова, изданного в 2014 году при поддержке Министерства культуры Омской области доступны для скачивания на официальном сайте Министерства культуры Омской области: http://www.sibmincult.ru/content/gl2015/2/index.php?sphrase_id=7649

К проведению Чтений присоединилась Межпоселенческая библиотека имени М.А. Ульянова, где состоялся конкурс чтецов. Для участия были приглашены школьники, студенты, воспитанники детских домов, читатели библиотек из Муромцевского, Горьковского, Нижнеомского и Седельниковского районов области.

Отчёты о проведении Чтений в районах области доступны по ссылкам <http://www.tara-lib.ru/sobytia.html>, http://mur-lib.ucoz.ru/publ/nojabr/p_v/8-1-0-268

Важным результатом, считаем, стал тот факт, что на следующий день – 25 ноября 2016 года, когда Владимир Иванович Селюк выступил на заседании Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Омской области с коротким сообщением о проведении Первых областных Пантелеймоновских чтений, а также обеспокоенностью о судьбе дома Пантелеймонова на родине писателя, откликнулся один из известных омских строителей с желанием выехать в Муромцево, чтобы на месте осмотреть площадку и принять деятельное участие в скорейшем восстановлении уникального здания – дома в Муромцево, в котором провёл детские годы Б.Г. Пантелеймонов.

Надеемся, что в начале 2017 года такая поездка состоится. Мы будем приглашать к участию всех заинтересованных, обращаться за поддержкой к Главе администрации Муромцевского района и активу местного делового сообщества.

Приветствие. Р.Ю. Герра

Добрый день,

Вернувшись из Парижа восвояси в Ниццу, только сейчас прочитал Ваше любезное письмо. Хочу с Лазурного берега Вас поздравить с Первыми Пантелеймоновскими чтениями в Омске, Муромцево, Таре.

От души желаю всем участникам творческой радости, приятного и плодотворного общения. По этому случаю хотел обратить внимание пантелеймоноведов на замечательный «Русский Сборник», который собрал и издал Борис Пантелеймонов в Париже в 1946 г.

В этой уникальной книге, первой и, к сожалению, последней, напечатаны произведения друзей Бориса Пантелеймонова – И.А. Бунина, А.М. Ремизова, Н.А. Тэффи, Г.В. Адамовича и др. Из участников я лично был знаком и даже дружил с Г. Адамовичем, Л. Зуровым, И. Одоевцевой, Л. Червинской, С. Прегель, Ю. Терапиано, В. Мамченко, А. Бахрахом и с замечательным художником-портретистом Сергеем Ивановым. Его портрет А.Н. Бенуа по случаю юбилея Александра Николаевича воспроизведен рядом с тогда еще неопубликованными воспоминаниями великого художника.

Выход в свет этого «Русского Сборника» был безусловно событием в послевоенном русском Париже. Об этом я уже писал в своей книге «Семь дней в марте» (СПб, Русская культура, 2010), в которой я воспроизвел две фотографии Б.Г. Пантелеймонова и письма И. Бунина, С. Прегель и страницу рукописи его рассказа «Родное» с правками А. Ремизова, а также Ремизовскую обезьянью визу Т.И. Кристин, жены Б. Пантелеймонова.

Посылаю Вам кое-какие материалы в связи с этим.

С самыми добрыми пожеланиями с берегов Средиземного моря.

Ренэ Герра

24 ноября 2016 г.

Дорогие сибиряки!

С большой радостью узнала о предстоящем празднике, который вы устраиваете во славу своего замечательного земляка Бориса Григорьевича Пантелеймонова. Какая чудесная идея – ознаменовать 130-летний юбилей писателя Пантелеймоновскими чтениями!

Для кого-то из участников это возможность поделиться своим видением (слышанием) любимого писателя, для других, быть может, первая встреча с его родниково-чистым, ясным языком. В любом случае – этот праздник не может не породить у его участников осознание сопричастности, гордости за своего соотечественника, а молодых читателей, будем надеяться, побудить к чтению прекрасной пантелеймоновской прозы. Эти новые читатели богаче и счастливей своих предшественников – ведь два года назад в Омске вышел кропотливо и любовно составленный великолепный трехтомник Пантелеймонова.

А когда-то это имя ничего не говорило советскому читателю.

В 1991 году мне довелось работать в нью-йоркском Бахметьевском архиве Колумбийского университета. Я разбирала там архив Тэффи и в папке рукописей с неустановленным авторством наткнулась на несколько скрепленных машинописных листков, озаглавленных «Что думает молодой писатель, когда ему не спится?». Рукопись была датирована 24 сентября 1949 года, вместо подписи стояли инициалы «Б.П.». Опустиху здесь подробности своего литературоведческого расследования - так я впервые открыла для себя Бориса Пантелеймонова и была навсегда очарована им.

Что я! – современные Пантелеймонову критики утверждали: «Наряду с Шолоховым и Зощенко он сейчас самый яркий русский писатель». Взыскательный Георгий Адамович писал: «Это один из тех художников, у которых душа всегда нараспашку, эмоции всегда широкие и вольные, краски яркие, слова порывистые, а исключительное пристрастие или влечение ко всему русскому не только неискоренимо и непоколебимо, но и имеет какой-то задорный, вызывающий оттенок». Тэффи в своем отзыве на его книгу констатировала: «Никогда не было у начинающего писателя такой собственной, ярко и определенно выраженной личности». Все рецензенты сходились на том, что главная движущая сила творчества Пантелеймонова – любовь, и говорили о непременном спутнике всех его творений – добром, мягком юморе.

Дорогие друзья! Перефразируя знаменитую ломоносовскую фразу, хочется выразить надежду, что Сибирью будет прирастать и великая русская литература. Ведь и сегодня слова Адамовича о сборнике Пантелеймонова

«Зеленый шум», произнесенные почти семь десятилетий назад, звучат всё так же актуально: «Эта книга должна прийти по душе всем, кто утомлён или раздражён безвыходно-трагической суетой наших дней: заботами, тревогами, сомнениями, опасениями, обступившими нас со всех сторон...».

Читайте Пантелеймонова!

Удачи Первым Областным Пантелеймоновским чтениям! Пусть они станут доброй традицией!

Елена Максимовна Трубилова,
старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН
им. А.М. Горького,
кандидат филологических наук,
член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы.

Исследования:

Л.А. Москвина. И мыслям тесно, и словам... К 95-летию со дня рождения Бориса Гвоздева.

Замечательный человек, талантливый омский писатель - краевед, журналист, поэт, участник Великой Отечественной войны Гвоздев Борис Сергеевич родился 15 июня 1921 года.

Мать – Варвара Герасимовна (в девичестве Шереметьева), домохозяйка. Родилась 4 декабря 1892 г., уроженка Вятской губернии Яранского уезда Пачинской волости деревни Шеремети.



Гвоздев С.Д., отец

Отец – Сергей Демьянович (родился 4 октября 1882 г.) уроженец Витебской губернии Полоцкого уезда Бононской волости деревни Бельчица.

Хлебопашец, бедняк. В 14 лет окончил курс учения Полоцкой Иоанно-Богословской одноклассной церковно-

приходской школы. Служил рядовым в старой армии. Участник русско-японской и Первой Мировой войн. Жену встретил в Харбине.

В 1918 году семья приехала в Омск. Сергей Демьянович работал на строительстве здания Управления Омской железной дороги в качестве разнорабочего. Участвовал с рабочими омского паровозного депо и в возведении временной железнодорожной переправы через Иртыш рядом с взорванным колчаковской армией мостом. До выхода на пенсию работал проводником на железной дороге. Был членом МОПРа – Международной организации помощи борцам революции в секции СССР.



Гвоздева В.Г., мать (первая слева, Харбин, 1917 г.)



Отчий дом. Ленинск – Омский, Чёрный городок, улица Коммунистическая, №1

7 ноября 1921 года Сергей Демьянович купил дом на ул. Новолинейной за № 578 у Кетова Филиппа Алексеевича. Улица начиналась в километре от вокзала. Это был ряд лачуг, тянувшийся вдоль железнодорожной насыпи. Улица



Сестра Евгения.
Снимок 8.03.1945 г.

не раз претерпевала изменения в названии. В 1921 году она была переименована в ул. Коммунистическую, в 1937 году в ул. Коминтерна. Снесена в 1980-е годы. Здесь и родился сын Борис в так называемом в прошлом Чёрном городке, который стал частью Атаманского хутора, а в последствии вошёл в состав города Ленинск-Омского.

Детей в семье было четверо: Валентин, Борис, Евгения (в замужестве Ченцова).

Когда Борис подрос, стал учиться в маленькой деревянной школе, расположенной в прицерковном саду (церковь во имя Николая Чудотворца, проще – Никольская). На смену деревянной пришла бревенчатая школа, двухэтажная. Обучался здесь со 2 по 4 класс. Борис заканчивал учёбу в средней школе возле кинотеатра «Октябрь», за пределами Чёрного городка.

Уже в начальных классах Борис Гвоздев начал писать стихи. На пару с товарищем Михаилом Кононовым они сочиняли небылицы. Ну и хохот же стоял в классе, когда учительница Анна Николаевна Зверева позволяла читать произведения мальчишеской фантазии! Позже этот опыт пригодился. Борис активно участвовал в подготовке сатирических радиопередач в школе. Они сопровождалась музыкой, выходили регулярно. Сколько было в них радости, смеха, жизни!

Писал Борис Гвоздев и серьёзные стихи. Вместе с другом издал журнал «Рассвет», где всё было нарисовано и написано от руки. Основой для журнала послужила обычная конторская книга. Перед армией ребята пересмотрели свои стихи. Часть из них признали никуда не годными и сожгли. Другую часть Борис закопал на чердаке родного дома – после армии вдруг да пригодятся. Он был полон сил и энергии, талантлив, хотя ещё и не осознавал это, мечтал о будущем. И стихи емугодились. Но не так скоро, как он предполагал.



Новобранец. 1940 г.

В октябре 1940 года Гвоздев Борис Сергеевич был призван на военную службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА).

Ещё в Омске, в военкомате, ему сказали, что будет служить на морфлоте. Стать моряком к тому же на прославленном Балтийском флоте было мечтой большинства юнцов. Юноша мысленно представлял, как геройски будет выглядеть в бескозырке, в форменке с тельняшкой, в брюках клёш. В Кронштадте омичей

присоединили к новобранцам из самых разных концов страны. Из бани они вышли в красноармейской форме. Бориса обуяла досада. Из глаз пришлось прогнать видение геройски выглядевшего моряка. Но среди сохранившихся фотографий есть фото Бориса в морской форме. А вот дата на обороте: 28.07.1945 г. Надпись: На память родной семье от сына и брата, г. Таллин. И явно более поздняя приписка: Моряком военного корабля никогда не был...



Таллин. 28.07.1945 г.

Служба в армии началась на балтийском острове Эзель, принадлежавшем Эстонии. Здесь, в городке Курессааре, располагался батальон связи, где начались армейские будни сибирского паренька.

Началась война, советские части, расположенные на эстонских островах, оказались далеко за линией фронта, которая быстро продвигалась на восток. Но здешняя «малая» война тоже была жестокой и кровопролитной. Окружённая со всех сторон врагом, горстка солдат дралась до последней возможности. Красноармейцы гибли один за другим, отвлекая противника от его движения к Ленинграду. Всё было кончено через несколько месяцев – в сентябре 1941-го...

О том страшном времени Гвоздев рассказал в книгах «Пропуск на волю» (1995 г.), «Моонзундский дневник» (1997 г.), «Дерзкий побег» (1999 г.). Мы встречаемся с ним в сентябре 1941-го, когда он бредёт в колонне пленных по одному из эстонских островов. Так сорок первый стал первым и самым горестным годом большой войны.

Павел Плотов, Павел Летов, Игорь Туров, Юрий Тропин – это одни из главных фигур военных произведений Гвоздева. А прототип этих действующих лиц один и тот же – сам автор. Главное достоинство его книг – правдивое описание событий. Эти события выверены по многим источникам, приобретая документальный характер. Мы видим глазами автора городок Виртсу, острова

Муху и Сааремаа, леса и перелески на островах, бедные острова эстонцев, мимоходом узнаём историю островов. Автор не побоялся показать своих героев в состоянии страха, ужаса, уныния. Так из небольших, правдиво показанных эпизодов, складывается большая правда. Ей веришь и ни разу не усомнишься, что в жизни было не так.

17 сентября 1941 года, после захвата немецкими войсками острова Муху, Борис Сергеевич был взят в плен и находился в концентрационных лагерях эстонских городов Вильянди и Таллин. 20 сентября 1944 года совершил побег и через два дня, перейдя линию фронта в районе городка Пайде, оказался в расположении советских войск. После освобождения Таллина советскими войсками Гвоздев был в действующей армии, почти три года с 1944 по 1946 работал на Таллинском морском заводе Краснознамённого Балтийского флота, где овладел профессиями слесаря, нормировщика моторно-дизельного цеха, секретаря начальника завода, закончил курсы счётных работников.



Борис Гвоздев во время работы на Таллинском морском заводе

В сборнике «Солдаты Победы» Омской области читаем краткую информацию: Гвоздев Борис Сергеевич. Рядовой, связист 206 отдельного батальона связи, Ленинградский фронт. За этими строками целая военная судьба. Ему повезло: он выжил!

В своих произведениях Гвоздев как бы законсервировал выстраданные события жестокой войны, освободил свою душу от груза тяжёлых воспоминаний.

В мирное время Борису Сергеевичу не удалось побывать в Эстонии. Не успел он овладеть и ресурсами интернета. Для него, думается, было бы интересно совершить виртуальную экскурсию в места военной юности.

Первое письмо от Бориса родные получили лишь 5 декабря 1944 года. Близкие давно считали, что его нет в живых. Отец всего месяца не дождался этого радостного события. Он умер 5 ноября.

Невозможность сразу вернуться домой действовала гнетуще. После получения ответного письма из дома (18.05.1945) появились такие строки:

– Скучно мне! Один. Ни друга, ни подруги – товарищи только. И домой даже уже не тянет. Что там? Отца уже нет. Он был человеком с разумом и сердцем. Но и здесь всё опостылело. Как тяжело было умирать отцу... я знаю это. Может было бы легче ему, ну хотя на мгновение, если б он узнал, что я жив.

Тяжело становится на душе... И невольно мысль мелькает: «Я не был с ними». А они воскресили меня. Спасибо! Спасибо!

– Один... Много во мне энергии, но вся она уходит даром в воздух. Пользы от меня ни себе ни другим.

В это трудное для него время Борис решил продолжить педагогическое образование в Ленинградском государственном педагогическом институте им. М.Н. Покровского.

Ещё до призыва в армию Борис был студентом-заочником литературного факультета Омского Государственного педагогического института им. А.М. Горького и успел закончить I курс. После



С учащимися школы рабочей молодёжи

круговерть закончилась успешно в родных пенатах.

Борис Гвоздев возвратился в Омск после шести с половиной лет разлуки с ним, в мае 1947 г.



4 курс Литфак 1959 г. Б. Гвоздев – верхний ряд, 3-ий слева

успешных переписок двух вузов, учёба возобновилась. Это отразилось и на настроении:

– В этом году, впервые за последние пять лет я вновь почувствовал весну. В сердце возвращаются надежды, мечты, чувства. Все для меня, и я для всех! – читаем в записях. Учебная

Он учился заочно и работал учителем русского языка и литературы в вечерней школе № 11. Школа находилась в посёлке с удивленным названием Сахалин. Так называли его за расположение на окраине города, возле телевизионного завода.

Ученики в школе рабочей молодежи были и молодые, и пожилые. Многих Борис от души любил за прилежание. Хотя старался ладить со всеми, ведь он носил звание учителя. Кроме вечерней школы преподавал и в обычной. Ученики 5-х и 6-х классов были и смешными, и непослушными, и добрыми, как когда-то сам Борис. Он учил их русскому языку и литературе. Также его обязывали преподавать историю в ПТУ, куда направляли, в основном, мужчин. Девушкам-педагогам сложно было справляться с контингентом будущих ремесленников тех лет. В школе Борис Гвоздев проработал до выхода на пенсию в 1976 году.



С учениками 5 класса шк. № 7

В 1955 году Борис женился. Возраст был куда уж более подходящий – 34 года. А избраннице Верочке всего 18 лет.



С женой Верой

В поздравлении Веры с Новым 1955 годом Борис пишет, что лишь год назад они ещё только мечтали дружить, искали пути-дороги, которые бы быстрее привели их друг к другу. И желает любимой жене и себе, чтобы эти пути никогда не расходились. В 1957 году родилась дочь Светлана. Это долгожданное событие для родителей. Борис желает молодой мамочке хорошей счастливой и радостной жизни на новом этапе. Быть хорошей женой и мамой, и очень хорошей хозяйшкой. Вера от себя и дочки пишет, как они любят папочку и очень скучают. Просят принести фото...

Но совместная жизнь не заладилась. Возможно, родства душ не произошло. Богатый жизненный опыт, профессия, духовные запросы, круг общения состоявшегося мужчины не нашли должного понимания у молодой женщины. С дочерью Гвоздев продолжал общаться, как и с внуком – Олегом.

Была ещё одна женщина в сердце: – Девчонку простую, неброскую эту //Я знаю уже некоторое лето. //Умна, деловита, в меру скромна, //К тому же отзывчива очень. //Окажешься если рядом с ней, //Бравады и лести не надо. //Она, словно празднику, словно весне, //Успехам других рада. Юная скромница покорила сердце Бориса Сергеевича на

долгие годы. Он посвятил ей стихи, где последние строки отразили всю проблему их отношений: «Но есть у неё один недочет: её не ко мне, а к другому



Гушина Дина. 1949 г.

влечёт». Дина Григорьевна уже была замужем. Но судьба всё же свела их. Правда, гораздо позже. Их пути наконец пересеклись, когда ему было 81, а ей – 72 года. За плечами у каждого была своя жизнь, с трудностями и потерями. Но однажды знакомый приятный голос по телефону сказал: «Дина, приходите ко мне. Я вам хочу подарить книги». Она пришла, и они прожили вместе четыре счастливых года. Когда Дина впервые пришла в 8 класс вечерней школы №11, она и не подозревала, что их учитель русского языка, этот приятный и интеллигентный мужчина, когда-то станет её мужем.

Несмотря на занятость от учебной нагрузки, Борис Сергеевич не забывал о своём давнем увлечении – писательской деятельности. Профессия учителя русского языка и литературы способствовала этому. Прделана грандиозная работа по сбору материала о пунктуации. «Где чихнулось – запятая, где икнулось – двоеточие, где табака понюхал – точка» – это так пошутил Владимир Даль. Но Гвоздев обозначил актуальную тему о неладах многими, даже «образованными» россиянами, русским письменным языком, в частности с пунктуацией, которые считают, что соблюдать её законы совсем не обязательно. Это находит отражение и в переписке в интернете. «Знаки-верховоды» в письменной речи необходимы. И это блестяще показывает учитель словесник. Сохранилась большая подборка по применению знаков препинания.



Дочь Светлана

Нет, не обойтись без знаков препинания! Они дисциплинируют письменную речь, передают тонкости глубоких мыслей и душевных переживаний. Сборник предложений по пунктуации ещё ждёт своего часа. Примеры подобраны из разных областей знаний. И в духе, и стиле Гвоздева дан огромный список и краткие сведения об авторах предложений. Их 236! Издание сборника явилось бы умным помощником умным педагогам. Да и учащимся старших классов при подготовке к ЕГЭ и поступлении в вуз.



Печатная машинка Б.С. Гвоздева

Язык книг Бориса Сергеева Гвоздева богат и красив. Борис Сергеевич тщательно работал над каждой рукописью. Десять раз «переписывал» её на машинке, чтобы не стыдно было принести текст в газету или издательство. «Его нельзя было оторвать от письменного стола! Он очень бережно его охранял, не разрешал ничего там трогать. Постоянно сидел и работал: редактировал, публиковал», – рассказывает Дина

Григорьевна. Его печатная машинка «Москва» – великая труженица. Несколько десятилетий верой и правдой служила она своему хозяину. Через неё прошли все произведения мастера слова и великого труженика. Но первоначально была рукопись. Здесь трудились карандаш и резинка.

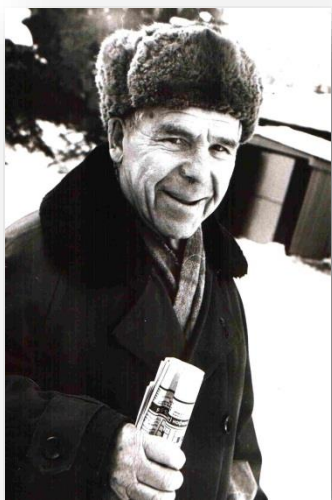
Автора Гвоздева Бориса Сергеевича знали в омских газетах. Поиски преданий он начинал, перелопачивая все районные газеты омской области. А было их 42. Книги Гвоздева любят, хотя их не уж много: «Ключи от прошлого», «Картины родного края», «Аксиомы». Гораздо больше журнальных, газетных статей, публикаций в сборниках, альманахах.

А папки Бориса Сергеевича! Целый кладёзь интереснейших фактов содержится в них. Темы разные: «Основание Омска», «Имена, фамилии, отчества», «Футбол», «Омск литературный», «Нумизматика», «Войны», «Песни»... Их около сорока. Человек собирает, что ему интересно с целью познания, пополнения своих знаний. А эти знания рано или поздно ему пригодятся. Можно всегда привнести свой свежий взгляд и это будет бесценно. Примером может служить уникальная книга Б.С. Гвоздева «Ключи от прошлого». Материал для неё он собирал около сорока лет! Пытливый человек много лет занимался топонимическими изысканиями, записывал легенды, предания, устанавливая, почему именно так названы многие местные веси.

Опозитизированные народным воображением далёкие исторические события предстают перед нами в необычном ракурсе – некоей «неправилинкой». Книги Бориса Гвоздева помогают лучше понять богатое прошлое сибирского края.

Давняя дружба связывала нас с Борисом Сергеевичем Гвоздевым, известным омским краеведом. Я работала в Доме детского творчества Ленинского округа. Предшественниками был собран некоторый краеведческий материал. На основе его стала создавать музей. Время его становления пришлось на начало 90-х годов, когда отмечался всплеск интереса к краеведению. Мы с детьми накапливали опыт музейной просветительской деятельности. С «Волшебной корзинкой» приходили в школы района и знакомили ребят с предметами быта жителей Атаманского хутора. Одним детям нравилось рассказывать, другие же с интересом прикасались к «живой» истории и начинали более глубоко изучать родословную предмета. Замечательные строки есть у Т. Белозёрова – «Что запомнит наше детство, то останется в наследство».

А какие люди приходили в наш маленький музей (так любовно называли мы одну из комнат Дома детского творчества)! Умные, щедрые и очень увлечённые. Одним из них был Борис Сергеевич Гвоздев. Он был очень порядочным, веселым человеком, приятным в общении.



Б.С. Гвоздев

Сколько детишек слушали, затаив дыхание, его легенды, предания земли Омской! Дети из школ района приходили в музей на встречу с именитым писателем, да и мы с Борисом Сергеевичем часто захаживали к ним. Завораживало умение автора неспешно, обстоятельно и ясно рассказывать. Сколько литературных исторических образов представил он своим благодарным слушателям! Будили воображение старик Алтай и игривый сын его Иртыш. Смирненно представал перед ними юноша Ом, который подобно горьковскому Данко отдал себя без остатка людям...

Постепенно в нашем музее стал складываться фонд писателя. Красный угол нашей избы стала украшать икона, подаренная Борисом Сергеевичем. Собралось более 100 газет с легендами писателя, книги с автографами. Слово «хранится» было не очень удачным. Материал читался, был востребован. А юные художники Дома творчества, после знакомства с увлекательными и познавательными произведениями, отображали свои впечатления в удивительных рисунках, выставляя их на конкурсах художественного творчества.

После кончины писателя Дина Григорьевна Гвоздева значительно пополнила наш музей. Гвоздь музея – Борис Гвоздев! Это стало очевидно. Выставки, презентации были посвящены разносторонней творческой личности, замечательного человека, талантливого писателя, оставившего нам своё богатство. Память об этом замечательном человеке и талантливом писателе остались в его книгах, делах и сердцах людей. По его трудам и записям молодые поколения изучают историю нашего города. Произведения помогают педагогам воспитывать детей на истории своего народа, помогают становлению личности и познанию малой Родины на высоте патриотического пафоса.

А наследие Б.С. Гвоздева было решено передать в фонды Омского государственного литературного музея имени Ф.М. Достоевского.



Гвоздева Д.Г. и Москвина Л.А

Начало Великой Отечественной войны застает Вс. Иванова в Переделкино. 25 июня он становится военным корреспондентом газеты «Красная звезда» (26 июня опубликована статья «Патриоты Родины»), в течение всей войны пишет статьи и для «Известий» («Мое Отечество», «Фашизм – враг славянства», «Мысли народа» и др.). После года вынужденной эвакуации в Ташкенте в 1942 г. и нескольких месяцев пребывания в Москве зимой 1942 – 1943 гг. он в марте 1943 г. едет на Западный фронт, затем – в район Орловско-Курской дуги. Весной 1945 г. Иванов опять на фронте и в составе действующей армии доходит до Берлина.

С первых дней войны писатель ведет дневник, где подробно записывает сводки с фронтов и слухи, практически ежедневные события ташкентской и московской жизни самых разных людей, в том числе писателей, дает небольшие зарисовки увиденного им. Приведем лишь некоторые: «Вся Москва, по-моему, помимо работы занята тем, что вывозит детей. Пожалуй, это самое убедительное доказательство будущей победы – гениальные муравьи всегда первым делом уносят личинки. – Закрасили голубым звезды Кремля, из Василия Блаженного в подвалы уносят иконы» (8 июля 1941 г.; 80¹); «В Союзе. Все говорят о детях; пришли два писателя – хлопчут об огнетушителях для своих библиотек» (9 июля; там же). Дневник передает и настроение Иванова: «Когда пишешь, от привычки что ли, на душе спокойнее. А как лягу – так заноеет-заноеет сердце и все думаешь о детях. Куда их девать? Как их сбросить от бомб, – и вообще? Сам я решительно на все готов» (24 июня; 78).

И в Ташкенте, и в Москве писатель продолжает работать. В течение 1941–1945 гг. написаны статьи; рассказы о современности и исторические повести и рассказы, составившие книгу «На Бородинском поле»; пьесы «Дядя Костя», «Запевало», «Канцлер» – о русском канцлере князе А. Горчакове, бывшем лицеисте; рассказы «фантастического цикла»: «Агасфер», «Сизиф, сын Эола» и др. В 1942 г. завершен роман «Проспект Ильича». В 1943 г. начата работа над военным вариантом романа «Сокровища Александра Македонского». Из всего вышперечисленного, кроме статей, были напечатаны только отдельные главы из романа «Проспект Ильича» (Ташкент, 1943. Под заглавием: «Матвей Ковалев») и сборник рассказов «На Бородинском поле» (М., 1944).

Рассказы сразу же подверглись критике. Сборник Иванова вышел спустя год с того времени, как разрешенная с начала войны и всячески пропагандируемая «русская тема» в феврале 1943 г., после Сталинградской битвы, была отодвинута на второй план. С горькой иронией прокомментирует

Иванов в дневнике игру печати со словами «русский народ» и «советский народ»: «Когда нас бьют, мы кричим, что гибнет Россия и что мы, русские, не дадим ей погибнуть. Когда мы бьем, то кричим, что побеждают Советы...» (8 февраля 1943 г.; 258). Драматургия Иванова 1930-х гг. (пьесы «Двенадцать молодцев из табакерки» – об императоре Павле I; «Вдохновение» – об эпохе Дмитрия Самозванца) и его проза – например, рассказ 1940 г. «Поединок», действие которого происходит накануне войны 1812 г. и герой погибает в бою за Смоленск, – подтверждают, что Иванову не надо было, в соответствии с официальной идеологией, перестраиваться в сторону темы русской истории. Она не уходила из поля зрения писателя. В сборник «На Бородинском поле» вошли исторические рассказы («При Бородине», «На старой Смоленской дороге») и повесть о современности «На Бородинском поле», в которых Иванов стремился показать преемственность истории на уровне судьбы одного рода – крестьян Карьиных. В 1812 г. отец и сын Карьины сражались и погибли при Бородине (об этом идет речь в двух названных исторических рассказах), а в 1941 г. потомок их, Марк Карьин, слышавший от отца в детстве древнерусские сказания («И бысть ему скорбь велия...»²), участвует в обороне Москвы, командует артиллерийской батареей на том же Бородинском поле и как бы слышит слова своих дедов, гасящие его глупое юношеское самолюбие: «Мы стоим четвертый (день. – *Е.П.*) и еще четыре простоим, не заметив, не дрогнув, не возроптав»³.

Мысль о преемственной связи русского государства и Советского Союза писатель выскажет в 1944 г. и напрямую в статье «Русский народ – опора славянства», опубликованной в журнале Всеславянского комитета «Славяне». Рассматривая события истории XIII в. – неудавшийся «объединенный план татар и тевтонов <...> уничтожить русских», приводя высказывания чеха Яна Коллара, словака Людвиг Штура и других славянских историков и философов, Иванов приходит к выводу: «Новая, Советская Русь приняла на себя и все те благородные и высокие задачи, которые несла Россия в лице ее лучших сынов и мыслителей, в лице ее лучших воинов и героев. И не только приняла, но и приумножила».⁴

В 1945 г. критики выскажут в адрес автора сборника «На Бородинском поле» «суровое обвинение» в том, что «он не сумел соблюсти меры в характеристике преемственности традиций» и «русские воины заслонили советских бойцов»⁵. В «мастерски написанной книге большого писателя Вс. Иванова» О. Грудцова увидит «существенный недостаток»: «...далеко не все герои современных рассказов из этой книги о русских людях несут в себе ярко выраженные черты советских людей»⁶. Еще более резко отозвался о книге критик А. Дроздов в «Литературной газете»: «Вс. Иванов пишет о героизме советских людей, минуя историю советского государства, пренебрегая

революционным преобразованием человеческой природы. <...> Глаза писателя обращены к “священным” и “святым” вневременным устоям старой русской жизни». Особенно досталось от критика прекрасному рассказу «Близ старой Смоленской дороги», действие которого происходит в Бородинскую годовщину 1839 г. Иванов показал пыльный, жаркий день, торжественное празднование памятной даты и безнадежные попытки одинокой крестьянки найти священника и отслужить панихиду по убитым на войне мужу и сыну, и критик не может не признать, что «по части художества все совершенно в этом небольшом рассказе». Однако, как считает Дроздов, этого нельзя сказать о его идейном содержании. «Кроток и вынослив в горе народ русский, – старается доказать этим рассказом Вс. Иванов, – он врачует свои душевные раны религией и церковными обрядами, загораживаясь ими от тягот и гнета крепостного права и людских обид. Не зря слово “панакидка” почему-то напоминает старухе сизого, томно воркующего голубя. Вот здесь-то, за высокой художественной формой, проступает подспудная и в корне неверная тема»⁷, – комментирует критик «глубоко неправильную» позицию писателя. Конец рассказа о голубе был снят при переизданиях.

Спустя почти год после окончания войны критик Г. Бровман в статье «Заметки о художественной прозе 1945 г.» выскажет осуждение в адрес «некоторых писателей», в книгах которых «не видна разница между старой и новой Россией» и герои, лишённые «советского сознания», напоминают «слегка заgrimированного» Платона Каратаева. Такими книгами оказались «В сторону заката солнца» А. Платонова и «На Бородинском поле» Вс. Иванова. Прочитав фрагмент повести Иванова: «Один из нас думает необъятно, другой набирает поуже, но все мы гребем в одной лодке, к одному берегу – везем Русь», – критик замечает: «Это верно. Но какую Русь везут бойцы Красной Армии? Ту ли дремучую “Расею”, которая существовала в стародавние времена, или новую советскую социалистическую Россию? У Всеволода Иванова в повестях этой книжки не видно разницы <...> и старый русский патриотизм подчас просто отождествляется с патриотизмом советским»⁸.

Отголоски спора между «русским» и «советским» будут звучать в творчестве Иванова вплоть до смерти. Так, в фантастической повести «Генералиссимус» (1962) о чудесном воскрешении в военном госпитале в Сибири в 1945 г. сподвижника Петра 1 генералиссимуса А. Меншикова прозвучат горькие размышления о роли воскрешения истории в годы войны: «обломками героического прошлого предполагали этих, измученных террором людей как-то склеить в героев. И ...склеили! Война заканчивалась победоносно, <...> “союзники” из прошлого отодвигались в сторону: слово “русский” упоминалось все реже и реже»⁹. То, что «разрешение говорить об истории не

значит воскрешать ее», понимают все, кроме Меншикова, готового вновь послужить Родине, и простодушного военного доктора. Он твердит свое: «Значит, человек бессмертен!»¹⁰.

Произведения Иванова военных лет были неравноценны, и он понимал это. Статьи лета 1941 г. основывались на первых впечатлениях писателя – записях, услышанных им в Москве разговоров: старушки в трамвае, провожающей сына на фронт («Который раз на фронт провожаю, кажись бы привыкнуть, а сердце – оно и есть сердце»¹¹ – «Мое отечество». 24 июня); колхозников и рабочих, комментирующих речь Сталина («Ополчение должно быть народное. Это верно <...> Все пойдем на врага, всей семьей»¹² – «Мысли народа». 5 июля); рабочего и бухгалтера, тушащих на крыше писательского дома в Лаврушинском переулке зажигательные бомбы («Что ж ты думаешь, мы <...> рассудимся? От твоих-то бомб»¹³ – «Житель отчизны». 26 июля). «И меня сейчас смущает только та мысль, – комментирует услышанное им Иванов, – что я не смогу передать всей поразительной искренности, простоты, героизма этих слов»¹⁴. Проза Иванова 1942 – 1943 гг. отмечена поисками слова, верного правде военного времени. Чаще всего эти поиски приводили к упрекам критики 1940-х гг. в «надуманности», «стилизации» и т. п. В качестве примера поиска стиля приведем, например, два описания гостиницы «Москва», где Иванов живет в декабре 1942 г.: в дневнике, с его реалистической и жесткой манерой письма, и в очерке «Генерал Орленко и его народ» (с генералом Орленко – украинским партизаном Федоровым – Иванова познакомил поэт М. Бажан, который и упомянут в тексте). В очерке: «Зима 1942-го. Гостиница, длинное, белое, уютное московское здание. В одном из номеров живет украинский поэт, талантливый, мечтательный, страстно влюбленный в свою родину. <...> Снега нынче глубоки, душисты и трепетно-игольчаты. Приходишь со снега и мороза в узкую комнату поэта, - и все равно просторы и снега не покидают вас, и оттого жизнь кажется еще более, чем всегда, просторной, снежной, поэтично-звонкой»¹⁵. В дневнике: «...сегодня Рождество. 9 часов вечера, сижу в комнате один. <...> На душе томление – по ребятам, по Ташкенту, по глупой и неустроенной жизни. <...> зима снежная и мягкая, мальчишки катаются на салазках, так как подметки у мальчишек рваные, то у них проволокой подмотаны куски шинельного сукна. В столовой разговоры о лимите и водке, да о табаке, вонюче, грязно; из рупора непрерывно несутся аплодисменты» (25 декабря 1942 г.; 231).

Отчасти новая для Вс. Иванова писательская манера была вызвана теми новыми задачами, которые он ставил перед искусством. 17 июля 1942 г. датирована такая дневниковая запись: «Вчера Лежнев выразил желание видеть в романе *отрицательное*. Я столько видел и вижу этого отрицательного, что уже не могу писать об этом» (111, курсивом здесь и далее обозначен текст,

подчеркнутый автором). А 26 сентября 1942 г. Иванов запишет: «Иконописно, но именно *так*, – с верой в человеческое сердце, – и надо сейчас писать» (143). О вопросах искусства подлинного и мнимого, о великом искусстве, которое должно появиться в результате «всеобщего пробуждения», Иванов в это время размышляет много. В интервью, опубликованном 1 января 1945 г. на страницах «Литературной газеты», на вопрос «Что Вы ожидаете от Нового года?» Иванов отвечает: «Как и многие читатели нашей страны, я ожидаю гения. Наш народ в Великой Отечественной войне проявил величайшее человеческое совершенство, показав примеры высокого героизма на фронте и в тылу. Это совершенство человеческого духа неизбежно должно претвориться в явления искусства, в явления поэзии. Так, тоска по гению после Отечественной войны 1812 г. сказалась появлением Пушкина. Творческий подвиг народа был повторен творческим подвигом поэзии. Так будет и ныне». Когда произойдет «конденсация этого подвига», когда появится гений – ответов на эти вопросы Иванов, естественно, не знает. Но убежден, что «воспеть подвиги народа» можно будет лишь тогда, когда, продолжая учебу у классиков, «мы применим сознательное индивидуальное открытие новых поэтических сочетаний и новых, лучших способов выразительности». Об этом же на страницах новогоднего номера газеты скажут «серапионовы братья» Вс. Иванова – М.М. Зощенко («Новыми дорогами») и К.А. Федин: «Мы должны осмысливать длительный путь, пройденный родиной, должны давать картины не только широкие, но глубоко продуманные, характеры не только резко очерченные, но сложные, многосторонние. Нужны смелые замыслы, полнота чувства, властность убеждений»¹⁶. В установке Иванова на новое искусство – истоки сюжетной линии певицы Полины Смирновой (сценический псевдоним – Вольской) из неопубликованного романа «Проспект Ильича». Героиня Иванова разуверилась в возможностях песни на войне, ушла работать на завод и вновь вернулась к искусству, поняв, что ее «песня торжествующей доблести»¹⁷ помогает людям сражаться в дни обороны родного города. Здесь же истоки романа «При взятии Берлина» (1945) – о художнике из крестьян Викторе Михееве, которому Иванов доверил увиденное им весной 1945 г.: имперскую канцелярию, трупы двойников Гитлера, поверженный Берлин.

При этом, кажется, как истинный большой писатель, Вс. Иванов постоянно ощущает некую внутреннюю неправду этого пути – своего рода «грех литературности». Особенно ярко это видно на страницах дневника: «Идет война, погибают миллионы, а быт остается бытом. Писатели пьют водку, чествуют друг друга “гениями”, – и пишут вздор» (25 декабря 1942 г.; 230); «Выставка называется “Великая Отечественная война” – и похоже, что художники ходят по улице, а открыть дверь в квартиру, где происходит подлинная жизнь, страдает,

мучается и геройствует современный человек. – нет». В представленных картинах побеждает «великолепная ложь». «Плох П. Кончаловский “Где здесь сдают кровь?”» – и Иванов вспоминает реального донора – брата жены Николая Владимировича: «Он не работает, а живет на то, что дают по донорской карточке. А не работает он потому, что жена его боится оставаться ночью одна (работать как инженеру ему придется и ночью), а потому также, чтобы получше питать жену. Ему уже под 50, а она его старше лет на 5, и кроме того у нее опухоль на груди, может быть – рак. Здесь и любовь плотская, и человечность, и долг перед Родиной – много очень хорошего, конечно, во время войны не говорят и не показывают кровь. <...> но все же правде надо глядеть в глаза...» (7 ноября 1942 г.; 184). Живя в Ташкенте, а затем в Москве в окружении писателей, художников, режиссеров, Иванов практически ни у кого не увидит этой «правды»: «И похоже, что читателей наших от писаний укачало так, что они ни лица, ни вида, ни слова нашего не понимают» (275). Записи его о пьесах «Фронт» Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова, о романе Шолохова «Они сражались за родину» категоричны и не всегда справедливы:

Не увидит Иванов «правды» и у себя, подтверждением чему станут для него письма самых строгих судей – читателей-фронтовиков. В архиве писателя сохранилось письмо из действующей армии, направленное в журнал «Огонек», где в 1943 г. печаталась повесть «На Бородинском поле». Поступающие журналы «мы прочитываем от корки до корки и, откровенно говоря, не испытываем особого восхищения писательским мастерством наших корреспондентов и писателей», – так оценивают современную литературу артиллеристы Алексеев и Глебов. К повести Иванова у них много претензий: герои «тощи», «упрощенны», хотя «милы»; «некоторые детали – неудачные, нелепые». Писатель не знает, «на какую дальность поражает огнемёт», какие бывают команды в артбригаде, и в целом «не имеет представления о людях фронта». «Да простит нам автор подобную дерзость, – заканчивается письмо, – вызванную не меньшей “дерзостью” с его стороны и да послужит это нашим, от всего сердца, укором – трудному писательскому труду, превращенному в средство легкого заработка и звучной славы»¹⁸. Возможно, это укоряющее письмо стало причиной того, что с 1943 г. Иванов не будет пытаться писать о солдатах. Роман «При взятии Берлина» (напечатан один раз: Новый мир. 1946. №№ 1 – 6) передает видение войны интеллигентом, среди которых и находился в 1943 и 1945 гг. автор: это писатели Федин, Пастернак, Серафимович, Славин. Но и этот роман Иванов посчитает неудачным и никогда не будет переиздавать.

В большой степени «правду» войны передает дневник Вс. Иванова (впервые полностью: М.: Наследие, 2001). Судя по характеру некоторых записей, он и писался для будущего читателя. Его герой нередко испытывает чувство

стыда при встречах с приезжающими с фронта офицерами и партизанами, о которых он, Писатель, напишет в газету. Так, запись от 25 ноября 1942 г. передает впечатление от встречи с молодыми (18 и 20 лет) партизанами – юношей и девушкой из Калининской области. Они «прожили и воевали с немцами месяцев по восемь. <...> Волнуясь и спеша, крутя папиросную бумагу, но по школьной привычке не осмеливаясь закурить при старшем, мальчик стал рассказывать. Боже мой, что видел этот бойкий и смелый паренек! А что видела и испытала девушка?» Расставаясь, Иванов говорит: «Ну, теперь читайте, что напишу о вас». И слышит в ответ: «Если уцелеем, прочтем. Мы ведь завтра улетаем на ту сторону...» А после Иванов видит в комнате ЦК ВЛКСМ очень делового «какого-то Рапопорта», сортирующего листовки для партизан и немцев аккуратными стопочками: «Штаб, значит, работает» (205 – 206). Может быть, наиболее сильная сторона военного дневника Иванова – короткие, сдержанные зарисовки реальной жизни, уродливо-страшной ташкентской 1942 г., и московской – разрушенного, со странной тишиной, но не сдающегося Дома. Такие зарисовки представляют собой как бы свернутые сюжеты ненаписанных рассказов, часто противопоставленных написанным: «Писал рассказ “Честь знамени”. Конец придумал замечательный, но, к сожалению, “надуманный”». А далее записано то, что видел на мосту, по направлению Дома Правительства: «санки широкие, те, на которых возят дрова», их тащат две женщины. На санках, на листе фанеры – «мужчина, лет тридцати, до пояса укрытый одеялом»: «На нем шинель, шапка-ушанка. Лицо у него истощенное, серое, но ласковое. У него нет одной руки и одной ноги». Женщины останавливаются передохнуть: «Пожилая женщина сбрасывает ляжку и подходит к калеке. Лицо у нее, несмотря ни на что! – сияет. Это, наверное, мать. Калека смотрит на нее радостно. Женщина помоложе стоит, не снимая ляжки, отвернувшись от санок. <...> Лицо измученное, лицо женщины, много рожавшей. Она неподвижна. Она тупо смотрит на серую, унылую громаду Дома Правительства – и не видит ничего!..» (266 – 267). Сдержанный язык этих записей лишен восторженных эпитетов и напоминает прозу Иванова периода лучшей его книги «Тайное тайных». Здесь автору, думается, удавалось найти равновесие между трагическим и «иконописным».

Понимая разную художественную ценность своих произведений, Иванов по-разному и относился к их издательским судьбам. Какие-то тексты он и не пытался отстаивать в столкновениях с редакторами, как будто и не стремился к их непременно публикации, за другие, наоборот, бился страстно. К последним относится роман «Проспект Ильича», написанный летом 1942 г. и впервые полностью напечатанный в журнале «Сибирские огни» лишь в 2016 г. (публикация И.А. Махнановой). Судьба романа показательна.

6 июня в Ташкенте Иванов с радостью запишет в дневнике, что закончил роман и сценарий с одноименным заглавием. В середине июня он заключает договор с Узгосиздатом на печатание романа, тогда же отсылает рукопись в Москву – в «Новый мир» и Гослитиздат; в июле подписывает договор с издательством «Советский писатель» на публикацию отрывков из «Проспекта Ильича». Роман в Москве не выходит, а 27 августа в письме Пресс-бюро ССП, подписанном А. Фадеевым и обращенном к Иванову, он читает следующий текст: «Уже давно Ваше имя не появляется на страницах наших газет и журналов. Это обстоятельство очень нас беспокоит. В дни напряженной борьбы с немецкими разбойниками Ваше активное участие в этой борьбе как писателя, которого любит и высоко ценит народ, необходимо и обязательно» (341 – 342). Отвечая на «хамское письмо», Иванов возмущен: «Следовательно, тем, что я не печатаюсь и не пишу, я не выполняю своих обязательств перед Родиной. Так ли это. Думаю, что это не так и Вы *превосходно знаете*, что это не так... <...> я видел письмо от газеты “Литература искусство” (подписанное тов. Горелик), адресованное тов. М. Живову, представителю газеты в Ташкенте. Газета, *Вами редактируемая*, выговаривает М. Живову свое негодование, что он осмелился похвалить новый роман Вс. Иванова “Проспект Ильича”, ибо неизвестно, что ждет роман. Не участь ли “Ивана Грозного” А. Толстого... <...> важно не отношение к роману и не заранее Вами определяемая судьба его, а то, что Вы великолепно знаете, что я написал большой роман в 18- 20 печатных листов о современной войне – первый роман, написанный старшим поколением группы советских писателей, к которой я принадлежу – и тем не менее Вы <...> пишете мне, что я *не выполняю обязательств* перед Родиной...» (342). В октябре Иванов приезжает в Москву и начинается безуспешное хождение по редакциям и издательствам, запечатленное на страницах дневника. Везде – отказ: «...роман признают оторванным от жизни» (176). Иванов садится за переделку текста: «Так как глава о еретиках напугала наших дурачков, то я ее выкинул. Эта глава была стержнем, на котором висела глава вступительная – песня о “проспекте Ильича”, и поэтому пришлось выкинуть и первую главу, а раз выкинул, надо менять и заглавие» (15ноября 1942 г.; 194). Под другим заглавием – «Матвей Ковалев» – в Ташкентском отделении издательства «Советский писатель» в 1943 г. выходят маленькой книжечкой главы из «Проспекта Ильича». Обстановка на фронте меняется – и, казалось бы, устраивается судьба романа. В разгар Сталинградской битвы в газете «Известия» предлагают опубликовать центральные главы романа – о сражении за осажденный город (впервые: Известия. 1942. 17дек.). «Как будто это написано сегодня про Сталинград», – записывает Иванов восклицание редактора (225). 21 декабря писатель читает главы по радио. Но это ничего не меняет: роман «Проспект Ильича» так и не печатается.

На неизбежно встающий вопрос, что же помешало публикации романа «Проспект Ильича» и во время войны, и после нее, однозначно ответить трудно. Содержание его, как оно представлено в авторском предисловии к ташкентскому изданию, казалось бы, полностью соответствует духу времени. Описано лето 1941 г. Советская армия защищает областной город Р., который «за годы пятилеток» вырос в «новый индустриальный центр». Среди заводов выделяется «гигант – СМХ, завод сельскохозяйственных машин». К моменту блокады города завод перестраивается и начинает выпускать противотанковые пушки, чему способствует много людей: «...и директор завода старый большевик Рамаданов, и ученый артиллерист Дедлов, <...> конструкторы, инженеры и рабочие». Из «рабочих-стахановцев особенно выделяется Матвей Ковалев, человек исключительного таланта, решимости и ума». В финале немцы отступают, но «борьба с ними не закончена», «война продолжается», «народ и армия наша уверены в победе»¹⁹.

Возможно, ответ на вопрос о причинах несостоявшегося издания прояснит публикация первой, ташкентской, редакции романа, которая считалась утраченной и, как выяснилось недавно, волею истории отложилась в фондах Омского государственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского. Сотрудник музея И.А. Махнанова подготовила рукопись для журнальной публикации. Что испугало редакторов и издателей – нам это еще предстоит узнать. Только ли выброшенная глава о еретиках? Или сохранившийся и во второй, московской, редакции эпизод, когда вопреки распоряжению секретаря парткома об эвакуации завода, рабочие, по предложению Ковалева, настаивают на том, чтобы защищать его? Или сюжетная линия Полины Смирновой? Или преемственность нового с русской историей? Все это не вошло в текст напечатанных в Ташкенте глав.

Вторая из известных на сегодняшний день редакций романа «Проспект Ильича» – машинопись 1943 г. с правкой Вс. Иванова – хранится в семейном архиве. В настоящем издании печатаются две первые главы из нее с учетом авторской правки. Орфография в главах приведена в соответствие с современными нормами, авторская пунктуация по возможности сохранена.

¹ *Иванов Вс.* Дневники. М.: ИМЛИ РАН, 2001. Здесь и далее страницы этого издания даются в тексте статьи в скобках.

² *Иванов Вс.* На Бородинском поле. М.: Советский писатель, 1944. С. 162.

³ Там же. С. 186.

⁴ Славяне. М., 1944. № 6. С. 3 – 5.

⁵ Новый мир. 1945. № 2 – 3. С. 230.

⁶ Там же. С. 232.

⁷ Литературная газета. 1945. 3 февр. № 6(1117). С. 2.

⁸ Новый мир. 1946. № 3. С. 176.

⁹ Неизвестный Всеволод Иванов: Материалы биографии и творчества. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 650 – 651.

¹⁰ Там же. С. 657.

¹¹ *Иванов Вс.* Мое отечество. М.: Советский писатель, 1941. С. 3.

¹² Там же. С. 7.

¹³ Там же. С. 38 – 39.

¹⁴ Там же. С.9.

¹⁵ *Иванов Вс.* На Бородинском поле. С. 93.

¹⁶ Литературная газета. 1945. 1 янв. №1(1112). С. 2.

¹⁷ *Иванов Вс.* Матвей Ковалев. Ташкент: Советский писатель, 1943. С. 61.

¹⁸ НИОР РГБ. Ф 673. К. 49. Ед.хр. 1. Л.1 – 2, с об.

¹⁹ *Иванов Вс.* Матвей Ковалев. С. 3 – 4.

Среди многочисленных не публиковавшихся при жизни произведений Всеволода Иванова есть книга, о неблагоприятной издательской судьбе которой сам писатель горевал более всего. Это военный роман «Проспект Ильича», написанный в 1942 г. Он, «может быть, единственный раз в жизни, сам добивался опубликования именно этого романа, много раз переделывая его. <...> Думается, что самое обидное для человека, когда отвергается его искренний горячий порыв своими усилиями закрепить не свое личное, а именно общее дело», – вспоминала Т.В. Иванова. После смерти мужа она прикладывала огромные усилия, чтобы напечатать романы 1930-х гг. «Кремль» и «У», произведения «фантастического цикла», хранившиеся в архиве. Будучи внучкой писателя, я старалась продолжить ее работу – в 2001 г. вышли «Дневники» Иванова, в 2012 г. в серии «Литературные памятники» переиздана подвергшаяся в 20-х гг. истребительной критике книга «Тайное тайных». А сейчас я искренне радуюсь, что к нелегкому этому делу постепенно присоединяются молодые исследователи. Особенно приятно, что Ирина Алексеевна Махнанова, подготовившая к первой публикации в журнале «Сибирские огни» роман «Проспект Ильича», – сотрудник Омского государственного литературного музея им. Ф. М. Достоевского. С Омском, где Иванов жил с 1917 по 1921 г., в трагическое для Сибири и России в целом время, тесно связана творческая судьба писателя. Здесь формировался его удивительный талант жесткого реалиста и фантаста, экспериментатора. Здесь, в Сибири, он был свидетелем революции, стремительной смены правительств, братоубийственной Гражданской войны. Все это нашло отражение в «Партизанских повестях», особенно в знаменитом «Бронепоезде 14-69». «Партизанами он начал, партизанами надо ему кончить», — так, по воспоминаниям Т. В. Ивановой, в 1940-х гг. пошутил один из руководителей Союза советских писателей. Однако ни во время Великой Отечественной войны, ни позднее роман «Проспект Ильича», где по-другому, чем в 20-х гг., рассказывалось о другой войне, не был напечатан. Не помогло ни то, что Иванов с июня 1941 г. стал военным корреспондентом «Красной Звезды» и «Известий», ни то, что в 1943 г. он был на Орловско-Курской дуге, а в 1945-м – в поверженном Берлине. Какие «еретические» мысли Иванова так напугали редакторов и издателей – это современному читателю предстоит понять, читая само произведение в журнале «Сибирские огни». Мне же хочется выразить глубокую благодарность всем тем, кто помог осуществлению мечты писателя о публикации романа «Проспект Ильича».

Елена Папкина (Иванова), сотрудник Института мировой литературы им.
А. М. Горького РАН

Великая Отечественная война оставила немного материальных свидетельств тех страшных лет. Эта память бесценна – вещи, письма, дневники, печатные издания военной поры укрепляют связь времен. И без сомнения, более семидесяти лет бережно хранимый и ожидающий своего часа роман Всеволода Иванова, доказывающий несломленную веру в Победу, заслуживает публикации и включения в массив научного и культурного наследия эпохи.

Роман «Проспект Ильича» до настоящего времени не опубликован. Известны несколько машинописных вариантов, но экземпляр, хранящийся в фондах Омского государственного литературного музея имени Ф.М. Достоевского, по ряду обстоятельств следует считать первой редакцией (ОЛМ 29/38). Наши предположения при текстологическом сравнении подтвердила Е.А. Папкова, исследователь творчества писателя, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, внучка Всеволода Иванова.

В 1960 г. Вс. Иванов передал свой роман на ознакомление М.В. Минокину (1918–1999), в то время доценту Орловского педагогического института, впоследствии – доктору филологических наук, профессору, заведующему кафедрой советской литературы Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской (в настоящее время – Московский государственный областной университет). Михаил Васильевич передал эти документы в Омский краеведческий музей в 1980-х гг. С начала 1990-х они хранятся в Омском государственном литературном музее имени Ф.М. Достоевского.

Музейное дело – объемная картонная папка с машинописным текстом в 406 страниц, на обложке которой прочитывается рукописная надпись, сделанная простым карандашом: «Тов. Минокину (от автора)». Адресат подчеркнут двумя линиями, ниже по центру той же рукой сделана надпись – «Вс. Иванов», под фамилией – «Неопубликованный роман».

Первый лист, отличающийся по плотности от остальных страниц, вложенный отдельно, имеет наклонную надпись карандашом красного цвета – «Проспект Ильича», также подчеркнутую двумя чертами, ниже – «Роман» (подчеркнуто одной чертой). Первый лист, без сомнения, сохранил для нас руку автора. Такая уверенность появилась, когда мы сравнили наши надписи с рукописью другого произведения Вс. Иванова, заглавие которого написано тем же карандашом и подчеркнуто подобными же решительными двумя чертами, а

ниже заголовка следует пояснение в скобках: «(написано рукой Вс. Вяч. Т.В. Иванова)».

Также на первом листе имеются две коротких записи, уже другим почерком, написанные одной рукой, но в разное время: карандашом синего цвета – «Рукопись с правкой автора хр. в ЦГАЛИ», простым карандашом – «Автограф Вс. Иванова (записка в архиве ИРЛИ) 1960 г. Орел». Сравнивая эти надписи с записью М.В. Минокина на последней странице, убеждаемся, что автором их является ученый.

При ознакомлении с архивом М.В. Минокина авторская машинопись «Встречи и переписка со Всеволодом Ивановым» прояснила ряд фактов.

«К сожалению, я слишком поздно заинтересовался неопубликованными романами и повестями, да и пьесами», – сетует в своих воспоминаниях М.В. Минокин².

«Если Вас интересуют мои писания, я Вам подарю перепечатанные экземпляры романов “У” и “Проспект Ильича” – обещал мне В[севолод] В[ячеславович], в том же году известил по телефону, чтобы я зашел на Лаврушенский получить машинописные копии романов “У” и “Проспект Ильича”. Когда я дома раскрыл одну и другую папку, то в них нашел по записке. ... Вторую записку-автограф привожу:

“Роман “Проспект Ильича” был написан в 1942 году в Ташкенте, куда я эвакуировался с семьей из Москвы и Куйбышева глубокой осенью 1941 года.

Роман был принят к печати в издательстве “Советский писатель” и журналом “Новый мир”, откуда был выброшен чьей-то мощной рукой без объяснения причин — мне. Я попытался объясниться: ходил к т. Стецкому (тогдашний Поликарпов в ЦК) и к т. Щербакову (тогда секретарь МК). Они меня любезно приняли, но тоже ничего не объяснили.

В Ташкенте отдельной книжкой, листов 5—7, вышли тогда же отрывки из романа под названием “Матвей Ковалев”. И — всё.

Рукопись не выправлена и не перечитывалась мною с 1942 года. Вс. Иванов. Ноябрь 1960. Переделкино”». (ОЛМ 29/21)

Далее М.В. Минокин продолжает (для нас важно это мнение):

«Вскоре я прочел “Проспект Ильича” и написал горячее письмо В.В. В нём я говорил об утрате советской литературой военных лет, ведь в 1942 году мог увидеть свет один из первых романов о первом этапе войны, в нем впервые ярко показана как героическая защита советского города, так и самоотверженный труд людей этого города (видимо, в основу легли впечатления от обороны г. Смоленска в 1941 году).

“Спасибо за “Проспект Ильича” и за горячность письма, — быстро откликнулся В. В. — Конечно, подлецы, что запретили “Проспект Ильича”. Но — кто запретил? Я до сего дня не знаю. И, конечно, роман можно и сейчас напечатать, — но вот руки не доходят подредактировать его. Да я и не совсем уверен, что его сейчас напечатают”».

А что же написал на последнем листе авторского экземпляра ученый? Под впечатлением от прочитанных строк М.В. Минокин эмоционально высказал свое профессиональное мнение: «Преступление совершил тот, кто отказался печатать роман в войну, преступление совершает сам автор, сегодня не печатающий его, – ибо это высокопоэтическое произведение волнует и сегодня! М.М. 16.XII.60»

Более 400 страниц машинописного текста не содержат поздних правок, которые автор вынужден был делать по требованиям цензуры. Непростой путь подготовки романа к печати, стремление донести свой труд до читателя отражены в дневниках писателя. В военные годы, как и в предыдущее десятилетие, литературное творчество должно было соответствовать канонам соцреализма. Казалось бы, требования, изложенные в Уставе Союза писателей СССР, выполнены: «Правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания в духе социализма...» Так в чем же засомневались цензоры?

Всеволод Иванов мастерски применял свое умение показать особенности времени, отразить контрасты идеологии. Образ Ильича, воплотившийся в монументальном проспекте, возвеличивающий на века фигуру основателя Советского государства, может рассматриваться и как своеобразная дань литературным канонам соцреализма, и как пародия на действительность. Прославление вождей Отчизны – Ленина и Сталина, незыблемая вера в коммунистическое будущее умело передаются автором, но скрытая между строк ирония, неприятие стереотипов поведения не единожды встречаются в романе.

Стремление главных действующих лиц открыто заявлять о своем мнении, мыслить и действовать самостоятельно становится основной сюжетобразующей линией романа. По мере погружения в текст бдительная советская цензура, вероятно, обнаруживала все более двусмысленные моменты, чего допустить не посмела... Скрытые и явные протесты, выраженные в романе, автором не объясняются и не комментируются. Возможно, именно эта свобода повествования, не скованная канонами представления войны, искренность переживаний и мыслей героев оказалась слишком смелой...

Избирательно и кратко процитируем «Дневники»^{*} Всеволода Вячеславовича, отмечая последовательность событий, связанных с цензурным «воздействием» на роман и некоторыми «итогами».

«Ташкент. 1942. Заметки.

6/IV. Окончил роман “Проспект Ильича”. Испытываю живейшее удовольствие от этого события.

^{*} Иванов Вс. Вяч. Дневники. — М., 2001.— С. 88—215.

8/IV. Пришел редактор Киевской киностудии <нрзб>, сообщить, что сценарий мой, “Проспект Ильича”, в основном принимается. Нужны доделки.

<...>

11/IV. Читал теорию права. Роман лежит направленный.

13/VI. Получил из Узгосиздата предложение прийти и подписать договор на “Проспект Ильича”.

15/VI. Подписал договор на “Пр[оспект] Ильича”.

<...>

20/VI. Днем правил роман.

23.[VI]. Окончил правку романа “Проспект Ильича”.

4.[VII]. Позвонили из Союза и предложили вечер: “Проспект Ильича”.

5.[VII]. Напечатан в “Пр. В” (“Правде Востока” — комментарий Е. А. Папковой. — *И. М.*) отрывок из романа “Проспект Ильича”.

7.[VII]. Телеграмма из “Нового мира” о получении романа.

8.[VII]. Подписал договор с “Советским писателем” на отрывки из “Проспекта Ильича”.

30.[VII]. Исправил “Проспекта Ильича” по замечаниям Лежнева.

28 августа. Вчера, в ответ на хамское письмо А. Фадеева ответил не менее хамским письмом».

Письмо Вс. Иванова, опубликованное в комментариях к «Дневникам», дополняет краткие записи автора, воспроизводя эмоциональный контекст:

«Одновременно с получением Вашего письма от имени Пресс-бюро, я видел письмо от газеты “Литература и искусство” (подписанное тов. Горелик), адресованное тов. М. Живову, представителю газеты в Ташкенте. Газета, Вами редактируемая, выговаривает М. Живову свое негодование, что он осмелился похвалить новый роман Вс. Иванова “Проспект Ильича”, ибо неизвестно, что ждет роман. Не участь ли “Ивана Грозного” А. Толстого... (передаю не текстуально, а смыслово). Нужно сказать, что М. Живов передает не свои впечатления, а впечатления нескольких собраний писателей Ташкента, которым я в продолжение трех вечеров читал свой роман, но даже важно не отношение к роману и не заранее Вами определяемая судьба его, а то, что Вы великолепно знаете, что я написал большой роман в 18—20 печатных листов о современной войне, — первый роман, написанный старшим поколением группы советских писателей, к которой я принадлежу, — и тем не менее Вы, совершенно безответственно, и, извините меня, преступно пишете мне, что я не выполняю обязательств перед Родиной и то мол беспокоит Вас. Да еще рядом с этим Вы осмеливаетесь писать о любви народа ко мне. Неужели вам, руководителю Союза Советских писателей, неизвестно, что Всеволод Иванов написал роман “Проспект Ильича” и что роман этот находится уже два месяца в Москве — в издательстве, руководимом Чагиным, и в редакции журнала “Новый мир”. Неужели я пишу романы каждый день и в таком количестве, что о появлении их в редакциях не говорят и не слышат».

И далее из «Дневников»:

«13.[IX]. Телеграмма от “Нового мира” с предложением изменений в романе.

26.[IX]. Письмо из “Нового мира” о моем романе (три месяца спустя после получения ими романа!). В общем благожелательное, но трусливое.

6.[IX]. Из Москвы получил сообщение — обязательно переменить название «Бой за Дворец культуры». Почему? Я понимаю, когда выключают у меня

электричество, но не понимаю, почему нужно выключать название книги, если вся книга разрешена к печати.

8.[IX]. Правил “Ненависть” — отрывок из романа. Заметки и правки в рукописи сделал какой-то узбек из ЦК...»

Московские события:

«27.[X]. Был у Чагина. Роман признают оторванным от жизни.

15.[XI]. Днем переделывал “Проспект Ильича”. Так как глава о еретиках напугала наших дурачков, то я ее выкинул. Эта глава была стержнем, на котором висела глава вступительная — песня о “проспекте Ильича”, и поэтому пришлось выкинуть и первую главу, а раз выкинул — надо менять и заглавие. Я назвал роман “Матвей Ковалев”.

16.[XI]. Исправлен “М. Ковалев”. Занятие оказалось более сложным, чем предполагал. Из Ташкента события рисовались несколько в розовом свете. Эта розовая дымка пафоса и реет над романом. Здесь же в Москве, конечно, больше серости, чем розовости. После войны, года три спустя, роман в розовой дымке, наверное, был бы хорош, но сейчас, пожалуй, несколько слащавый. Вот я и снимаю эту слащавость. Трудно, ибо можно, невзначай, снять столько мяса, что и кость обнажится.

15.[XII]. Позвонили из Союза писателей и попросили у меня экземпляры романа “Проспект Ильича”. “Как можно больше, так как роман выставляется на Сталинскую премию”. Тамара сказала, что есть один экземпляр, его можно дать в четверг, и если им хочется читать, то пусть перепечатают. <...>

Боюсь, что Союз писателей заказывает мне на визитной карточке: “Кандидат Сталинской премии”.

Исправил, наконец, роман».

Роман Вс. Иванова «Проспект Ильича» так и остался неопубликованным. Современное прочтение романа позволяет утверждать, что цензурные нападки на автора были безосновательны.

«Пройдут годы. Литература, настоящая, верная, не умирает. Она вспомнит, в каких условиях и что делали настоящие писатели во время Великой Войны», — писал Вс. Иванов в упоминаемом письме председателю Союза писателей СССР*.

Творческий труд писателей, ученых, подвижников культуры, работавших в годы войны, являлся, по сути, героическим самоотречением, ежедневным подвигом, принесенным на алтарь Победы. Обязанность современников — выполнить долг перед памятью авторов, передать их наследие потомкам — опубликовать эти труды, открыть дорогу к читателям и исследователям.

Возрождаемый нами текст — это документальный свидетель эпохи, исторической трагедии в судьбе нашего государства. И издание как самого произведения, так и всех документов, что с ним связаны, важно для понимания особенностей отечественного историко-литературного процесса XX столетия.

* Иванов Вс. Вяч. Указ. соч. С. 342.

№ п/п	Издание	Название и краткое содержание	Источник
1.	From No Corporate Source data available (1921), Russ. 315, Sept.6, 1921	<u>Purifying o-toluenesulfonamide</u> The raw amide is recrystd. from acetone.	Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015
2.	From No Corporate Source data available (1921), Russ. 316, Sept.6, 1921	<u>Sulfonamides of the aromatic series</u> Aromatic sulfonyl chlorides are treated with gaseous NH ₃ in the presence of acetone used as solvent.	Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015
3.	From Gorniy Journal (1928), 104 (No. 1), 36-40	<u>Mechanization of production of salt from lake brines</u> A review of salt-making technology, including costs. By the author's method use is made of revolving atomizers which greatly accelerate evapn. of the brine.	Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015
4.	From Zhurnal Khimicheskoi Promyshlennosti (1927), 4, 713-721	<u>Extraction of bromine and iodine from water by solvents</u> The best com. Conditions of extg. Br or I dissolved in H ₂ O by means of kerosene, sp. gr. 0,82, were investigated. The aq. Br solns. contained 0,32-0,97% Br. The extg. power of kerosene for Br is great. When operating in direct sunlight a single treatment absorbs all the Br; in darkness fresh kerosene usually leaves 5-10% unextd. By repeated treatment of Br- H ₂ O with kerosene in darkness only a trace of free Br is left behind. I is extd. completely in a single operation. The extd. halogens partly dissolve in kerosene, partly from with it addn. products, and partly give rise to substitution derivs. with simultaneous formation of HBr at the expense of the nascent H. HBr thus formed remains in water, but represents no loss, for it is easy to liberate Br from it. Br dissolved in kerosene can be extd. from it very easily by treatment with alkalies, most of the Br being transformed into NaBr, a small portion forming NaBrO ₃ . When using CaO Bromide of lime is obtained, and it is perhaps best to obtain Br in this form, since it is most convenient for shipping, and since lime bromide gives off Br very easily by the action of acids. The use of NH ₃ .H ₂ O for extg. Br from kerosene solns. Is not recommended, as it removes less than NaOH and moreover has a greater tendency to form stable emulsions with kerosene. Stable emulsions are often formed also with NaOH, particularly if the kerosene contains much combined Br. These emulsions are broken up without difficulty by centrifuging. To recover the Br, combined with kerosene is not so easy. By distg. the brominated kerosene the most volatile fraction (b. Up to 110 ⁰) contains almost no Br and can be used again for extg.,	Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015

		<p>but to sep. the Br from the rest of kerosene chem. treatments are not effective and it is best to soak lime or soda-lime with this kerosene and to burn the latter, thus obtaining bromide of lime, the loss of Br amounting to only 1 to 5%. The proportion in kerosene of free, dissolved Br to that of combined Br was also studied. The data obtained form the basis for an application for a patent. The length of time of keeping kerosene after extn. has no influence on the transformation of free Br to combined Br. Increase of temp. of treatment decreases the amt. of dissolved Br and increases the combined Br. The most important factor is light. When operating in direct sunlight all in darkness several extns. are necessary, and the percent of free, dissolved Br increases by repeated extns., whereas the percent of chem. combined Br decreases. Kerosene does not begin to act as solvent of free Br until part of it first combines with some Br. Thus fresh kerosene combines with four times as much Br as it dissolves free Br, but when kerosene gradually becomes satd. By combining with Br, five times more Br dissolves than combines. It is advisable to use brominated or chlorinated kerosene, and not pure kerosene, so as to ext. free Br and to use the same kerosene repeatedly for further extns. Oversatn. of kerosene by dissolved Br decreases its extg. capacity, so that free Br should be removed from it from time to time. Instead of kerosene petroleum ether can be used for Br extn. I is extd. In the same way as Br.</p>	
5.	<p>From Zhurnal Khimicheskoi Promyshlennosti (1928), 5, 484-9</p>	<p><u>Extraction of bromine by solvent. II</u> cf. C.A. 22, 3741. Kerosene is usually removed incompletely from Br-H₂O after extn. A certain amt. of it is lost as an emulsion with H₂O, involving not only loss of kerosene but also the Br dissolved in it. With Br solns. in pure H₂O the loss of kerosene from emulsion formation is 1 to 2% after each extn., and the loss of Br caused by it is 14,1 to 26,1% after 15 extns. With natural Br waters, such as lake waters contg. much salt in soln., emulsions are apt to form which do not sep. a kerosene layer on standing. An elec. current would break these emulsions, but filtration through porous substances having great adsorptive power, such as sponges or clays, is simpler. Sponges become soaked with kerosene and need pressing only to recover it with a kerosene loss of not more than 0,5% per extn. Br dissolved in kerosene becomes converted into HBr during adsorption by a sponge, due to surface tension, so that the recovered kerosene contains no dissolved Br and can be used directly for a new dissolving operation without previous treatment with alkali, whereas the aq. soln. sepd. from the emulsion contains all its dissolved Br as HBr. The latter is formed in the aq. soln. during extn. of Br by kerosene. With decrease of concn. of Br</p>	<p>Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015</p>

		in the water from gradual extn. the amt. of HBr formed increases. The longer kerosene is agitated with the water the more Br is converted to HBr. Br can be set free again by Cl. A detailed calcn. shows the low cost of Br production by this method and 11 tables give various data.	
6.	From Zhurnal Khimicheskoi Promyshlennosti (1928), 5, 1220-7	<u>Extraction of bromine and iodine by solvents. III.</u> <u>Extraction of iodine</u> cf. C.A. 22, 4731. The extn. of I by kerosene, benzene or vaseline is similar to that of Br. When extg. Br the solvent power of kerosene becomes great only when Br (or even Cl) compds. Accumulate in it; with I, the dissolving power of kerosene decreases considerably with the accumulation of I compds. in soln. I forms with kerosene a certain quantity of a compd. not sol. in H ₂ O or in kerosene. The effects of time, light and temp. on extn. are the same with I as with Br. With increase of temp. the quantity of HI formed decreases as the surface tension weakens. HI is not formed during the extn. to the same extent as HBr.	Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015
7.	From Zhurnal Prikladnoi Khimii (1929), 21, 199-213	<u>Methods of preparing basic magnesia</u> A 16% soln. of MgCl ₂ .6H ₂ O was mixed in equiv. proportion with an 8,6% soln. of Na ₂ CO ₃ at 20 ⁰ and the ppt. decompd. At 50-90 ⁰ for 10-60 min. At 50-60 ⁰ the ignition losses of the product were higher than those allowed by the Brit. Pharm. The lightest product was obtained by heating for 20 min. at 90 ⁰ . As the true sp. gr. increases with the treating term. the apparent sp. gr. s within certain limits inversely proportional to the true sp. gr. With simultaneous pptn. and decompn. A normal product was obtained at 60 ⁰ and higher. The product was slightly heavier than that obtained by the former method. Accelerated drying at 110-115 ⁰ gives good results, contrary to the general belief that the max. permissible temp. is 100 ⁰ . The ppt. can be washed under pressure without seriously affecting its lightness. Contamination with Ca salts may arise from washing the ppt. with hard water. This can be avoided either by shortening the time of washing or by using chemically treated water. The use of distd. water in the last washing is desirable. Ca salts present in the brine can be settled by boiling the soln. or by adding small quantities of Na ₂ CO ₃ . Contrary to the general belief, magnesia is slightly hygroscopic. On exposure to the atm. 8,0024 g. of a carefully purified sample absorbed 0,0008 g. of moisture in 12 hrs., and 0,0017 g. in 66 hrs.	Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015
8.	From Zhurnal Khimicheskoi Promyshlennosti (1930), 7, 1488-90	<u>Production of magnesium chloride in Germany</u> German methods for production of MgCl ₂ from the by-products obtained in the reworking of carnallite for K salts are reviewed.	Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015
9.	From Kali (1931), 25, 271-4	<u>A system for researches on salt solutions, especially applicable to salt lakes</u>	Chemical Abstracts Service - SciFinder,

		Instead of making analyses of the salts obtained by fractional crystn. under varying conditions, the mother liquors are examd., and results of analyses made at increased concns. are plotted so as to show how each component of the important salts distributes itself. Information from such graphs replaces data from the customary van't Hoff equil. diagrams, effecting savings of time and labor, and showing dynamic, rather than static conditions of equil. Illustrated.	American Chemical Society (ACS), 2015
10.	From No Corporate Source data available (1933), Russ. 33, 140, Nov.30, 1933	<u>Decreasing the alkalinity of iodine-containing water</u> The H ₂ O is treated with Mg salt and acid, or with Mg salt and CaCl ₂ or with CaCl ₂ only to decrease the alky. prior to recovery of the iodine.	Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015
11.	From Revue de Chimie Industrielle et le Moniteur Scientifique de Quesneville Reunis (Paris) (1934), Vol. 43, pp. 118-125	<u>Exploitation of the water of the Dead Sea</u> The brine of the Dead Sea has a sp. gr. of 1,1475 and has the following compn.: NaCl 6,61, KCl 0,78, MgCl ₂ 9,65 and CaCl ₂ 2,77%. In all analyses made I is absent. H-ion concn. was found to be 6,8. The economic possibilities of extn. of KCl, Br and MgCl ₂ are discussed. The outlook for future development is favorable.	Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015
12.	From Revue de Chimie Industrielle et le Moniteur Scientifique de Quesneville Reunis (Paris) (1937), Vol. 46, pp. 365-366, 367 (in French)	<u>Improvements in the working of salt marshes</u> Preliminary tests have shown that addition of a dye to the brine results in considerably greater evaporation and consequently permits of greater output at low cost, the amount of dye required varying from 10 to 20 g. per cu. m. of brine. The salt that seps. is uncolored, provided the mother liquor is completely sepd.; alternatively, in order to avoid removal of the last traces of mother liquor, the latte can be decolorized by treatment with free Cl. In order to protect the brine against rain and snow it may be covered with a layer of chlorinated petroleum, which is heavier than water but lighter than the brine. By mixing ordinary brine saturated with NaCl with the terminal brine that is rich in MgCl ₂ , part of the NaCl crystallizes without evaporation of water, giving a very pure, very white and fine-grained product. In the extn. of Br it is advisable to raise the temp. as much as possible. It is possible to raise it by purely natural means to 60 ⁰ (no details given)	https://books.google.ru/books?id=u73dAgAAQBAJ&pg=PA174&lpg=PA174&dq=B.+Panteleymonoff&source=bl&ots=rGvHgGSpYZ&sig=NeNB1tqkyv3pf2IzFI400uPz5s&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=B.%20Panteleymonoff&f=false A. Eggers-Lura. Solar energy in developing countries. An overview and buyers guide for solar scientists and engineers. European Hello Centre, Denmark, 1979, p. 174; Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015
13.	From Revue de Chimie Industrielle et le Moniteur Scientifique de Quesneville Reunis (Paris), Vol. 47, No.	<u>Calcul des quantites d'energie calorifique solaire absorbees par les salines et les usines "A march solaire"</u> (Calculation of the amount of solar heat energy which is absorbed in salt works) Calculation of the amount of solar heat energy absorbed in salt works; presents results of evaporation	https://books.google.ru/books?id=u73dAgAAQBAJ&pg=PA174&lpg=PA174&dq=B.+Panteleymonoff&source=bl&ots=rGvH

	556, April 1938, pp. 98-103 (in French)	tests carried out on brine in Dead Sea; author envisages possibility of constructing plants utilizing solar heat.	gGSpYZ&sig= NeN B1tqkyv3pf2IzFl40OuPz5s&hl=en&sa=X &redir_esc=y#v=one page&q=B.%20Panteleymonoff&f=false A. Eggers-Lura. Solar energy in developing countries. An overview and buyers guide for solar scientists and engineers. European Hello Centre, Denmark, 1979, p. 174
14.	Revue technique des industries du Cuir (Paris) 36, 96 (1943), Chemisches Zentralblatt (Berlin), 1943, II, 1778	<u>1-Chloronaphthalene in the leather industry and for fur dressing</u> 1-Chloronaphthalene added to the oil mixture for russet, chamois or similar leathers and also in fat liquoring fur skins has a favorable action, in that penetration of grease into the leather is more rapid and uniform.	Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015
15.	Fr. 976, 623, Mar. 20, 1951	<u>Urea – or thiourea – formaldehyde condensation products.</u> In making urea – or thiourea – HCHO resins, a lower aliphatic alc. is added to the reaction mixt. to plasticize the product. Common salt is added to maintain fluidity during concn. to permit escape of air bubbles. The product is transparent a small amt. of active C is added to the aldehyde to prevent yellowing. The pH of the reaction is 7 or more, but after the condensation and before concn. it may be adjusted to 8-8,5. The resin may be cold-cured by adding NH ₄ chloride or phosphate. The reaction is effected by boiling, but the temp. Should not exceed 40 ⁰ during the evapn. of water. The resins are suitable for casting around delicate natural objects, such as flowers, insects, coins, stamps or for protecting objects against oxidation, decay, etc. A top coat of more resistant resin or of varnish may be applied.	Chemical Abstracts Service - SciFinder, American Chemical Society (ACS), 2015

Фонд В.Я. Озолина:

Озолин В.Я. Окно на Север. – Новосибирск: Зап.-сиб. Кн. изд-во, 1966.

Озолин В.Я. Песня для матросской гитары: Стихи. - Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1972. – 108, [4] с.

Озолин В.Я. О дворнике, который решил стать ... дворником и другие истории : [стихи : Для детей] / Вильям Озолин ; [худож. А. Мосиенко]. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1985. – 22, [1] с. : цв. ил. ; 28 см.

Фонд Г.А. Вяткина:

Вяткин Г.А. Алтайские сказки. Новониколаевск: Сибкраиздат, 1926.

Фонд И.В. Егорова:

Малиновый праздник. Омск, 2006. С. 25-26.

Виктория. 2005. №4. С.16

Фонд Ф.М.Достоевского:

Родные и близкие:

1. Достоевская А.Г. Дневник 1867 года (1993)
2. Достоевская А.Г. Воспоминания (1987)
3. Савостьянова В.А. Дополнение к Воспоминаниям А.Г. Достоевской
4. Ярдаева М. Анна Достоевская. Талант быть женой гения

Друзья и знакомые:

1. Александров М.А. Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика // Русская старина. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1892. Год двадцать третий. Т. 74. Апрель. С. 177–207; Май. С. 293—336.

2. Быков П.В. Памяти проникновенного сердцевода (Из личных воспоминаний) // Вестник литературы. Пг. Год третий. № 2 (26). 1921. С. 4–5.

3. Врангель А.Е. Воспоминания о Ф.М. Достоевском в Сибири. 1854–56 гг. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1912. 221 с.

4. Вогюэ Э.М. де Федор Михайлович Достоевский как психолог под судом французской критики // Эпоха. Ежемесячный литературный журнал. М., 1886. № 1. Январь. С. 75–96.

5. Зеленецкий А.А. Три встречи с Достоевским (Отрывок из воспоминаний) // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1901. Т. LXXXIII. Март. С. 1021–1029.

6. Кони А.Ф. Встречи с Ф.М. Достоевским (1921)

7. Леткова-Султанова Е.П. О Ф.М. Достоевском. Из воспоминаний // Звенья, т. I. М.; Л.: Academia, 1932. С. 459–477.

8. Суворина А.И. Воспоминания о Ф.М. Достоевском

9. Ф.М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. С.В. Белова. – СПб.: Андреев и сыновья, 1993. — 331 с.

10. Штакеншнейдер Е.А. Дневник и записки (1854—1886) / Ред., ст. и комм. И.Н. Розанова. – М.; Л.: Academia, 1934. С. 454–465.

Посмертные издания:

1. В.П. Буренин Ф.М. Достоевский // Полярная звезда. Ежемесячный литературно-исторический журнал. СПб.: Тип. А. Траншеля. Февраль. 1881. С. 129–146

2. Майков А.Н. Несколько слов о Ф.М. Достоевском [Речь на собрании Петербургского Славянского общества 14 февраля 1881 г.] // Русь. 1881. 14 марта. № 18. С. 14–15.

3. Мещерский В.П. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Добро. СПб. 1881. № 2/3. С. 31–37.

4. Ор. Миллер Вместо некролога; А.Ч. Еще несколько слов о Ф.М. Достоевском // Русская мысль. Журнал научный, литературный и политический. М.: Тип. И.Н. Кушнерева. 1881. Кн. III. С. III–XIII.

5. [Некролог] А.Ф. Писемский и Ф.М. Достоевский // Русская речь. Журнал литературы, политики и науки. СПб. 1881. Год третий. Март. С. 134–136

6. [Нотное издание] Причастен «Блажени, яже избрал». Музыка Е.Ф. Гаврюшко. Посвящается Ф.М. Достоевскому. СПб.: Изд. СПб. Славянского Благотворительного Общества, 1881. Ценз. разр. — 12 марта 1881

Иллюстрации к произведениям:

1. Белые ночи. Иллюстрации И. Глазунова

2. Бесы. Офорты С. Шор (1935)

3. Бесы. Иллюстрации М. Гавричкова (2013)

4. Братья Карамазовы. Иллюстрации И. Глазунова, триптих «Легенда о Великом Инквизиторе»

5. Записки из Мертвого дома. Иллюстрации Б. Непомнящего (2010)

6. Записки из Мертвого дома. Офорты Б. Непомнящего (2010)

7. Записки из подполья / Игрок. Иллюстрации А. Алексеева (1967)

8. Идиот. Иллюстрации И. Глазунова

9. Неточка Незванова. Иллюстрации И. Глазунова

10. Преступление и наказание. Иллюстрации А. Харшака (2007)

11. Преступление и наказание. Офорты А. Харшака (2007)

Исследования. Биографии:

1. Басинский П.В. Скрипач не нужен. М.: АСТ, 2014. С. 34—37.
2. Белов С.В. Петербург Достоевского. Научное издание — СПб.: Алетейя, 2002. — 372 с. (Петербургская серия)
3. Библиотека Ф.М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание. СПб.: Наука, 2005. 338 с.
4. Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С портретом Ф.М. Достоевского и приложениями. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1883. 332, 375, 122 с. Ценз. разр. — 13 июля 1883 г.
5. Бирон В.С. Петербург Достоевского. Л., 1991. 45 с.
6. Достоевская А.Г. Дневники. Переписка Ф.М. и А.Г. Достоевских: В 2 т. М.: Радуга, 1986.
7. Волгин И.Л. Последний год Достоевского: исторические записки. 4-е изд., испр. и доп. М.: АСТ: Зебра Е, 2010. 735 с.
8. Игорь Волгин. Родные и близкие: Историко-биографические очерки. М.: Фонд Достоевского, 2012. 1232 с., илл.
9. История одной вражды. Переписка Достоевского и Тургенева / Под ред., с введ. и прим. И.С. Зильберштейна. Л.: Academia, 1928.
10. Нечаева В.С. В семье и усадьбе Достоевских. М.: Соцэкгиз, 1939. (158 с., илл.)
11. Описание рукописей Ф.М. Достоевского / Под ред. В.С. Нечаевой. М., 1957. 588 с.
12. Сараскина Л.И. Фёдор Достоевский. Одоление демонов. М.: Согласие, 1996. 462 с.
13. Тихомиров Б.Н. С Достоевским по Невскому проспекту, или Литературные прогулки от Дворцовой площади до Николаевского вокзала. СПб., 2012. 261 с.
14. Супино В. «Путешествия Достоевского по Европе».

Исследования. Прижизненная критика:

1. Пятковский А.П. Сочинения Ф.М. Достоевского. Москва, 1860 года. Две части. Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях (Время, № 1—6). СПб.: Тип. Н. Греча, 1861. (20 с.)
2. Милюков А. Преступники и несчастные («Записки из Мертвого дома» Ф. Достоевского) // Отголоски на литературные и общественные явления. Критические очерки А. Милюкова. СПб.: Тип. Ф. Сушинского, 1875. С. 100—110.
3. Кошелев А. Отзыв по поводу слова, сказанного Ф.М. Достоевским на Пушкинском торжестве // Русская мысль. Журнал научный, литературный и политический. М.: Тип. И.Н. Кушнерева. 1880. Год первый. Кн. X. С. 1—6.
4. В.В. Литературное обозрение. I. Дневник писателя. Ежемесячное издание. Единственный выпуск на 1880. Август. Ф. Достоевского // Вестник Европы. Том V. Октябрь. С. 811—818.

Исследования. Разное:

1. В барском пансионе. Из романа «Подросток» Ф.М. Достоевского. Изд. Л.Ф. Достоевской. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1887. 16 с.

2. Достоевский Ф.М. Дневник писателя. В 2 т. Т. 1 / Ф.М. Достоевский; вступ. ст. И. Волгина, коммент. В. Рака, А. Архиповой, Г. Галаган, Е. Кийко, В. Туниманова. — М.: Книжный Клуб 36.6, 2011. — 800 с.

3. Достоевский Ф.М. Дневник писателя. В 2 т. Т. 2 / Ф.М. Достоевский; коммент. А. Батюто, А. Березкина, В. Ветловской, Е. Кийко, Г. Степановой, В. Туниманова. — М.: Книжный Клуб 36.6, 2011. — 752 с.

4. Достоевский и журнализм / под ред. В.Н. Захарова, К.А. Степаняна, Б.Н. Тихомирова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. 379 с. (DOSTOEVSKY MONOGRAPHS; вып. 4).

Исследования. «Достоевский. Материалы и исследования»:

1. Том 10 (1992 г.)

2. Том 11 (1994 г.)

3. Том 12 (1996 г.)

4. Том 13 (1996 г.)

5. Том 14 (1997 г.)

6. Том 15 (2000 г.)

7. Том 16 (2001 г.)

8. Том 18 (2007 г.)

9. Том 19 (2010 г.)

Исследования. «Достоевский и мировая культура»:

1. Альманах № 22 (2007 г.)

2. Альманах № 28 (2012 г.)

Исследования. Литературоведение:

1. Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. Прага: The YMCA PRESS Ltd., 1923. 238 с.

2. Лосский Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. 406 с.

3. Штейнберг А.З. Система свободы Ф.М. Достоевского. Берлин: Скифы, 1923. 144 с.

Комментарии:

Т.И. Ческидова. О повести М.К. Юрасовой «Повесть о сибирском летописце Иване Черепанове (Наследство)»

Предлагаем сравнительный анализ двух редакций, в том числе варианты расположения глав в двух редакциях. Несмотря на их значительное количественное увеличение в машинописном, более позднем тексте, объём написанного сокращен. Некоторые части, поясняющие отдельные эпизоды, не включены автором в эту редакцию. Вместе с тем, при подготовке текста к печати, принято решение воссоздать весь объём повести, поскольку сознательное сокращение автором тех или иных сюжетных линий, объединение нескольких глав в одну было связано, без сомнения, с необходимостью уменьшения издательских расходов и соответствующих финансовых затрат.

Принимая во внимание сохранившиеся черновые копии писем, написанные М.К. Юрасовой руководителям города, предпринимателям с просьбой о помощи в издании книги, мы убедились в справедливости своих предположений и предоставляем на суд читателей наиболее полный текст повести.

Оглавление (рукописный вариант, авторский перечень):

1. Дорога.
2. Братья.
3. Аннушка (Звезда брызгальная).
4. Туранск.
5. Учитель Тобольской семинарии.
6. Описание Сибирского царства.
7. Сын боярский Семен Ремезов.
8. Архиерейский дьяк Савва Есипов.
9. Полковник Новицкий.
10. Летопись.
11. На торгу Иван записывает ощущения о давних небесных видениях в Тобольске.
12. Кабацкие разговоры.
13. Степанида свет Абрамовна. Сыны.
14. Острова Макарийские (На полках архивы).
15. Сказание об Абалакской божьей матери.
16. Новый губернатор (Соймонов).
17. Милости его высокопреподобие Порфирий.
18. Каменных дел мастер.
19. Батюшка Денис.

20. Тракт Сибирский дальний.
21. Крепость в устье Оми.
22. В Санкт-Петербург.
23. Воскресенский собор.
24. Снова Тобольск.
25. Крестьянский бунт.
26. Академик Фальк.
27. Прощание.

Оглавление (машинописный текст):

1. Дорога.
2. Братья.
3. Звезда брызгальная.
4. Сын боярский.
5. Верхотурье.
6. Семинарский учитель.
7. Описание Сибирского царства.
8. Полковник Новицкий.
9. Абалакская божья мать.
10. Степанида свет Абрамовна.
11. Острова Макарийские.
12. На полках архивы.
13. Каменных дел мастер.
14. Милости его преподобия Порфирия.
15. Новый губернатор Сибири.
16. Всероссийского Отечества всенижайший патриот.
17. Батюшка Денис.
18. Тракт Сибирский дальний.
19. Крепость в устье Оми.
20. Воскресенский собор.
21. Ученый муж Питер-Иоганн Фальк.
22. Прощание.

По первой и второй главам: названия глав и содержание рукописи и машинописи совпадают.

В третьей главе в машинописном варианте сохранено название, которое в рукописи указано в скобках – Звезда брызгальная. Содержание рукописи и машинописного варианта полностью совпадают.

С четвертой по седьмую главы изменен порядок глав и названия некоторых глав. Так, название главы «Туранск» изменено на «Верхотурье», «Учитель

Тобольской семинарии» – на «Семинарский учитель», название главы «Сын боярский Семен Ремезов» сокращено – «Сын боярский». Содержание глав машинописи и рукописи полностью совпадают. Глава «Описание Сибирского царства» в машинописи значительно сокращено. В рукописи в трех местах имеются абзацы, которые не вошли в машинопись, но в подготовленный текст повести эти строки включены в соответствующем порядке – с редакторским курсивом, заключённым в редакторские треугольные – <...> – скобки.

В первоначальном варианте – авторском перечне – глава «Полковник Новицкий» обозначена под номером 9, в новом варианте это уже 8 глава. Название и содержание главы в первоначальном варианте и в машинописи почти полностью совпадает, лишь в самом конце, в предпоследнем абзаце в машинописи исключено одно предложение. Отметим, что в этой главе автор даёт название «Украина», обозначающее территорию современного государства с этим названием – Украина, но в описываемое время понятия «Украина» еще не существовало, бывало название «Малороссия», обозначающее южные регионы Российской империи.

В машинописном варианте 9 глава – «Абалакская божья мать» соответствует в первоначальном варианте главе с номером 15 – «Сказание об Абалакской божьей матери». В рукописном варианте отдельно выделена еще одна глава «Женка Елизавета» под номером 5. Таким образом, в машинописном варианте 9 глава состоит из двух рукописных глав – 15 и 5.

В машинописном варианте 10 глава звучит как «Степанида свет Абрамовна», в рукописи это 13 глава. За исключением двух предложений, содержание глав совпадает.

Глава 11 в машинописном варианте названа «Острова Макарийские», в рукописи это более развернутое название «Острова Макарийские (На полках архивы)». В машинописном варианте «На полках архивы» это следующая отдельная, 12 глава. В машинописном варианте из этой главы удалены два абзаца.

Глава 13 «Каменных дел мастер», содержание с рукописью совпадает.

В главе 14 «Милости его преподобия Порфирия» в рукописном варианте глава «Милости его высокопреподобие Порфирий» располагается перед главой «Каменных дел мастер», содержание глав совпадает.

Главы 15 и 16 названы «Новый губернатор Сибири» и «Всероссийского Отечества всенижайший патриот» соответственно. В рукописном варианте это одна глава «Новый губернатор Сибири». В машинописном варианте исключены несколько абзацев, без которых содержание глав, без сомнения, является, неполным, что мы и дополнили, с соответствующим указанием.

Глава 17 «Батюшка Денис» полностью соответствует 19 главе в рукописи. Содержание совпадает, за исключением небольших поправок, которые нами также отмечены редакторскими пометами.

Глава 18 «Тракт Сибирский дальний» полностью соответствует 20 главе в рукописи, содержание полностью совпадает. Глава 19 «Крепость в устье Оми» полностью совпадает с главой 21 в рукописи, только в машинописном варианте исключено одно предложение.

Глава 20 в машинописном варианте «Воскресенский собор», в неё вошли три главы из рукописи – «Воскресенский собор», «Снова Тобольск» и «В Санкт-Петербург», под номерами 23, 24 и 22 соответственно. В машинописном варианте исключены несколько абзацев. Особо отметим, что в подготовленный текст повести включены недостающие абзацы из рукописи.

Глава 21 «Ученый муж Питер-Иоганн Фальк» в рукописном варианте является главой 26 «Академик Фальк» в авторском перечне. В рукописи указано другое название главы – «Ученый путешественник Питер-Иоганн Фальк». Также в эту главу вошла из рукописного варианта глава 25 «Крестьянский бунт». Содержание глав полностью сохранено.

Последняя, 22 глава «Прощание», в рукописном варианте с таким же названием глава 27. В рукописном варианте есть два абзаца, не вошедшие в машинопись, которые нами также включены в текст повести и соответственным образом обозначены.

Уверены, задуманное осуществится. Появятся заинтересованные союзники, партнёры и повесть Марии Климентьевны Юрасовой «Повесть о сибирском летописце» будет издана отдельной книгой, а возможно, и в целом – задуманной авторской трилогией «Летопись о сибирских первопроходцах». Коллектив музея выступает гарантом, что сделает всё возможное для подготовки соответствующих первоисточников и готов к участию в этой работе.